1973

10



Молодая гвардия

СССР



МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ

Фото Н. Кочнева

Материалы, посвященные 50-летию творческой деятельности великого русского советского писателя Михаила Александровича Шолохова, читайте на стр. 3.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ

Молодая гвардия

1973
10

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

На первой странице обложки: гравюра на дереве художника В. Носкова «Широка ты, степь...».

Наш адрес:

Москва, К-30, Сущевская, 21, редакция журнала «Молодая гвардия». Коммутатор: 251-15-00; отдел прозы — доб. 2-40; отдел поэзии — доб. 4-13; отдел очерка и публицистики — доб. 4-26; секретариат — доб. 4-16; отдел критики — доб. 4-14; отдел «Товарищ» — доб. 3-66.

Подписка на журнал «Молодая гвардия» производится без ограничений с любого месяца года.

К 50-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. А. ШОЛОХОВА

Мой родной народ на своих исторических путях шел вперед не по торной дороге. Это были пути первооткрывателей, пионеров жизни. Я видел и вижу свою задачу как писателя в том, чтобы всем, что написал и напишу, отдать поклон этому народу-труженику, народу-строителю, народу-герою... Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку, стремление активно бороться за идеалы гуманизма и прогресса человечества.

Михаил ШОЛОХОВ

СЛОВО О ШОЛОХОВЕ

Михаил Шолохов целиком рожден Октябрем и создан советской эпохой. Он пришел в литературу с темой рождения нового общества в муках и трагедиях социальной борьбы. В «Тихом Доне» он развернул эпическое, насыщенное запахами земли, живописное полотно из жизни донского казачества Но это не ограничивает большую тему романа: «Тихий Дон» по языку, сердечности, человечности пластичности — произведение общерусское, национальное, народное.

Ал. ТОЛСТОЙ

Если биография художника служит коренным руслом его представлений о мире, — а это действительно так, — то на житейскую долю Шолохова выпало одно из самых бурных, самых глубоких течений, какое знает социальная революция в России. Его книги показывают борьбу во всей полноте прошлого и настоящего. И я невольно вспоминаю завет Льва Толстого, данный им самому себе еще в молодости, завет не только не лгать прямо, но не лгать и отрицательно, — умалчивая. Шолохов не умалчивает, он пишет всю правду.

К. ФЕДИН

Михаил Шолохов бесспорный и самый большой писатель. Он знает самые затаенные движения человеческих душ и с большим мастерством, по-серьезному умеет показать это... По моему мнению, «Тихий Дон» занимает в советской литературе первое место.

Вячеслав ШИШКОВ

Когда по окончании гражданской войны мы стали сходиться из разных концов нашей необъятной родины — партийные, а еще больше беспартийные молодые люди, — мы поражались тому, сколь общи наши биографии при разности индивидуальных судеб... Таков был путь более молодого и, может быть, более талантливого среди нас Михаила Шолохова.

А. ФАДЕЕВ

Михаил Шолохов — писатель русский, народный в высшем и благородном значении этого слова...

Огромный... талант Михаила Шолохова, как мне кажется, счастливо сочетает в себе и мягкий лиризм, и страстную любовь к родной природе, и густой народный юмор, и живописный — гоголевский — язык, с глубинной и до осязаемости рельефной лепкой толстовских образов. Тут и скрупулезная верность жизни, и величавая монументальность толстовской эпики, и гражданское — святое — неистовство ко всякому злу, мешающему жить человеку свободно и счастливо.

Ефим ПЕРМИТИН

Его называют народным писателем — и это правда. Его называют летописцем родной земли — и в этом есть истина. И, если бы были еще такие, как он, кто с такой же неизбывной любовью говорил о том уголке родной земли, где родился и жил всю жизнь, о людях родного края, литература наша еще более возвысилась бы и преуспела в своем движении вперед.

Но в книгах Михаила Александровича Шолохова живет и та особая широта, которая сделала их всемирно известными. В этих книгах проходят процессы небывалого исторического значения. В них и картины гражданской войны, и коллективизация, и Великая Отечественная война. В них самые большие вопросы, которые стояли не только на Дону, решались не только как судьбы казачества.

Николай ТИХОНОВ

Приход в литературу Михаила Шолохова свидетельствовал об овладении нашими писателями большой темой. На первый взгляд, как будто нет никаких оснований сравнивать Шолохова и Маяковского. И, тем не менее, на моей книжной полке они стоят рядом, так же, как и в моем представлении о росте и силе советской литературы. Пусть они совершенно различны по характеру своего творчества, но они родственны для меня по упорству и последовательности пролагаемого пути. А главное в том, что оба они — новаторы.

Н. АСЕЕВ

По-моему, Шолохов — самый блестящий писатель великой эпохи Октябрьской революции... Талант Шолохова — правдивый, непринужденный, смелый...

Гениальная шолоховская эпопея «Тихий Дон» — одно из самых выдающихся произведений всех времен, которое смело можно поставить рядом с «Войной и миром» Л. Толстого.

Аветик ИСААКЯН

Шолохов — огромный художник нашего времени, и редко кто из писателей имеет столько учеников среди молодых литераторов, сколько этот выдающийся мастер...

Герои Шолохова населили мир, они отделились уже от писателя, ушли в самостоятельную жизнь, подобно тому, как взрослые дети уходят в жизнь от родителей. Герои Шолохова живут среди нас, они принадлежат великому делу нашего народа, нашей партии, миллионам зарубежных читателей, которые стараются понять характер советского человека, его героическую борьбу за построение коммунистического общества на земле.

Ю. БОНДАРЕВ

Хороших писателей много. Одни больше нравятся интеллигенции, другие — рабочим, третьи — крестьянам. А вот таких, книги которых с одинаковой силой волновали бы сердца всех людей, — таких писателей очень мало. Шолохов — именно такой писатель. Это — неповторимый художник, подлинный певец дум и дел народных.

М. АЛЕКСЕЕВ

Вспомним три выдающихся произведения советской литературы: «Поднятую целину», «Молодую гвардию» и «Василия Теркина». Какая общая черта роднит их? Правдивость. Ни в одном из них нет ни малейшего отступления от правды жизни.

Во всех трех произведениях подчеркнуты драматизм событий, трагедийность судеб и положений. Но почему же не безысходная печаль, а мужественная боль и прекрасная человеческая гордость наполняют нас, когда мы читаем эти произведения?.. Да потому, что произведения эти пронизаны передовыми идеями, освещены светом социального освобождения человечества, потому, что в этих произведениях спроецировано новое и великое будущее человечества с новым пониманием назначения человека как преобразователя мира на истинно гуманистических началах — социализма и коммунизма.

Г. МАРКОВ

Могучее дарование Шолохова, с такой силой раскрывшееся уже в первых картинах «Тихого Дона», в его яркой монументальной живописи, не перестает с тех пор волновать всех, кому дороги судьбы современной литературы.

Книги его похожи на большие открытия. В них явственно слышно живое клокочущее море человеческих страстей, могучее дыхание нашего великого времени.

О. ГОНЧАР

Много уже сказано, и много еще можно сказать о Михаиле Шолохове. Но для всех ясно одно: каждый советский человек, поговорив с его героями, а значит, и с душой большого человека и писателя, стал богаче.

Произведения великих художников перечитываешь по нескольку раз. К Шолохову я возвращался не однажды и всегда открывал для себя что-то новое, ранее не познанное. Какова же поистине неисчерпаемая глубина его книг!

Петрусь БРОВКА

Редко в каком из произведений мировой литературы люди из народа находили такое полное поэтическое раскрытие своего духовного богатства, какое мы видим в книгах Шолохова. Трагические конфликты, юмор народный, драматизм, потрясающий душу, и величаво спокойная природа выступают как единое, органическое. Все стороны жизни объял Шолохов. Наше национальное в новом революционном качестве нашло наиболее глубокое выражение в его мироощущении. Бьется в нем сердце народа, очами народа видит он жизнь...

Курганы и холмы виднее с высокой горы, с той литературной вершины, которую составляют «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Нельзя не учиться у Шолохова мудрости ясновидения жизни, жесткой требовательности к себе, теснейшей связи его с жизнью народа. Творчество Шолохова, продолжая главное в развитии нашей литературы, знаменует собой целую эпоху.

Г. КОНОВАЛОВ

Михаил Александрович Шолохов стал поистине народным писателем — по сущности своей, по своей слитности с народом, по тому признанию, которое завоевал он в сердцах людей.

Иван МЕЛЕЖ

Много славных рек проложили свой путь по нашей земле. Но не всем им выпала счастливая доля навечно породниться с именами лучших выразителей дум и чаяний народных: Нева — Пушкин, Днипро — Шевченко, Волга — Горький, Дон — Шолохов...

Сергей МИХАЛКОВ

Как художник Михаил Шолохов был рожден Великой революцией в России. Он постиг ее исполинский размах, глубокую и прекрасную ее трагедийность, а на Дону, где в пору гражданской войны столкновения человеческих масс были особенно острыми, где в разных станах появлялись люди, сильные духом, и, как никогда, обозначилась самая сущность могучих и сложных характеров, — тонко чувствующий художник нашел изумительный «материал» для будущих своих книг.

И хотя отдельные герои «Тихого Дона» выдвинуты на первый план, наряду с ними великолепно показан главный герой эпопеи — народ, причем показан не в виде безликой массы, в которой теряется человек, нет, — каждый из самых «эпизодичных» героев романа предстает перед нами как неповторимая индивидуальность, как тип.

В. ЗАКРУТКИН

Владимир ФИРСОВ

ДОМ, В КОТОРОМ РОДИЛСЯ ШОЛОХОВ

Среди шести материков,
В краю,
Где плещет Дон,
Стоит на стыке двух веков
Соломой крытый дом.

Я низко кланяюсь ему,
Не постучав в окно.
Другие люди в том дому
Живут давным-давно.

Но та же в окнах синева.
И так же помнит дом
Того,
Кто первые слова
Здесь начинал с трудом.

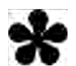
Того,
Кто первые шаги
Отсюда начинал,
А где друзья и где враги —
Уже не здесь познал.

Но здесь
И колыбель была,
И за куделью

Мать
Мальчонке пела про орла,
Рожденного летать.

Но здесь
Открылась высота,
Что над землей лежит,
И та земная красота,
Что мир заворожит;
И правда та,
Что потрясет
Весь мир (хоть он велик!),
И слово то,
Что понесет
Всяк сущий в нем язык...

Ясна над домом высота
В краю,
Где плещет Дон.
Вначале было слово?
Да.
Но был до слова —
Дом.



Анатолий **СОФРОНОВ**

В СЕРДЦЕ И В ПАМЯТИ

Иногда начинаешь сомневаться в уже тысячекратно повторенных и утвердившихся в сознании аксиомах, даже если они и талантливо выражены стихами: «Лицом к лицу — лица не увидать, большое видится на расстоянии».

Вероятно, так и бывает в тысячах случаев. Но на тысячи все же выпадет один-другой, напрочь опровергающий и это прекрасное, казалось бы, так прочно вошедшее в сознание положение. И — думается — на пользу самому положению, словно бы и не опровергая его, а в какой-то степени утверждая, что если и можно — лицом к лицу увидеть в полный рост человека, то как же потом, в вечности, будет выглядеть он?! Да, именно в вечности. Ибо, когда мы сегодня думаем о Михаиле Александровиче Шолохове — мы думаем о вечности. Думаем о тех сотнях и тысячах миллионов людей грядущих поколений, которым когда-нибудь доведется впервые открыть «Тихий Дон» и «Поднятую целину», открыть первые страницы первых шолоховских рассказов, удивиться спокойной народной мудрости глав романа «Они сражались за Родину».

Вероятно, даже можно позавидовать нашим потомкам, их открытиям, их наслаждению от первого знакомства с бессмертными шолоховскими творениями. В самом деле, вспомним и нашу юность, когда мы впервые открыли для себя «Войну и мир», «Человеческую комедию» или шекспировские трагедии.

И все же потомки могут позавидовать и нам. Когда-нибудь по крупицам будет воспроизведен человеческий портрет Михаила Шолохова. Составляться он будет не только по книгам Шолохова, но и учитывая ту атмосферу, которая сопутствовала его подвижнической жизни. И сейчас, в дни пятидесяти-

летия выхода в свет первых рассказов тогда совсем молодого писателя, пришедшего с верховьев Дона, как-то особенно остро чувствуешь не только историю советской литературы, но и саму историю, ибо все было рядом — история и писатель. И никогда писатель не уходил в сторону от правды, пусть порой и безмерно жестокой.

Для нас, кто вырос на Дону, вероятно, выпало особое счастье не только понимать глубинную правду шолоховских книг, но и видеть и понимать народные истоки творчества Шолохова. Может быть, именно в творчестве и личной биографии писателя, рожденной в суровой классовой борьбе, в советской литературе наиболее полно предстает и типический облик советского писателя. Можно бесконечно теоретизировать по поводу сущности образа Григория Мелехова, относя его то к искателям правды, то к злобным врагам Советской власти, но никуда не уйти от одной простой истины, что Мелехов, литературный Мелехов, вырос из десятков и сотен Мелеховых, проходивших в годы ожесточенной борьбы классов испытания на собственные решения «в каком идти, в каком сражаться стане». Одни это испытание выдерживали, видя, пусть даже смутно, историческую перспективу, другие терпели нравственное крушение, уже без малейшей надежды на то, что им удастся выбраться из кипящих водоворотов классовой битвы; выбраться, подсушить одежонку на развороченном снарядами донском берегу, подняться на ноги и, как ни в чем не бывало, отправиться снова в путь, забыв все, что происходило здесь, на донском берегу, совсем недавно. Я не утверждаю, что и таких жизненных биографий не было. Больше того, думаю, что они были, и сама жизнь подтверждала это.

Во второй половине тридцатых годов я впервые оказался в Вешенской. В ту пору, хотя и не очень близко, я уже был знаком с Михаилом Александровичем не только по его книгам. В журналах появилось несколько моих стихов, где мотивы шолоховского видения событий гражданской войны на Дону как бы являлись их поэтической основой. И появились эти стихи не только потому, что меня, как и тысячи других читателей, заворожил «Тихий Дон». Нет, сама жизнь, пережитое и виденное, властно требовали — пиши. Вот одно из этих стихотворений — «Седло».

Сухой ковыль — трава степная
Да тишина со всех сторон...
Казак, тоскуя и стеная,
Идет домой на тихий Дон.

Давно забыл глядеть он чертом,
В глазах страданье залегло;
Он на плече своем потертом
Несет казенное седло.

Был конь... Издох последней ночью.
Казак седло в дорогу взял...
Седой ковыль средь черных кочек
Ему тропинку указал.

Он в полутьме на хутор вышел,
Увидел — дом стоит в саду,
И за оградою услышал
Собачий лай, как на беду.

Стучится в дверь рукой больною
И в хату темную идет,
Седло казачье, боевое,
За полбуханки отдает.

Перекрестившись на иконы
И разом плечи наклоня,
Белогвардейские погоны
Он рвет сурово с чекменя...

Живя какой-то срок в станице Вешенской, я много в ту пору общался, беседовал с людьми, для которых гражданская война еще не отгорела в крови. Помнится, однажды ездил я с одним из тех, кто хотя и не открывал мне душу нараспашку, но тем не менее и не захлопывал ее передо мной. В старых казачьих седлах не спеша мы трусили с ним рысцой по Вешенскому району на не очень резвых конях, и он, в ту пору уже колхозник, конюх на конеферме, неторопливо потягивая самокрутку, повествовал мне о горячих днях своей жизни, о том, как он возвращался на свой родной хутор из отступления на Кубань, таща на себе единственное, что осталось у него — седло. Теперь он был уже спокоен и поплевывал через губу, и даже словно бы чуть подшучивал над собой, но горький, полынный привкус был в этой его легкой издевке. Уже отгремела коллективизация сельского хозяйства. Попутчик мой миновал и ее бурные пороги. Его уже устраивала та жизнь, что цвела на колхозном Дону. Невольно от далеких дней мы перекочевали с ним в нынешние. Я спросил, читал ли он «Тихий Дон».

— А кто не читал?

— Остались ли Мелеховы на Дону?

— Мелеховы? — и он надолго задумался. — Может, и остались, только не густо их осталось...

— Почему?

— А что вы сами не знаете? — ответил он мне вопросом на вопрос. — А жаль, что не густо... Но тогда им про то не было известно...

Потом, всего через несколько лет, в годы Отечественной войны, подолгу бывая в 5-м гвардейском донском кавалерийском корпусе, которым командовал генерал-лейтенант Алексей Гордеевич Селиванов, я не раз, еще в пределах Ростовской области, вспоминал этот неторопливый разговор со случайным спутником, колхозным конюхом... Может, и он был в этом корпусе? А может, к тому времени уже и сложил свою буйную голову где-нибудь в боях на Миусе? Все это на первый взгляд, может, и не имеет прямого отношения к шолоховским героям, но для меня осталось на всю жизнь как свидетельство зоркости писателя, сумевшего разглядеть в гуще борьбы типичные жизненные фигуры...

Потом уже во время далеких поездок за нашими рубежами

мы вдруг становились свидетелями немеркнущей жизненности шолоховских героев, где-нибудь в норвежском городе Бергене или в пакистанском Лахоре... Я уже не говорю об огромной популярности книг Шолохова в странах, где происходила и происходит ныне революционная ломка общественного устройства. Конечно, популярность популярности рознь. На нашем литературном небосводе порой вспыхивают на первый взгляд яркие кометы, но бывает и так, что, еще не добравшись до зенита, они гаснут на лету...

Жизненность, глубокая правдивость характеров героев Шолохова оставляют их навечно в сердце и памяти читателей, вне зависимости от того, где эти читатели проживают. А ведь все в книгах Шолохова происходило, казалось бы, на сравнительно ограниченной территории. Так было и в «Поднятой целине» — этом классическом произведении о коллективизации сельского хозяйства. Со сколькими людьми, близкими по духу героям Шолохова, встречались мы на жизненном пути. Как же и мне забыть один из годов коллективизации, когда я, двадцатилетний фрезеровщик завода «Ростсельмаш», в составе бригады рабкоров был отправлен в подшефный заводу Миллеровский район Ростовской области. И хотя от Миллерово до станицы Вешенской расстояние около двухсот километров, все здесь жило, уже тогда жило, Шолоховым. Еще не была написана «Поднятая целина». Но герои «Тихого Дона» словно бы были прописаны и здесь. Один из сельских партийных работников сказал мне тогда: «Это все шолоховские места!» Помнится, недели две мы жили в хуторах и станицах, постепенно узнавая, что здесь происходило. Мы были на сходках, сидели ночами с казаками, которые откровенно сомневались в этой крутой ломке. Мы видели уже заколоченные кулацкие хаты... А потом, очень скоро, появилась первая книга «Поднятой целины». Давыдов, Нагульнов, Разметнов, дед Щукарь, Островнов, Лушка, Майданников... Теперь, через десятилетия, это все отстоявшиеся в памяти и сердце образы. В ту пору каждый из них был словно бы прикреплен к определенному хутору, к определенной станице... А главное — все они были прикреплены к истории. Надо было обладать чутким и глубоким сердцем, чтобы почувствовать жизненную необходимость появления «Поднятой целины», ее глубокий смысл, который начинается с самого названия книги.

Семен Давыдов, путиловский слесарь, коммунист, словно бы стал тем образом, который объединил в себе сотни и тысячи коммунистов, направленных партией на один из главных участков фронта социалистического строительства — в деревню. Тысячам таких Давыдовых надлежало принять всемерное участие и в перестройке сельского хозяйства на коллективный лад, и помочь миллионам Майданниковых обрести в своем сознании силу для отрыва от пуповины личной собственности. Теперь все это уже история. История нашего общества. История нашей литературы. Но главное — это одна из самых примечательных страниц истории нашей партии.

Каждая встреча с Михаилом Александровичем — новая памятная страница в жизни. Помнится, однажды в середине пятидесятых годов вместе с Евгением Поповкиным мы получили телеграмму из Вешенской, в которой Шолохов приглашал нас

к себе в гости. Из Ростова мы летели с небольшой группой областных партийных работников. Приземлившись на аэродроме в Базковской, расположенном на противоположном от Вешенской берегу, мы уже через полчаса оказались за широким шолоховским столом. Но и это была словно еще одна пересадка. Вскоре мы все вместе отправились к берегу Хопра, реки, где Шолохов любит ловить рыбу. Тут было уже все приготовлено для гостей. Это был какой-то особый день, когда мы могли видеть Михаила Александровича среди друзей... И никто в эту встречу не говорил о литературе... Да этого и не требовалось. Здесь были друзья Шолохова — местные, станичные, и те, кто прилетел по его зову. У ночного костра звучали старые казачьи песни, которые очень любит Шолохов. А потом, после почти бессонной ночи, после того, как все окунулись в студеной воде Хопра, Шолохов повез нас проселочной дорогой в какие-то, видимо, особо им любимые места. Было тихо в степи. Пахло полынью и степными цветами. И Михаил Александрович почти ничего не говорил, а все смотрел, всматривался в эту степь и неглубокие овраги. И только сказал:

— Тут каждый шаг полит кровью.

И никто ни о чем его не переспросил. Шолохов был с друзьями, но и не только с друзьями, а и с тем прошлым, от которого он не отрывался ни на мгновенье.

Летом 1972 года я три недели был в Чили. Улетая из Москвы, я знал, что советским послом в Чили является Александр Васильевич Басов, тот самый Басов, бывший первый секретарь Ростовского обкома КПСС, с которым мы были вместе в памятный прилет к Шолохову.

Это было предгрозовое время в Чили, вскоре, через два-три месяца после нашего отлета из Сантьяго, состоялись открытые контрреволюционные выступления против законного правительства Сальвадора Альенде. Вместе с Басовым мы посетили президента Чили. Тогда же, сразу после этой встречи, поднявшись ближе к снежным предгорьям Анд, окружающих Сантьяго, глядя сверху на столицу Чили, мы вспомнили и это посещение Михаила Александровича... Разговор как-то незаметно от воспоминаний перешел к шолоховским героям.

— Здесь имеются и свои Майданниковы, и свои Давыдовы, и, к сожалению, в большом количестве притаившиеся Островновы, — сказал задумчиво Басов.

Внизу в легкой утренней дымке лежал город. Красивый, старый город.

— И борьба будет здесь не менее, а может, и еще более острой, чем у нас на Дону, — сказал Басов.

Я слушал Басова и думал о том, как просто и естественно возникают сравнения. Но самое главное было в неотразимости этих сравнений, в том, что последующие события подтвердили все не только на словах, но и на самой практике политической жизни страны. Впрочем, посещая сельские районы Чили, мы и тогда могли убедиться в остроте назревающих событий. Что же здесь было основным? Социальная, классовая основа борьбы, разворачивающаяся и в Латинской Америке.

...Совсем недавно, в начале лета 1973 года, по приглашению Михаила Александровича я снова был в Вешенской. Мы провели вместе с ним незабываемый вечер и на другой день, рано

утром, отправились на машине к Дону, к тем самым местам, где происходили события «Тихого Дона» и «Поднятой целины».

Трудно забыть это утро, синеющий под ногами Дон, и самого Михаила Александровича, который словно бы был погружен в воспоминания о днях ушедших, но жил интересами нынешнего дня. Невольно, и накануне вечером, и в это утро, как-то вспомнились те пять десятилетий, минувших с тех пор, когда совсем молодой, восемнадцатилетний Михаил Шолохов привез свои первые рассказы в Москву. Время всегда наносит свои меты на людской облик. Всегда понимаешь, что слова о том, что «вы и сейчас молоды», обычно говорят юбилярам в утешение. Шолохов и сам, как от надоедливой мухи, отмахивался от одного упоминания, что будет отмечаться пятидесятилетие его творческой деятельности. От упоминаний можно отмахнуться... Но все равно непреложным фактом стало рождение шолоховского таланта, который оказал такое гигантское влияние не только на судьбы русской и мировой литературы, но и на судьбы революционного движения народов, на формирование революционного сознания миллионов людей на земном шаре, ведущих суровый бой за утверждение новой жизни на планете.

И мы, его современники, счастливы тем, что можем сказать: большое видится не только на расстоянии, но в данном случае, и сейчас, в эпоху расцвета шолоховских традиций, обогащающих и нашу советскую литературу, и все литературы мира, все больше познающих и понимающих шолоховское творчество.

Шолохов всегда с нами — это главное.

■

Анатолий КАЛИНИН

НАШ ШОЛОХОВ

Несмотря на то, что читательское приобщение к творчеству Михаила Александровича Шолохова начиналось у меня в самые первые годы юности, не могу отделаться от чувства, что по-настоящему он для меня только начинается. Отец и мать мои учительствовали в станицах и хуторах Северного Дона, и в конце двадцатых годов, когда появилась первая книга «Тихого Дона», жила наша семья в степном городке Миллерово, в ста шестидесяти километрах от Вешенской. Для меня, тринадцатилетнего читателя «Тихого Дона», эта первая встреча с Шолоховым (его рассказы я прочитал позднее) была как ожог сердца. Тогда же я засобирался в Вешенскую посмотреть «на живого Шолохова». Из Миллерова в Вешки шла какая-то арба, волы, а по-донскому быки, везли товары в станичное ЕПО (Единое потребительское общество). Идут быки неторопливо. Несколько дней ехали в Вешки и столько же обратно. Но Шолохова я так и не увидел, только походил вокруг его дома. И первая встреча с ним состоялась уже в 1938 году, когда редакция «Комсомольской правды» командировала меня, тогда уже ростовского корреспондента газеты, в Вешенскую с заданием написать очерк «В гостях у Шолохова».

Когда я к нему прибыл, Шолохов был болен, но корреспондента «Комсомолки» принял сразу. Ему было тогда тридцать три года, а слава его уже широко шагнула за пределы нашей страны. Загорелый, совсем молодой и с той всевидящей дружелюбной насмешкой в больших глазах, от которой, казалось, ничто не могло укрыться. И это впечатление потом уже осталось на всю жизнь. Как и впечатление какого-то удивительного сочетания у него простоты и изящества. Как и в книгах, ни одного

лишнего слова. И никакого в его отношении к людям деления их по рангам, по чинам. Его интересует каждый человек.

Разговор был недолгий и с моей стороны наивный: конечно, с вопросами о прототипах Григория и Аксиньи. Но эти читательские вопросы и закономерны. Тем из писателей, чьи герои увядают на корню, их не задают.

Мне уже приходилось писать, что в следующий раз приехал я к Шолохову с финского фронта. Запомнилось, как дымилась метелью степь, грузовая машина едва дотянула по глубокому снегу до Вешек. Едва переступил порог дома Шолохова, как он тут же этим своим всевидящим взглядом так и вонзился в шинель военного корреспондента. Уже много лет спустя, когда я вспомнил в одном из своих вешенских очерков этот его взгляд, ощупывающий складка за складкой армейскую шинель, Шолохов, прочитавший эти строки, обронил: «А ты, оказывается, глазастый...»

Я намеревался тогда о многом расспросить Шолохова — он ведь заканчивал четвертую книгу «Тихого Дона». На письменном столе лежала у него стопа писем: одни читатели настаивали, что Григорию Мелехову по всем статьям надо быть красным, а другие категорически заявляли, что он матерый белогвардеец. Не удержался и я, сказав Михаилу Александровичу, что не могу отделаться от того очарования, которым «заразил» меня образ молодого Григория. И от уверенности, что Григорий Мелехов, конечно же, ближе к советскому берегу, чем к тому, на котором остались Митька Коршунов и подобные ему.

Незабываема и последняя встреча с Шолоховым в Вешенской весной прошлого года, о которой уже писал Анатолий Софронов. В том числе и о том, что летели мы из Ростова на маленьком самолете, сильный ветер трепал его, и на ближайшем к Вешенской аэродроме, в Базковской, его не приняли, как потом не приняли и в Боковской, пришлось возвращаться в Миллерово и оттуда уже добираться до Вешек машиной. По тому самому пути, по которому когда-то — уже очень давно — приходилось добираться в Вешенскую тринадцатилетнему читателю первой книги «Тихого Дона» на быках...

Разговор наш был не столько о романе «Они сражались за Родину», сколько о войне. На вопрос Софронова: «Как пишется?» — Михаил Александрович скупо ответил, что пишется, но не так, как хотелось бы, потому что нельзя же писать о минувшей войне так, как будто мы прошли по ее полям чуть ли не парадным шагом. И, листая страницы записей своих бесед с генералом Лукиным, человеком трагической и героической судьбы, он как бы шел и дорогами войны, и дорогами нашей военной литературы.

— Нет, так я писать не могу. А уже есть у нас в литературе и такое...

И все время, пока говорил об этом, сопровождая свои слова скупыми шолоховскими жестами, не оставляло впечатление, что он ворочает какую-то глыбу, прикасаясь к ней и с одной и с другой стороны. Что-то лепит и что-то убирает лишнее. Говорил о войне как о великом страдании и величавом подвиге народа, ни разу не обронив этих слов — «страдание» и «подвиг».

Многие спрашивают, когда будет закончена первая книга

романа «Они сражались за Родину». Об этом может сказать только сам Михаил Александрович. Но где-то у меня есть ощущение, что ждать нам осталось немного. Недавно в издательстве «Современник» вышла книга, в которой впервые были собраны все главы романа. И вот я увидел, что и по объему эти собранные вместе главы уже лишь ненамного тоньше первого тома «Поднятой целины». Но дело, конечно, не в объеме, а в их емкости, о чем недавно говорили мы с Сергеем Бондарчуком. Говорили, что теперь не только можно, но и должно ставить киноэпопею по роману «Они сражались за Родину», большой, народный фильм о войне. Несмотря на то, что имеются уже многотомные произведения о Великой Отечественной войне, ничего равного шолоховскому роману нет. Там же есть и народные характеры, и война в связи со всей предшествующей жизнью и борьбой нашего народа. Характеры людей, возросших на той исторической почве, которая была сутью нашей довоенной жизни. И все время чувствуется, плещется то подспудное, что вселяло уверенность в неизбежную победу над гитлеровским фашизмом, хотя речь в этих главах романа идет о самом трудном периоде войны, об отступлении нашей армии к Дону и к Волге.

...Теперь несколько слов об образе Аксиньи Астаховой. Вряд ли во всей современной литературе можно найти образ женщины, написанный с той же неотразимой силой убедительности, что и образ Григория Мелехова. Ну какая женщина из казачек, из крестьянок в то время могла бы во имя любви вот так решительно порвать с мужем вопреки всем обычаям и предрассудкам тогдашней патриархальной казачьей жизни? В нашей русской литературе я, например, вижу Аксинью в одном ряду с Катериной из «Грозы» Островского. Аксинья выстрадала свою любовь к Григорию, и в итоге она пошла на смерть во имя этой любви.

Сказанное не противоречит читательской любви к Наталье, которая, как однажды очень верно заметила одна журналистка, как бы продолжает в нашей литературе ряд типов и характеров русских женщин, начатый пушкинской Татьяной Лариной. Наталья по-своему прекрасна в своей любви к Григорию. Но, как писал Шолохов, свои законы диктует людям жизнь. Григория ведь насильно женили на Наталье. И как бы ни высока была нравственно Наталья, его любовь к Аксинье была первой и последней любовью в жизни.

...И еще раз хочу повторить то, о чем сказал вначале: хотя Шолохов и перечитан всеми нами неоднократно, для нас, для всех советских и зарубежных читателей он только начинается. И чем дальше будет идти время, тем все глубже они будут проникать в эту художественную сокровищницу народной жизни.

■

Михаил ЛОБАНОВ

СИЛА ЖИЗНЕННОСТИ

Что значило появление «Тихого Дона» в литературной обстановке 20-х годов с пестротою всякого вида «новаций»? Скреплялась, становилась необратимой та связь с великой русской литературой, которая считалась почти уже изжитой сторонниками «новой прозы». В столпотворение субъективных оценок вносилась стабильная точка отсчета художественных ценностей. Рассудочно-частные взгляды на события теряли значение рядом с открывшейся объемностью народного опыта. Сам тип художественного мышления, вносящий объективную содержательность, глубинный психологизм в образ, заставлял задуматься об основе творчества, связанного с полнотою исторического бытия народа.

В «Тихом Доне» есть прямые упоминания о Л. Толстом, о его «Войне и мире». В дневнике убитого молодого казака говорится: «У Толстого в «Войне и мире» есть место, где он говорит о черте между двумя неприятельскими войсками — черте неизвестности, как бы отделяющей живых от мертвых. Эскадрон, в котором служил Николай Ростов, идет в атаку, и Ростов мысленно определяет эту черту. Мне особенно ярко вспоминалось сегодня это место романа потому, что сегодня на заре мы атаковали немецких гусар». Есть и восприятие как бы глазами Толстого момента боя, точнее, психологического состояния людей в необычно резких ситуациях: «Казаков пугало то, что они остались лицом к лицу с противником. Раньше, когда знали, что впереди пограничная стража, не было этого чувства оторванности и одиночества; тем сильнее сказалось оно после известия о том, что граница обнажена». Легко заметить, как общо это место, достаточно вспомнить нечто подобное в «Казаках» Толстого,

где эта резкость пробуждаемого военной опасностью восприятия поражает своей конкретностью: «Место было такое же, как и вся степь, но тем, что абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и ознаменовалось чем-то. Оно ему (Оленину. — **М. Л.**) показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть абреки».

Это писалось совсем еще молодым автором, почти юношей, и писалось о первой мировой войне. Но вот пошла речь о гражданской войне, и уже ни малейшего следа от Толстого, да и не могло этого быть, с развитием событий обнажается такая глубина жизненной первородности, что исчезает представление, что это литература. Характер описания войны у Шолохова иной, чем у Толстого, вызванный иными условиями. Там, у Толстого, предсмертный момент «растягивается» чуть ли не до бесконечности в сознании человека. И даже ужасы войны (скопище кровавых тел в госпитале) — от потрясения не привыкшего к этому сознания («Севастопольские рассказы»). В «Тихом Доне» неизмеримо оголеннее смерть. Никакой рефлексии, и вовсе не от невнимания к загадке смерти. «Или они нас, или мы их», — часто повторяется в романе. В «Тихом Доне» с необычайным мужеством раскрыты такие стороны проблемы смерти, о которых прежняя литература и не имела представления, изыскания ее кажутся в сравнении с этим «слезливо-сострадательными», говоря словами Л. Толстого. Если можно об этом говорить на литературном языке, то психологической уникальностью можно назвать то, с какой внезапностью, неожиданной даже для самих участников, разрешается борьба (Бунчук, скручивающий в одно мгновение офицера Калмыкова и расстреливающий его; Подтелков, обрушивающийся на пленного офицера Чернецова, рубящий его). Идея здесь мгновенно переходит в действие. Шолохов внес в реализм тот новый психологический материал, в свете которого некоторые черты психологизма русских классиков получают новое значение. Раскольников в «Преступлении и наказании» готовится убить «человеческую вошь», старуху процентщицу, в течение многих месяцев изнуряя себя рефлексией (его же, Достоевского, мучительные мысли о хрупкости такого загадочного существа, как человек). «Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал, легче, чем вшу раздавить. Подешевел человек...» — глубокомысленно говорит один из стариков в «Тихом Доне».

«Тихий Дон» начинается с мелеховского двора и кончается им же, когда Григорий Мелехов, пережив страшные испытания, возвращается в хутор, стоит у ворот родного дома, потрясенный встречей с сыном Мишаткой. Мир, вихрь грандиозных невиданных в истории событий замыкается в этом курене на берегу Дона. Где-то в другом мире промелькнувшие призрачные личности типа Керенского, «временного правителя республики», «по-наполеоновски дрыгающего затянутыми в краги икрами», как сказано о нем в романе. Но здесь, на берегу Дона, после опустошительной войны, после стольких смертей по-прежнему тяга к семье, к мирному труду.

Григорий не ищет событий, а они сами как бы находят его. Глубокий психологический материал — как складывающиеся обстоятельства ставят Григория в неизбежность быть участником их, зачастую против воли, и это вопрос, конечно, социаль-

ной психологии. С Григорием Мелеховым, как ни с кем из других героев романа, связана полнота и сложность жизненного материала. Происходящее вокруг, люди, разговоры с ними воспринимаются им во всем богатстве содержания, свойственном народному складу мышления. Слушая деда Гришаку, он досадует на непонятность его поучений, язвит в уме над стариком, а потом, возвращаясь домой, задумывается над его «речениями» — в романе не раз возникнет подобная психологическая ситуация, уже с участием других лиц.

Григорий «всегда трезво и буднично смотрел на вещи», в нем не находит себе союзника Капарин, в прошлом офицер, эсер, отсиживающийся на острове вместе с Григорием, Фоминым, соучастниками его банды. От «мистической» исповеди этот «интеллигентный человек» переходит к предложению: вместе с Григорием Мелеховым они убьют своих однокашников и тем самым заслужат прощение Советской власти. В припадке омерзения Григорий хочет убить Капарина, но из-за жалости только обезоруживает его. И в этих звериных условиях Григорий не изменяет своей внутренней природе.

Поразительно то, что «трезвый и будничный» взгляд Григория не доходит до опустошенности, как это логично было бы именно для «трезвого» взгляда, питаемого беспощадной действительностью. Духовная сила не покидает его до конца пути. Видно это не только в «очистившейся», болью охватившей его любви к Аксинье; в сдержанной и упрочившейся дружбе к фронтовому товарищу Прохору Зыкову; в благодарности к сестре Дуняшке, преданной ему как брату; в незлопамятстве, в доверчивом порыве к Мишке Кошевому, убившему его старшего брата Петра. В том, что от Григория осталась «половинка», отразилась и гибель его родных (убит брат Петр, умер от тифа далеко от родного хутора отец Пантелей Прокофьевич, горе ускорило смерть матери Ильиничны, в отчаянии ушла из жизни жена Наталья, утопилась жена брата Дарья, умерла «от глотошной» дочь Полюшка). И при всех утратах, при всех ужасах пережитого остается в нем то моральное ядро, которое делает и самую его трагедию активным элементом народного самосознания.

Особое место в романе, в его нравственной философии занимает Ильинична. Пронзительно скорбны ее последние дни, когда она ожидает «младшенького», не верит изо всех сил, что убит ее Гришенька. Но, может быть, еще большее материнское ее величие в том, что она благословляет дочь за убийцу своего сына Петра — Мишку Кошевого, видя, что Дуняшка любит его и уйдет к нему. Какая же сила нисходит на эту женщину, откуда она и в чем ее смысл, когда она, глядя на изнуренного болезнью Кошевого, испытывает материнскую щемящую жалость к убийце сына, не выдерживает, говорит «душегубу»: «Ешь ты, ради бога, дюжей! До того ты худой, что и смотреть-то на тебя тошно... Тоже, жених!» Но может ли она даже и своим великим материнским всепрощением внести примирение?

Перечитывая «Тихий Дон», убеждаешься лишний раз, какой бесконечной содержательностью обладает художественный образ великого писателя.

■

Федор БИРЮКОВ

О РАТНОМ ПОДВИГЕ НАРОДА

Пятьдесят лет творческой деятельности Михаила Александровича Шолохова... Это радостная дата в истории нашей и мировой культуры.

Верный сын народа, его первоклассный художник, патриот, воин, большой общественный деятель, он близок и дорог всем нам. М. Шолохов всегда был и остается гордостью, правофланговым советской литературы. Он проложил новые пути в искусстве. Реализм, прославивший на весь мир русское искусство еще в прошлом веке, явил в его творчестве свои новые безграничные возможности. Познание действительности обрело глубину, равную величайшим научным открытиям. Это — после Л. Толстого — новый шаг в художественном развитии человечества.

...Год назад я был у М. А. Шолохова. До Миллерова — поездом. Оттуда — километров сто шестьдесят до Вешенской — на машине.

Громадные пространства полей. Стояла свирепая засуха. Вспоминалось шолоховское:

«А днями — зной, духота, мглистое курево. На выцветшей голубени неба — нещадное солнце, бестучье да коричневые стальные полудужья распростертых крыльев коршуна. По степи слепяще, неотразимо сияет ковыль, дымится бурая, верблюжьей окраски, горячая трава; коршун, кренясь, плывет в голубом, — внизу, по траве неслышно скользит его огромная тень».

Герои Шолохова выросли на этих просторах, под голубым небом, в родимой степи. Они постоянно ездили по этому так много видевшему тракту. На лошадях. На волах. Брели пешком. Григорий Мелехов, возвращаясь перед войной из Миллерова, чуть не утонул во время весенней распутицы. Здесь он, раненный в стычке с Чернецовым, проедет до-

мой — на санях, сидя рядом с отцом. Тяжелые раздумья над тем, как найти правду, будут давить, мучить, терзать его... А когда, уже демобилизованный, поедет он в свой хутор, на этом пути встретит несчастную Зовутку. На широком просторе, открытом всем ветрам, живут его герои.

Вот Базки, хорошо известные по «Тихому Дону». А за ними — та самая эпическая русская река — батюшка Дон Иванович... И такой уж настрой дает шолоховская тема, его художественный мир, величавый эпос, что воображение уносит в легендарное прошлое. И тогда вспоминаешь храбрых воинов Игоря Святославича, устремившихся к Дону великому.

Дон... Край, где рождались эпические предания, бурно проходила сама история. Здесь буйствовала вольница, отсюда выходили вожаки крестьянских войн — Степан Разин, Кондрат Булавин, Емельян Пугачев.

Вниз по Дону плыли виселицы с телами повстанцев, когда при Петре I шло усмирение казачьих волнений.

Пройдут века. И вольный дух отзовется в конных корпусах Семена Буденного, Бориса Думенко, Филиппа Миронова.

Здесь будет бушевать неуемный пожар Отечественной войны.

Вешенская... Известная в наше время всему миру тем, что там живет гениальный художник. Донщина дала ему полнокровный материал для эпоса нового времени. По-новому открылась она — край легенд, преданий, народной поэзии, изумительных песен. Край сильных и ярких характеров. Край, по которому промчались шквалы истории.

Михаил Александрович... Он выходит навстречу с доброй, даже чуть застенчивой улыбкой. На нем по-крестьянски простой льняной костюм. Он как-то уж очень идет к нему. Мне кажется, писатель не стареет. Твердый шаг. Выправка. Собранность. Легкие движения. Плавный жест, приглашение — и сразу снимается напряженность.

Говорить с ним интересно и — главное — очень легко. Время проходит незаметно. У него та редкая одаренность рассказчика, которая поражала всех в Горьком и, между прочим, нравилась самому Шолохову. Михаил Александрович живописно развивает каждую тему; образы, примеры, иллюстрации, фабулы... Яркой выразительности слова, юмор, находчивость, шутка — и все это щедрой сверкающей россыпью. Я бы даже сказал: он мыслит фабулами. Запас их неисчерпаем. Поражаешься: как много он знает о жизни, сколько всего увидел, сберег в памяти, как ценит истинно народное, живую речь — с лукавинкой, неожиданными поворотами.

А память у него уникальная. На события, людей, их лица, жесты, детали — на все, что так необходимо художнику. Помнит до тонкости случаи пятидесятилетней давности. Видит живых людей прошлого, воспроизводит их голоса...

Он в самой гуще народа. К нему приходят, чтобы найти совет и в большом и в малом, отыскать справедливость. И находят ее.

Наблюдая постоянный наплыв посетителей к нему, я спросил:

— Тяжело вам, Михаил Александрович... Так много уходит времени.

Он ответил:

— Ничего. Пока терпимо...

Омрачала его засуха. Жара на солнце — до сорока и выше. Все горело. Зерновые погибли. Тяжело становилось с кормами. Говорит об этом — волнуется, часто затягивается папиросой. На лице — тень раздумья.

А тут еще несчастный случай: на полдороге в Миллерово разбилась частная легковая машина, водитель погиб, женщину отправили в больницу. Шолохов просит навести точные справки: кто эти люди, как чувствует себя пострадавшая...

Если говорить о сильнейшей стороне дарования Шолохова, то надо начинать с этого. Он народен, сердечен, неравнодушен к людям. Демократизм — самая примечательная его черта. И это отразилось на всем его творчестве, окрасило шолоховский поэтический мир в особо привлекательные, живописные тона.

Одно время, когда были в ходу грубо социологические схемы, считалось, что биография писателя, его личность не имеют особого веса в творческом процессе. Этот взгляд давно преодолен. И все же мы нередко забываем, как биография раскрывает подлинные источники познания и определяет самую достоверность, точность этого познания.

Шолохов живет среди народа и думами о народе. Это его стихия, постоянная среда. Он знает народ, его традиции, обычаи по собственным впечатлениям с детства, ежедневному с ним общению. Ему веришь полностью. Картины жизни становятся у него равноценными самой действительности. Он создал как бы летопись событий первой мировой войны, революции, периода строительства социализма, грозных годин Отечественной войны. И везде, на всех этапах его интересует не только событийная сторона, но прежде всего сам народ, энергия масс, глубинные процессы, происходящие в жизни, новые, рожденные в ходе революции исторические черты. Это объективное, очень компетентное суждение о народе.

Я беру тему Отечественной войны в творчестве Шолохова и обращаю внимание на те стороны, которые имеют принципиальное политическое и художественное значение.

Уже 24 июня 1941 года, на третий день войны, М. Шолохов говорил на проводах казаков в ряды Советской Армии: «Со времен татарского ига русский народ никогда не бывал побежденным, и в этой Отечественной войне он непременно выйдет победителем». Писателю ясно было, что война потребует массового героизма и очень важен поэтому вдохновляющий пример наших мужественных патриотов в прошлом. Шолохов сказал мобилизованным на фронт: «Мы ждем от вас сообщений только о победе. Донское казачество всегда было в передовых рядах защитников священных рубежей родной страны. Мы уверены, что вы продолжите славные боевые традиции предков и будете бить врага так, как ваши прадеды бивали Наполеона, как отцы ваши громили кайзеровские войска».

Сам он телеграфирует наркому: «Дорогой товарищ Тимошенко! Прошу зачислить в фонд обороны СССР присужденную мне Сталинскую премию первой степени. По Вашему зову

в любой момент готов стать в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и до последней капли крови защищать социалистическую Родину...»

Так Михаил Шолохов начинал путь во время войны: он вместе с народом.

В июле «Правда» печатает очерк Шолохова «На Дону». Это рассказ о том, как встретил наш народ весть о войне, как вскипала благородная ярость, какой гранитной стеной вставал он на защиту Отечества.

...Митинг на станичной площади. Сюда спешат те, на чьи плечи легла вся тяжесть войны. «Он — дюжий парень, по виду тракторист, в аккуратно заштопанном синем комбинезоне, в чисто выстиранной рубашке. Она — молодая смуглая женщина. Губы ее строго поджаты, глаза заплаканы. Равняясь со мной, она тихо, только мужу, говорит: — Вот и опять... лезут на нас. Не дали они нам с тобой мирно пожить... Ты же, Федя, гляди там, не давай им спуску!

Медвежковатый Федя на ходу вытирает черным промасленным платком потеющие ладони, снисходительно, покровительственно улыбается, басит:

— Всю ночь ты меня учила, и все тебе мало. Хватит! Без тебя ученый и свое дело знаю».

«На станичной площади возле трибуны — строгие ряды мобилизованных. Кругом — огромная толпа провожающих».

Взволнованные наказы, отцовские призывы к сыновьям, напутственные речи — «бить врага беспощадно, до полного уничтожения, и в воздухе и на земле...» Это было то время, когда в военкоматы шли нескончаемым потоком заявления: пошлите на фронт... Когда люди отрывались от самых неотложных дел, брались за винтовку. И боль становилась тем невыносимее, что вот прямо перед глазами: «Доцветающая озимая пшеница — густая, сочно зеленая, высокая — стоит стеной, как молодой камыш. Рожь выше человеческого роста. Сизые литые колосья тяжело клонятся, покачиваются под ветром».

Нарушен мирный труд — вероломно, по-разбойничьи, по-фашистски... Прозорлив и мудр наш великий народ. Всадник, выехавший из зеленого разлива пшеничного поля, говорит автору:

«— Вот она какая раскрасавица уродилась, а тут этот Гитлер, язви его в душу! Зря он лезет. Ох зря!.. Ну да он, вражина, своего дождется!»

Перед лицом нависшей опасности народ неустанно трудится на полях. Добровольно выходят на тока старики. Кипит трудовая жизнь.

Очерк предельно сжат, лаконичен, но в нем с огромной силой отражено дыхание тревожного времени. И то, что сказано о станице, происходило тогда во всей стране: «Два чувства живут в сердцах донского казачества: любовь к родине и ненависть к фашистским захватчикам. Любовь будет жить вечно, а ненависть пусть поживет до окончательного разгрома врагов».

«Науку ненависти» читали в окопах, которые к этому времени передвинулись далеко на восток, — их рыли под Москвой, Ленинградом, под Харьковом и в Крыму. Я помню разрушенный Севастополь. Над головами нависали скелеты зданий: где всего лишь полторы стены, где — один угол. Тротуары — под

высокими горами щебня. Над всем носилась белая пыль — как олицетворение властно распоряжающейся смерти. Города нет. И — казалось — живых уже нет. Но из пепла, пыли, камней подымались воины — в касках, как из страшного подземелья, шли в рукопашную. И храбрейшие среди храбрых — моряки...

Сотни немецких самолетов над клочком земли... Все перепахано бомбами, снарядами, изрешечено минами. Яма на яме... И вроде бы открыт путь завоевателю. Но неведомо как уцелевшие, не отряхивая праха, поднимались наши воины навстречу смерти, гремело русское «ура»!

«Наука ненависти» — рассказ о фашистских людоедах, планомерно, рассчитанно, методически точно выполнявших программу «Майн кампфа» — физическое истребление и порабощение народов.

Шолохов воссоздает страшнейшую правду — продуманные распорядки фашистов в лагерях смерти, крайнее озверение громил и вешателей.

Тем оправданнее звучит ненависть в рассказе, та могучая сила сопротивления советского народа, которая была крепче броневых машин.

Рассказ начинается с эпического зачина — обращения к образам первозданной природы.

«На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу...

Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами, и только в самом центре поляны стояла одна чудом сохранившаяся березка, и ветер раскачивал ее израненные осколками ветви и шумел в молодых, глянцевито-клейких листках.

Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной красноармеец слегка коснулся рукой ствола березы, спросил с искренним и ласковым удивлением:

— Как же ты тут уцелела, милая?..»

Сосна падает от снаряда, как скошенная.

По-своему переносит страшнейший огонь дуб. «Рваная, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние все еще жадно протягивают к солнцу точеные, тугие листья...»

Два символа: береза и дуб. Нежность, поэтичность — и несгибаемая мощь, вросшая вековыми корнями в родную почву.

К лету 1942 года враг далеко продвинулся внутрь нашей Родины. Но на то и дуб, чтоб выстоять... На то и береза, чтоб в нетленности сохранилась ее красота, шумела переливающаяся на ветру листва.

Фронтовики помнят эту великолепную символику. Она укрепляла уверенность: нашего народа не сломить.

Герой рассказа — лейтенант Герасимов, сибиряк — до войны работал механиком на заводе. А еще раньше — грузчиком на Каме, носил за один раз по два куля соли, в каждом — по центнеру. Шолохов отмечает в его портрете: «Худое лицо лейтенанта было спокойно, почти бесстрастно, воспаленные глаза устало прищурены. Он говорил надтреснутым баском, изредка скрещивая крупные узловатые пальцы рук, и странно не вязался с его сильной фигурой, с энергическим, мужественным

лицом этот жест, так красноречиво передающий безмолвное горе или глубокое и тягостное раздумье».

Это рядовой, вроде бы ничем не примечательный наш человек. Но он тот самый герой, который так близок Шолохову, представитель трудовой, созидающей, обороняющейся и насмерть воюющей страны. Он стоек как дуб, противостоящий всем ураганам.

Герасимов побывал в плену, видел дикие расправы над военнопленными. Он прошел по всем кругам смертного ада, выдюжил, убил лопатой охранника, забрал оружие и убежал к своим. «В руках у меня автомат и три обоймы, — рассказывает он. — Бегу! И тут-то оказалось, что бегать я не могу. Нет сил, и баста! Остановился, перевел дух и снова еле-еле потрусил рысцой. За оврагом лес был гуще, и я стремился туда. Уже не помню, сколько раз падал, вставал, снова падал...»

Читали эту волнующую исповедь на харьковском направлении, на донской земле и под Сталинградом; идя в атаки, падали, вставали, снова падали и снова вставали...

Война дорого обходилась людям. Это была жесточайшая истребительная схватка. Война нервов. «А я впервые заметил, — с грустью повествует автор, — что у этого тридцатидвухлетнего лейтенанта, надломленного пережитыми лишениями, но все еще сильного и крепкого, как дуб, ослепительно белые от седины виски».

Есть в этом герое и то, что ассоциируется с березой — нежность, теплота чувств, отзывчивость, любящее сердце. Он вспоминает, как прощался с женой. «И вот уже поезд тронулся, а она идет рядом с моим вагоном, руку мою из своей не выпускает и быстро так говорит:

«— Смотри, Витя, береги себя, не простудись там, на фронте.

— Что ты, — говорю ей, — Надя, что ты! Ни за что не простужусь. Там климат отличный и очень даже умеренный». И горько мне было расставаться, и веселее стало от милых и глупеньких слов жены, и такое зло взяло на немцев».

Рассказ Шолохова воспитывал ненависть... Без этого нельзя было победить сильного и хитрого врага. И чувство ненависти становилось всеобщим, святым, мобилизующим. Чем беспощаднее она, тем искреннее, чище любовь к Родине. Герасимов рассуждает:

— «И воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На таком оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются... Тяжко я ненавижу фашистов за все, что они причинили моей родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под фашистским игом».

Рассказ занял особое место в нашей литературе, потому что он написан с позиций подлинного гуманизма, он убедителен по фактам, ярок по фабуле, языку. В нем страстность патриота, воина, сына Родины...

Через год «Правда» печатает главы из романа «Они сражались за Родину».

Лето 1942 года. Южный фронт.

«На синем, ослепительно синем небе — полыхающее огнем июльское солнце да редкие, раскиданные ветром, неправдопо-

добной белизны облака. На дороге — широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам — словно вымершая от зноя степь: устало полегшие травы, тускло, безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами, и такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика».

Теперь здесь, в местах, близких к Дону, передовая фронта. Шолохов развертывает панорамные батальные картины сражения с врагом, превосходившим нас силой. Его герои не знают отдыха от беспрерывных атак — орудийного обстрела, воздушных налетов, минометного огня, танковых колонн. Они долбят железную землю, зарываясь в окопы. Над ними — палящее солнце, степная пыль, рот ссыхается от жажды.

Герои Шолохова проходят сквозь огонь и воду. И стало обычным: «Все для них ясно, все просто. Об отступлении, как и о смерти, почти не говорят. Война — это вроде подъема на крутую гору, победа — там, на вершине, вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них — на заднем плане, главное — добраться до вершины, добраться во что бы то ни стало! Скользят, обрываются, падают, но снова подымаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъем все равно возьмут. Хоть на четвереньках, но долезут!»

Вот почему искалеченный оглохший Стрельцов самовольно покидает госпиталь и приходит на передовую. Лопахин и Звягинцев отказываются ехать в тыл и тоже остаются на боевом рубеже.

Тот, кто хочет знать, как наши люди остановили фашистские полчища и повернули их назад, должен обратиться к шолоховским представлениям об окопной правде. Они иные, чем у некоторых авторов плаксивых, жалобных повестушек, герои которых не столько воюют, сколько нагоняют на себя и других панический страх. У Шолохова Николай Стрельцов, Иван Звягинцев, Петр Лопахин хоть и делают вынужденный шаг назад, к Волге — они бесстрашны духом, полны оптимизма, это люди обстрелянные, битые, пропахшие пороховым дымом.

Как и Василий Теркин А. Твардовского, они могли бы сказать о себе:

Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы — не помрем.
Срок придет, назад вернемся,
Что отдали — все вернем.

Конечно, нелегко выдержать напряжение боя при современной технике, особенно если атаки беспрерывны. И тогда ослабевают нервы, на время овладевает бойцом тяжелое психическое состояние. Было и такое: «Бессонные ночи, предельная усталость и напряжение шестичасового боя, очевидно, сделали свое дело, и когда слева неподалеку от окопа разорвался крупнокалиберный снаряд, а потом, прорезав шум боя, прозвучал

короткий неистовый крик раненого соседа, — внутри у Звягинцева вдруг словно что-то надломилось. Он резко вздрогнул, прижался к передней стенке окопа грудью, плечами, всем своим крупным телом и, сжав кулаки так, что онемели кончики пальцев, широко раскрыл глаза. Ему казалось, что от громовых ударов вся земля под ним ходит ходуном и колотится, будто в лихорадке, и он, сам охваченный безудержной дрожью, все плотнее прижимался к такой же дрожавшей от разрывов земле, ища и не находя у нее защиты, безнадежно утеряв в эти минуты былую уверенность в том, что уж кого-кого, а его, Ивана Звягинцева, родная земля непременно укроет и оборонит от смерти...»

Это от предельного напряжения. И Звягинцев сам осознает: минутная слабость. Он снова овладевает собой.

«Одним махом Звягинцев выбросил из окопа свое большое, ставшее вдруг удивительно легким, почти невесомым тело, перехватил винтовку, молча побежал вперед, стиснув оскаленные зубы, не спуская исподлобного взгляда с ближайшего немца, чувствуя, как вся тяжесть винтовки сразу переместилась на кончик штыка».

Активность, воля, напор... Так воевал народ... Обращаюсь снова к Твардовскому:

Сила силе доказала:
Сила силе — не ровня.
Есть металл прочней металла,
Есть огонь страшней огня!

Шолоховские герои периода войны — люди чистой совести, открытой души, люди дела, сноровистые, сметливые, незаменимые там, где требуется выдержка, холодное решение ума. Убежденность — наша возьмет! — не покидает их ни на час. Тревожная мысль — Родина в опасности — ведет их вперед.

Шолохов писал в 1950 году:

«Символический русский Иван — это вот что: человек, одетый в серую шинель, который, не задумываясь, отдавал последний кусок хлеба и фронтовые тридцать граммов сахару осиротевшему в грозные дни войны ребенку, человек, который своим телом самоотверженно прикрывал товарища, спасая его от неминуемой гибели, человек, который, стиснув зубы, переносил и перенесет все лишения и невзгоды, идя на подвиг во имя родины.

Хорошее имя Иван!»

М. Шолохов видел то, чего до сих пор не разглядели в той войне отдельные наши прозаики — талантливость командиров, умение повести за собой в атаку. Астахов научился так воздействовать на бойцов в немыслимой обстановке, что к вражеской траншее «на крыльях летишь! Ни холоду не сознаешь, ни страху, все позади осталось! А наш Астахов уже впереди маячит и гремит, как гром небесный: «Бей, ребята, так их и разэтак!»

Но Шолохову известны, конечно, и командиры «с ветродуем в голове». Кавалериста, к примеру, посылают в саперы, а того, кто ни разу не садился на коня и боится подойти к нему, учат верховой езде.

В последних главах романа, опубликованных в «Правде», писатель касается и более тяжелых причин наших временных неудач — последствий культа личности Сталина.

Во всем этом, однако, важен для Шолохова объективный подход, учет всех обстоятельств очень сложного периода, широкий кругозор, полнота представлений.

В этих главах ощущается опыт художника, создавшего классический рассказ «Судьба человека», который открыл новую страницу в литературе о Великой Отечественной войне.

Рассказ «Судьба человека» появился в 1956 году. Наша литература давно не знала такого изумительного явления, когда небольшое по размеру произведение становилось событием.

Чем же замечателен этот рассказ?

Прежде всего в нем с предельной ясностью, правдой, с подлинной глубиной воплощено высокое представление о ратном подвиге народа, выражено преклонение перед простым человеком, который встает перед нами в свете высоких нравственных начал. Отсюда глубокая народность рассказа «Судьба человека».

Шолохов показал, какие широкие плечи подпирали страну, чьи руки держали винтовку, крутили баранку грузовиков со снарядами, когда он прорывался сквозь вражеский огонь.

Стойкость, цепкость в борьбе за жизнь, широта натуры, дух товарищества — эти качества по традиции идут еще от суворовского солдата, их воспел Лермонтов в «Бородине», Гоголь в повести «Тарас Бульба», ими восхищался Л. Толстой. Все это есть у Андрея Соколова.

И снова приходят на память образы-символы — дуб и береза.

Судьба Соколова тяжела, мучительна.

«— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь!»

Но как далек он от западных героев «потерянного поколения». Безверию, пессимизму, мрачному скепсису героев Э. М. Ремарка и Э. Хемингуэя противопоставлена оптимистическая мысль: самая что ни на есть горькая судьбина Соколова — это борьба во имя правого дела. И пусть, применяя шолоховский образ, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина весною покроется листвой.

Шагает Андрей Соколов с осиротевшим мальчиком в Кашарский район. Не загинет он, потому что умеет плотничать, водить грузовик. Нашелся, правда, блюститель дорожного порядка, который запросто отобрал у него шоферские права, совершенно не интересуясь, были ли к тому основания и с кем он имеет дело — с человеком какой судьбы. Такое в нашей жизни тоже случается. И Шолохов не обходит это. Но другие люди — к счастью, их во много раз больше — поймут, помогут и новому отцу, и новому сыну, чтоб они обрели свое место в жизни. Благо, что война кончилась. Первая весна бурлива, многоводна.

«Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то

ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его родина».

Но оптимизм был бы слишком поверхностным, бодряческим, если бы он легко снял то, что стало на многие годы трагедией. Андрей Соколов так и будет до последнего дня своего вспоминать семью: «Почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Ириной и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть — они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...»

То настроение, которое передал М. Шолохов, — глубоко человечное и потрясенное.

«С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...»

М. Шолохов никогда не забывал о том, чего стоят войны и какие неизгладимые следы они оставляют. Об этом говорилось и в «Донских рассказах», и в «Тихом Доне», и в «Поднятой целине». Там немало скорбных и даже траурных страниц.

В «Слове о Родине» он размышляет: «В эту долгую и просторную для горестных воспоминаний зимнюю ночь не одна вдова, потерявшая в войне мужа, оставшись наедине с собой, прижмет к постаревшему лицу ладони, и в ночной темноте обожгут ей пальцы горячие и горькие, как полынь, слезы: не одно детское сердце, на всю жизнь раненное смертью того, кто, верный воинскому долгу и присяге, погиб в бою за социалистическую родину, сожмется перед сном от случайного воспоминания с недетской тоской. А быть может, будет и так: в маленькой комнатке, где грустная тишина живет уже годами, подойдет старик к своей седой жене-подруге, без слез оплакивающей погибших сынов, взглянет в тусклые глаза, из которых самое горькое на свете, материнское страдание выжало все слезы, скажет глухим, дрогнувшим голосом: «Ну, полно, мать, не надо... Ну, не надо же, прошу тебя! Не у нас у одних такое горе...» — и, не дождавшись ответа, отойдет к окну, покашляет, проглотит короткое, как всхлип, сухое старческое рыдание и долго молча будет смотреть в затуманенное стекло невидящими глазами...»

Славя всенародный подвиг, М. Шолохов с особенной признательностью вспоминает труд наших женщин в тылу. Но он и тут, как подлинно народный художник, суровый и всевидящий реалист, не прошел мимо трагического. Председатель кол-

хоза Корней Васильевич — из того же рассказа — вспоминает:

«Один раз иду я в поле, еще до рассвета, а соседка сено косит для своей коровенки, до выхода на колхозную работу. Мужа у нее убили, четверо детишек мал мала меньше у нее на руках. Подошел я к ней помочь, и такими темными глазами она на меня взглянула...»

Если говорить о действенном искусстве, которое и познает, и анализирует, и духовно вооружает, обогащает эстетически, то оно не боится правды, отвергает всякое поверхностное «отображательство». И Шолохов остается здесь блестящим примером. Он раскрывает явления до дна, не боится показать и страшнейшую трагедию, и что-то отрицательное, низменное. Но для него главным остается объяснение того, каким образом весь наш народ преодолевает, казалось бы, непреодолимое, в чем загадка народного характера, запечатленного и в этих стихах Твардовского:

То серьезный, то потешный,
Нипочем, что дождь, что снег, —
В бой, вперед, в огонь кромешный
Он идет, святой и грешный,
Русский чудо-человек.

Тема Отечественной войны прошла через боевую, нацеленную, разительную публицистику М. Шолохова. И каждый раз, обращаясь к отгремевшим битвам, он вспоминает легендарный, небывалый в истории ратный подвиг народа, который обрел в жесточайшем испытании всех своих сил богатырскую мощь, «булатную крепость», еще больше, безраздельнее полюбил свою Родину.

В прозе об Отечественной войне М. Шолохов остается тем же большим мастером. И здесь у него прежде всего точное воспроизведение действительности, реалий военного дела, зоркий, наблюдательный глаз. Он первоклассный баталист, умеющий схватить динамику и напряженность раскаленных боев. Проникновенен и жизненно правдив его психологизм.

Шолохов обладает редчайшим даром индивидуализации. Не только основные, но и эпизодические лица изображены у него так, что им приданы эпические черты и они расширяют пространство охватываемой действительности. Разве можно забыть величественный — не побоюсь этого определения — образ старика пастуха в последних опубликованных главах «Они сражались за Родину»? Или женщину, отчитывающую Лопахина за отступление? Или медицинскую сестру, спасающую Звягинцева?

Гуманист, жизнелюб, оптимист — Шолохов строит драматические коллизии в сопоставлении с картинами вечной и торжествующей природы. Это не какой-то нарочитый «прием», «обрамление», на что способен и заурядный литератор. Здесь, как и у Льва Толстого, — философская мысль, отражение сложного восприятия жизни, идущего от цельного народного миросозерцания.

Кто из фронтовиков, когда, бывало, чуть рассеивалась пыль

от бомб и снарядов, не всматривался в небо, следя тоскующим взглядом за облаками? У Шолохова об этом так:

«Из балки застучали пулеметы. Николай спрятал за бруствером голову; отдыхая, привалился потной спиной к стенке окопа, стал смотреть вверх. Только там, в этой холодной, ко всему равнодушной синеве, ничто не изменилось: так же высоко и плавно кружил степной подорлик, изредка шевеля освещенными снизу широкими крыльями; белое с лиловым подбоем облачко, похожее на раковину и отливающее нежнейшим перламутром, по-прежнему стояло в зените и словно совсем не двигалось; все так же откуда-то с вышины звучали простые, но безошибочно находящие дорогу к сердцу трели жаворонков, лишь слегка прозрачнее выглядела туманная дымка на дальней возвышенности, и обрамлявшие ее перелески теперь уже не казались невесомыми и как бы парящими над землей, а стали синее и приобрели осязаемую на взгляд грубоватую плотность...»

Может, потому еще злее становился наш солдат на войне, что его нежно трогала первозданная красота мира.

Незабываем шолоховский образ: пулеметчик «лежал, картинно раскинув руки, весь целенький и, словно звездным флагом, покрытый золотыми лепестками подсолнуха» («Они сражались за Родину»).

Образы Шолохова многомерны, свежи, символичны. В их основе народные поэтические представления, мощная фольклорная поэтика.

«С левой стороны танка поднялся прорезанный косым, бледным пламенем широкий столб земли, словно неведомая огромная птица взмахнула вдруг черным крылом».

Идя своей дорогой, М. Шолохов создал художественные ценности, необходимые народам всего мира.

Подлинный народный художник всегда общечеловечен. Именно таков М. А. Шолохов в своих бессмертных произведениях, посвященных бессмертию подвига народного.

■

Константин ПРИЙМА

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРЕССА О М. А. ШОЛОХОВЕ

В большой прессе Европы о Шолохове и его романе «Тихий Дон» первое слово было сказано А. В. Луначарским в коммунистической газете «Роте фане» 1 ноября 1928 года. В канун юбилея Великого Октября Луначарский, рассказывая в интервью о достижениях советской литературы, подчеркнул, что «у нас появились могучие, огромной силы произведения пролетарской литературы... Исключительно выдающимся является только что вышедший «Тихий Дон» Шолохова... Удивительный, чудесный роман».

А в октябре 1929 года в Берлине коммунистическое издательство «Литература и политика» в переводе Ольги Гальперн выпустило в свет первую книгу романа «Тихий Дон» и почти одновременно, в октябрьском номере «красного» журнала «Линкскурве» появилась яркая, не потерявшая своего значения и по сей день статья немецкого писателя Франца Вайскопфа, в которой говорилось: «Величием своего замысла, многогранностью жизни, проникновенностью воплощения «Тихий Дон» напоминает «Войну и мир» Льва Толстого».

1929 год принес миру три талантливых произведения о первой мировой войне: «На Западном фронте без перемен» Ремарка, «Смерть героя» Олдингтона и «Прощай, оружие!» Хемингуэя. Книги эти, предав проклятию мировую бойню, глубоко взволновали читателей, хотя и не сказали всей правды о ней и не указали выхода из тупика, в котором оказались их герои.

Романы Ремарка, Олдингтона, Хемингуэя восторженно были встречены критикой, но их авторов никто не сравнивал с Львом Толстым.

С 1929 года и началась в зарубежной прессе борьба вокруг Шолохова. Вначале буржуазная и социал-

демократическая пресса замалчивала «Тихий Дон» — столь невероятным для них показался тезис Ф. Вайскопфа.

Между тем, как свидетельствуют документы истории, в Германии спрос на произведение Шолохова был колоссальный. Именно поэтому окружные коммунистические газеты «Кемпфер» (Хемниц), «Трибюне» (Магдебург), «Социалистическая республика» (Кёльн) и другие — а их было двадцать! — с ноября — декабря 1929 года приступили к печатанию полного текста «Тихого Дона». В Германии в некоторых газетах уже печатались отрывки из «Цемента» Гладкова, из «Брусков» Панферова, но чтобы двадцать окружных газет одновременно публиковали на своих страницах эпос о революции в России — такого триумфа еще не знал ни один советский роман.

«На цветной суперобложке третьего выпуска «Тихого Дона» (I кн.), — свидетельствует член берлинского юнгштурма, участник баррикад красного Веддинга, венгерец Л. Сюч, — очарованные читатели увидели портрет Шолохова — молодого, голубоглазого донского казака в серой шапке. На этот раз роман был издан так роскошно, как издавали в Германии Гёте и Л. Толстого. Повсеместно — в трамваях, на стадионах, в библиотеках Берлина — кипели споры о «Тихом Доне», пацифизме Ремарка и новой России».

«...Ни один иностранный роман не имел такого успеха, — рассказывала мне в Будапеште в декабре 1965 года первая переводчица «Тихого Дона» Ольга Габор-Гальперн. — Меня поздравляли за перевод. Даже буржуазные издательства просили разрешения на переиздание. Во Всегерманском союзе пролетарских писателей «Тихий Дон» был признан шедевром».

В чем же крылась тайна этого успеха «Тихого Дона»? Ответ нам дают аннотации коммунистических газет. Так, например, редакция «Трибюне» писала следующее: «Этот новый русский роман дает читателю необычайное наслаждение не только глубиною чувств, изобилием ярких красок и гениальностью художественного изображения, но в равной степени радует своим призывом к борьбе против империалистической войны... Роман «Тихий Дон» так захватывающе повествует о раскрепощении русского крестьянства в ходе революции, что неожиданно становится учебником и учителем для трудящихся города и деревни... роман учит, как трудящиеся однажды должны будут поступить со своими угнетателями, которые в течение столетий переплавляли пот и кровь рабов в золото!»

Для людей труда, для пролетариев, разгибающих спины и рвущих цепи рабства, «Тихий Дон» за рубежом становился и «алгеброй русской революции», как подтверждает нам в архивном документе немецкий коммунист Леон Мареш, также сражавшийся на баррикадах красного Веддинга в Берлине (май, 1929).

В январе 1930 года «Тихий Дон» появился в Париже в переводе Василия Сухомлина и Сюзанны Кампо в книжной лавке издателя «Пайо». «Тихий Дон» был издан ничтожно малым тиражом (5000 экз.), — писала мне в 1965 году переводчица С. Кампо, — так как издатель опасался, что «красный» русский

роман неизвестного автора будет убыточным. Но коммунисты Парижа, студенчество Сорбонны и левая профессура высочайше оценили роман Шолохова. О нем сразу же заговорила вся пресса. И всюду Шолохова ставили в ряд с гением Львом Толстым».

Переводчик В. Сухомлин в своем предисловии к «Тихому Дону», восхищаясь национальной самобытностью романа, подчеркнул, что Шолохов — человек и писатель нового поколения и пишет по-новому, что ему чужд «фальшивый сентиментализм» и что его донские казаки впервые предстали перед «изумленным европейским читателем в своей земной повседневности — буйной и пленительной, о которой на Западе уже давно не имеют понятия».

В своих рекламах-аннотациях редакция центрального органа Компартии Франции «Юманите» аттестовала Шолохова как «революционного писателя-новатора», как «великого писателя современности, истинно русского поэта, вышедшего из гущи народа и сохранившего всю свою самобытность». Чтобы продвинуть в рабочие массы «Тихий Дон», редакция «Юманите» с 25 марта 1930 года начала его полную публикацию на своих страницах. «С этого дня, — писала мне С. Кампо, — и началось триумфальное шествие «Тихого Дона» по Франции».

В конце августа 1930 года «Тихий Дон» был издан в Стокгольме, в октябре — в Мадриде, в ноябре — в Праге и в декабре — в Амстердаме. В октябре 1930 года в Берлине вышла в свет вторая книга романа Шолохова с подзаголовком — «Война и революция», — и бурные споры в широких читательских кругах о великом русском эпосе большая пресса Запада уже не могла обойти молчанием. С осени 1930 года вся печать Европы заговорила о Шолохове.

Коммунистическая «Роте фане», публикуя отрывки из второй книги «Тихого Дона» и рецензии на роман, обращала внимание на политические аспекты, на опыте России учила массы большевизму. «Тихий Дон», — читаем в «Роте фане», — надо рекомендовать всем пролетариям... Из него они могут узнать многое о работе большевиков на войне и многому научиться».

Критики буржуазной прессы при всей их ненависти к Советскому Союзу, извращая идею романа и позицию автора, в подавляющем большинстве все же вынуждены были признать «Тихий Дон» крупнейшим литературным событием.

Вот некоторые высказывания столичных газет Европы.

«...«Тихий Дон» Шолохова — это широко обоснованное и документально точное произведение, показывающее возникновение революции и ее развитие. Что касается честности описаний и художественности образов, то вряд ли мы нашли бы равное в любой другой литературе. Шолохов не знает безвкусной сентиментальной «человечности» и пацифистского лимонада, которые наводняют 90% так называемой литературы о войне, несмотря на то, что ее авторы считают себя мастерами реалистического изображения. Шолохов представляет людей и события так, как дает их жизнь...» (Прага, «Творба», 1930, № 46).

«...Мы оказываемся потрясенными эпической манерой автора «Тихого Дона», сосредоточенностью его мысли, его культурой, суровостью и непоколебимостью, — писал крупнейший немецкий критик А. Цейтлер. — По зрелости мысли Шолохов остав-

ляет далеко позади себя писателей Запада... У него абсолютно отсутствует литературщина, надуманность, нервозность, кои так присущи всем писателям у нас» (Берлин, «Дас дойче бух», 1931, № 78).

В январе 1931 года «Тихий Дон» появился в Токио в переводе Сиро Сотомура, а в октябре — в Шанхае в переводе талантливого литератора, скрывшегося от охранки Чан Кай-ши под псевдонимом Хэ Фэя. В 1932 году «Тихий Дон» приказом № 693 строжайше запрещен к ввозу в Румынию и в то же время потрясает читателей Копенгагена. В 1933 году «Тихий Дон» предан сожжению гитлеровцами по всей Германии, а в 1934-м — вызывает книжную лихорадку в Лондоне, приводит в восхищение коммунистическую «Дейли уоркер» в Нью-Йорке и будоражит все осиные гнезда-салоны эмиграции, проникает из Варшавы в тюрьмы и вводит в искушение католические журналы Кракова, вызывает восторг братских чувств болгарского народа в Софии и бурю негодования к властям за попытки запретить издание второй и третьей книг романа.

Первые издания «Тихого Дона» за рубежом свидетельствовали не только о колоссальном успехе романа, но и обнаружили ожесточенную борьбу буржуазии против книг Шолохова. Эта борьба прежде всего проявилась в цензурных сокращениях и извращениях текста романа.

В Китае цензура выбросила из первой книги «Тихого Дона» всю третью часть (о первой мировой войне). В Японии, буржуазной Болгарии и довоенной Польше в тексте романа было сделано множество сокращений, изъяты документы Ленина, воззвания большевиков, острые политические споры. Но самой большой расправе «Тихий Дон» был подвергнут в странах, которые более всего хвалятся своей свободой слова и печати — в Англии и США. Там из «Тихого Дона» вырубили свыше ста страниц без указания на титульной странице о сокращениях, как этого требует международное авторское право.

Английское издательство «Путнам» сократило многие главы романа, изъяло документы, изобличающие генерала Корнилова с его камарильей в заговоре против народа и революции, исключило документы Ленина, воззвания большевистской партии, а также главы, повествующие о злодейском вмешательстве военных миссий Англии, Франции, Германии в дела России с целью подавления революции.

Английская пресса — ее критики и обозреватели — до войны в этом вопросе оставались в полном неведении. Важно отметить, что издательство «Путнам» продало свой извращенный перевод «Тихого Дона» за океан, в США, издательской фирме «А. Кнопф», и в этих двух странах английского языка с 1934 по 1972 годы выдающийся роман века издавался в изуродованном виде.

Тем не менее, как свидетельствуют наши друзья, в Англии и Китае, Болгарии и Польше в те далекие годы истинные ценители искусства находили русские оригиналы «Тихого Дона», изучали их, извлекая изъятое цензурой, и в рукописных списках распространяли страницы романа.

Буржуазная газета «Санди графия энд санди ньюс» в мае — июле 1934 года опубликовала десятки глав из «Тихого Дона», отводя для них по две-три страницы в каждом номере. В своих аннотациях редакция газеты писала: «Тихий Дон» — это книга, которая удивила мир! В последние годы ни одно произведение не приблизилось к этой величественной саге о русской жизни по своей силе, взволнованности и безжалостному реализму...»

Документы зарубежной прессы спустя почти сорок лет рассказывают нам сегодня, как в тридцатые годы, несмотря на яростные выступления реакции против Шолохова, роман «Тихий Дон» своей высокой художественностью и беспощадной правдивостью обезоруживал многих критиков в лагере буржуазии.

Реакционная и правая социал-демократическая пресса, стремясь дискредитировать Шолохова как художника, обвиняла его в «красном пропагандизме». Как ни странно, но именно архибуржуазная газета «Нью-Йорк таймс» 15 июля 1934 года в своей огромной рецензии дала внушительный отпор этим суждениям: «Шолохов — это подлинный художник, завоевавший широкую славу в Европе. Его «Тихий Дон» буквально дышит поэзией, все его страницы пропитаны тончайшими запахами земли, ароматами весны, разноцветием казацкой степи... У него под внешней грубостью живут настоящие человеческие чувства... На протяжении всего романа Шолохов остается художником, а не пропагандистом, хотя он и не скрывает своей советской идеологии».

Коммунистическая газета «Дейли уоркер», орган ЦК Компартии США, рекомендуя писателям Америки учиться у Шолохова изображению великих социальных конфликтов, писала: «Шолохов — художник-революционер. И хотя он весь заполнен изображением революционной борьбы (которую буржуазные эстеты и критики, трепеща, шельмуют одним словом: «пропаганда»), Шолохов в романе ни на секунду не теряет из поля зрения человеческой стихии живого народа, творца этой борьбы и истории. Откровенно говоря, его герои встают перед нами как живые. А разве это не то, что мы называем настоящим искусством?!»

В годы второй мировой войны творчество М. Шолохова приобрело за рубежом еще большее звучание и в оценке его появились новые нюансы.

В странах антигитлеровской коалиции — Англии и США — «Тихий Дон» переиздавался несколько раз, и обозреватели английской и американской прессы значительно глубже и более всесторонне рассматривали шолоховский роман.

Так, известный американский писатель Малькольм Каули в «Нью рипаблик» высоко оценил народность Шолохова, «изумительно чувствующего свой народ во всем богатстве его характеров». Критик Эдвин Сивер в «Пост Меридиэн» заявил, что «Шолохов — романист социалистического общества, — «Тихим Доном» возвратил художественной литературе достоинство и знание человека», что «герои Шолохова — патриоты, горячо любящие свою родину» и что «об этом хорошо узнали двадцать лет тому назад интервенты, а сейчас это стало ясно и Гитлеру». В годы второй мировой войны в странах, порабо-

щенных немецким фашизмом и японским милитаризмом, вся советская литература была запрещена, изъята даже из частных библиотек и предана огню. За сокрытие «Тихого Дона» в фашистской Германии людей отправляли в концлагеря.

Архивные документы властей этих стран, письма переводчиков, скудные сообщения прессы тех лет, полученные мною при помощи наших друзей в 1961—1971 годах, подтверждают тот факт, что в черные годы фашистского господства для прогрессивных кругов «Тихий Дон» был знаменем в их трудной борьбе.

Именно так мы оцениваем издание «Тихого Дона» летом 1941 года в Милане одновременно в двух издательствах — «Бомпиани» (перевод М. Раковской) и «Гарцанти» (перевод Н. Бавастро).

В 1942 году с множеством цензурных сокращений «Тихий Дон» вышел в Будапеште, вызвав переполох у властей, которые немедленно сдали в солдаты переводчика романа Шандора Бенами, а его жену, соавтора по переводу, Рене Суран и издателя книги Имре Черепфалви засадили в тюрьму.

А «Тихий Дон» продолжал издаваться: в 1943 году в изуродованном виде он вышел в Барселоне в переводе Петро Камачо и в Бухаресте в переводе поэта Юлиана Веспера.

В 1940—1941 годах в Китае, оккупированном японскими милитаристами, нашелся подвижник-переводчик Цзинь Жэнь, который, памятуя завет великого Лу Синя об огромном значении шолоховского эпоса для Китая, перевел четыре тома и издал их в Шанхае тиражом в 1000 экземпляров за свой счет. «Нужда, голод, болезни с 1936 по 1941 годы одолевали меня в это время так, что перо валилось из рук, — писал Цзинь Жэнь. — Но я не сожалею о проделанной работе над русским романом, не сожалею о той энергии, которую вложил в перевод эпоса, всюду сравниваемого с «Войной и миром». Как боец литературного фронта, я принимал участие в жизни нашей эпохи» (Цзинь Жэнь, Послесловие к IV тому «Тихого Дона». Шанхай, 1941).

Весной 1941 года «Тихий Дон» на английском языке проник в Гудисаретскую тюрьму (провинция Пенджаб). Больной туберкулезом узник Саид Матлаби Фаридабади перевел роман на язык урду, тайно передал рукопись на волю, и там в г. Лахоре осенью 1941 года впервые в колониальном мире на национальном языке вышел в свет «Тихий Дон» Шолохова под названием «Бахта Дарья».

В своем предисловии к роману Саид Матлаби Фаридабади писал: «Люди урду! Когда вы прочтете этот роман «Бахта Дарья» о революции в русской деревне, вы поймете, что это живой рассказ и о вашей деревне и ее жителях. Поверьте, подобно тому, как сейчас на берегах Инда и Джамны разгорается борьба с колонизаторами, двадцать лет тому назад русские вот так же боролись против белых армий помещиков и интервентов, сражались и страдали, любили и умирали, чтобы обрести свободу, правду и счастье. И они победили!»

Да, воистину прав был член американской Компартии Мет Блайч, однажды сказавший, что «Тихий Дон» — это редкая, таинственной силы книга. Ее еще будут читать, читать и читать во всем мире».

Сказано пророчески!

К этому пресса Европы, Азии и Америки дает нам убедительные подтверждения.

Как известно, после войны в Англию, США и Францию, в страны, освобожденные от фашизма, к зависимым и колониальным народам хлынул живительный поток советской литературы — книги Горького и Шолохова, Леонова и Твардовского, Фадеева и Маяковского, Есенина и Симонова, многих советских авторов. Они несли в массы великие идеи Ленина — о мире, демократии, социализме...

Со временем выяснилось, что спрос на книги Шолохова самый большой. К 1965 году, например, в социалистической Германии тиражи «Тихого Дона» и «Поднятой целины» достигли одного миллиона экземпляров, а в капиталистической Японии — двух миллионов!

И хотя США и Англия, придерживаясь курса «холодной войны», продолжали издавать «Тихий Дон» изуродованным сокращениями и хотя в Португалии, Южной Корее, странах Латинской Америки этот роман был запрещен к ввозу, а в ряде стран Европы с трудом пробивался в свет (в Норвегии был издан лишь в 1956 году, в ФРГ — I и II книги вышли в 1949-м, а III и IV — через десять лет — в 1959-м!), — все же в большинстве стран мира книги Шолохова уже печатались полным текстом, без цензурных изъятий.

В буржуазных странах для миллионов читателей «Шолохов стал спутником жизни» (Швеция, «Моргон тиднинген», 23 февраля 1958 года), в Норвегии «поэтическое творчество Шолохова превратилось в народное чтение» (Мартин Наг, профессор. Осло), в Японии литературоведы утверждали, что «великий эпос «Тихий Дон», воспевающий муки рождения нового мира, должны знать все» и что «этот шедевр эпической литературы имеет огромное значение для развития всемирной литературы» (изд-во «Кавадэ сёбо синся», «Ежемесячный бюллетень». Спецвыпуск к III т. «Тихого Дона». Профессор Ямадзаки Хатиро).

В странах, сбросивших иго колониализма, книги Шолохова приобретали еще большую значимость. В Индии к 1960 году «Тихий Дон» был переведен и издан на 10 национальных языках — хинди, бенгали, ория, тамили, малаялам и других. И потому прогрессивная газета «Свадхината» писала: «...Если Октябрьская революция стала началом новейшей истории человечества, то «Тихий Дон» Шолохова есть художественное обобщение первой главы этой истории». Крупнейшая буржуазная газета «Таймс оф Индиа» и книжная фирма «Падумаи падиппахам», издававшая романы Шолохова на тамильском языке, считают, что «Тихий Дон» окажет услугу народам многих стран, не знающим в настоящее время, куда им идти» (реклама на суперобложке «Тихого Дона», изд-во «Падумаи падиппахам», Мадрас, 1960 г.). Коммунистическая газета «Наван замана» в Пенджабе, издательство «Прит Нагар Шап» и известный писатель Д. С. Ананд, переведший «Поднятую целину» на язык пенджаби, утверждают, что в Индии и других азиатских странах решение аграрной проблемы невозможно без учета опыта СССР и что «в этом отношении «Поднятая целина» Шолохова, нисколько не уступая самым лучшим научным трудам, художе-

ственными средствами учит, с какими трудностями приходится сталкиваться, чтобы успешно решить труднейшую проблему современности» (Д. С. Ананд. Предисловие к «Поднятой целине» на пенджаби. «Прит Нагар Шап»). Писатели Калькутты, подчеркивая колоссальное воздействие шолоховских книг на читателей планеты, считают, что «выдающийся писатель XX века Шолохов своим «Тихим Доном» продвинул на шаг дело освобождения человечества во всем мире» (Рам Басу, Калькутта. Предисловие к «Донским рассказам»).

В странах социалистического лагеря миллионы читателей «нашли в лице Шолохова учителя и друга на всю жизнь» (Карл Фрауэнштейн. Дрезден), на его книгах учились по-революционному перестраивать мир. Протоколы VI съезда СЕПГ подтверждают, что творчество Шолохова помогало вожакам кооперативов бороться за социализм, а писателям — овладевать методом социалистического реализма (Протоколы VI партсъезда СЕПГ. Берлин, 1963, стр. 363). В Польше «Тихий Дон» общедоступно объяснил множество трудных идеологических и художественных проблем («Наука и жизнь», 1960, № 1). И, видимо, не случайно в 1965—1966 годах на Всепольском конкурсе-опросе читателей «Злате колос», проведенном редакцией газеты «Дзенник людови», «Тихий Дон» М. А. Шолохова получил 160 533 голоса и пальму первенства среди многочисленных произведений современной зарубежной литературы. Кстати, заметим, что второе место завоевал роман Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», получив 81 000 голосов, третье — «Седьмой крест» А. Зегерс — 38 000 голосов, четвертое — «Чума» А. Камю — 31 000 («Дзенник людови», 19.V.1966. Варшава).

В 1954 году, задолго до пресловутой «культурной революции», комитет зарубежной литературы союза писателей Китая заявил, что все они «на опыте Шолохова учатся методу социалистического реализма» и что в Китае «Поднятая целина» рекомендована в качестве дополнительного пособия при изучении «Генеральной линии» КПК и «Истории КПСС» (Письмо союза писателей Китая в Ленинградский университет, 1954. Пекин). В 1957 году на Всекитайском конкурсе «Отзывов о произведениях советских писателей» подавляющее большинство читателей высказались за Шолохова и его «Поднятую целину», так как «в этом романе и действиях Давыдова, — писал деревенский партработник Фэн Цзянь-нань, — мы находили больше ценных советов, чем в директивах ЦК и циркулярах провинциальных и местных парткомов» (Фэн Цзянь-нань. Открытое письмо Шолохову. Деревня Большая Гэда, уезд Чжабай, провинция Хэбэй. 22.IX.1957. Журнал «Вэньи бао»). И в далеком многострадальном Вьетнаме «Тихий Дон» и «Поднятая целина» оставляли в душе читателей глубокий след, неугасимое звучание», помогая «в труднейших условиях сражаться за честь, свободу и независимость родины, за торжество правды на земле» (Хоанг Тринь. Предисловие переводчика «Поднятой целины». Ханой. 1965).

Итак, документы зарубежной прессы свидетельствуют, что творчество Михаила Шолохова в наше время стало знаменем и одновременно полем битвы двух миров.

Присуждение М. А. Шолохову Нобелевской премии в 1965 го-

ду явилось большой неожиданностью для оруженосцев «холодной войны», так называемых «советологов» — профессоров Г. Струве, Е. Мучник, Э. Брауна (США), Ф. Сечкарева, Ю. Рюле, Г. Ишрейта (ФРГ), реакционеров всех мастей и оттенков и в особенности для пекинских хунвэйбинов.

16 октября 1965 года редакция газеты «Нью-Йорк таймс» в большой статье «Нобелевскую премию получил советский писатель», извращенно трактуя идею «Тихого Дона», приписывала Шолохову «идейные колебания» и «защиту духа бунтарства и автономизма казачества». Ярый антисоветчик профессор Э. Браун в журнале «Нейшн» всячески охаивал Шолохова, стремясь развенчать «Тихий Дон». Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» 16 октября в клеветнической статье «Победитель Нобель-приза красный...» признала решение Нобелевского комитета «позорным», так как «Шолохов — ярый коммунистический романист». А французская «Комба» в статье Г. Матцнева разразилась проклятиями, пытаясь доказать, что Шолохов «не является идеальной кандидатурой в лауреаты» («Комба», 16—17 октября, 1965).

Как призналась западногерманская газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг», взрыв негодования в реакционной прессе был вызван прежде всего тем, что «присуждением Шолохову Нобелевской премии одновременно выдано и признание художественного принципа социалистического реализма».

Но подавляющее большинство критиков в буржуазной прессе Европы, Азии и Америки и вся коммунистическая и прогрессивная печать приветствовали это решение Нобелевского комитета как торжество справедливости.

В ФРГ издательство «Пауль Лист» в томике «Тихого Дона» 1967 года на обложке и в рекламе, публикуя решение Нобелевского комитета, писало: «Вряд ли в современной литературе можно найти исторический эпос столь грандиозного масштаба и вдохновения».

Японская газета «Асахи» 16 октября 1965 года, одобряя выбор Нобелевского комитета, заявила: «На этот раз Нобелевская премия присуждена поистине крупнейшему писателю, которым перед всем миром гордится Советский Союз. Несколько запоздалая, но давно заслуженная награда повышает авторитет самой Нобелевской премии в области литературы».

Хорошо высказалась о решении Шведской академии газета «Нуэстра палабра» — орган ЦК Компартии Аргентины — в редакционной статье «Михаил Шолохов»: «Нобелевская премия не открывает новое, а лишь признает заслуги в области науки и литературы, которые уже раньше нашли мировое признание... Присуждение премии великому советскому писателю в действительности означает, что Нобелевская премия выполнила свое назначение вопреки многолетним маневрам и идеологической дискриминации, которые применялись в Нобелевском комитете по отношению к Шолохову. Приняв награду, советский писатель открывает возможность судьям из Нобелевского комитета исправить одну из их ошибок — дать обратную силу своим суждениям, сделать достойным самый смысл премии, присудив ее Шолохову, который с начала 30-х годов пользуется славой гениального художника-гуманиста».

Коммунистическая «Нуэстра палабра» воздала должное и

международному значению творчества Шолохова, которое заключается не только в том, что его «Тихий Дон» влиял и влияет на передовую зарубежную литературу, что он «оказывает многостороннее воздействие на формирование передовой гуманной морали советского общества и нового человека XX века». По мнению газеты, «Шолохов велик и могуч как писатель-гуманист, гражданин и коммунист, который своим творчеством ведет активнейшую борьбу против идеологии реакции, агрессии и лагеря войны, призывая всех людей мира сохранять бдительность, настойчиво бороться за мир. И это особенно ценят в Шолохове коммунисты Аргентины и все честные люди планеты, куда доходит пламенное слово автора «Тихого Дона».

Читатель уже заметил, как злободневно звучат отзывы о «Тихом Доне» коммунистической и прогрессивной прессы 30-х — 60-х годов, и все, что мы читаем о Шолохове, напечатанное десятилетия назад, звучит так, как будто это написано сегодня.

Шолохов являлся современником читателей 30-х годов, он наш современник, он будет современником наших детей и внуков — и в этом бессмертие его поистине великого таланта.

■

Михаил АНДРИАСОВ

ШОЛОХОВ И МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ

Известно, как много сил отдавал литературной смене М. Горький. Неусыпно и бережно пестовал он молодые всходы отечественной литературы, поддерживал все талантливое, достойное, и немало молодых окрепло под горьковским крылом, стало впоследствии известными писателями.

В наше время многие из тех, кто выходит на литературные дороги, тянутся в Вешенскую, идут к Шолохову.

Вскоре после IV Всесоюзного съезда советских писателей в Вешенскую отправилась целая делегация молодых литераторов Советского Союза и четырех социалистических стран: Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики и Польши.

Встречи в станице продолжались три дня — с тринадцатого по пятнадцатое июня 1967 года. Думается, что эти три примечательных вешенских дня навсегда остались в памяти тех, кто приехал тогда в станицу. Содержательные, интересные беседы молодых литераторов — русских, украинцев, белорусов, немцев, поляков, венгров, болгар, азербайджанцев, казахов, прошедшие с выдающимся писателем в непринужденной обстановке, вылились в необычный, удивительно одухотворенный семинар.

Утром, тринадцатого июня, самолет с гостями опустился на аэродроме хутора Базки. Все пленило вышедших из самолета литераторов — и зеленое поле, по которому они шли, щурясь от солнца, и ковыльный пригорок, взбегающий над Доном, и духовитый шелест донского ветра...

Улыбками и цветами встречали гостей казаки и казачки.

Первая встреча с Шолоховым произошла в просторном зале райкома партии. Литераторы, многие из которых никогда не видели Михаила Александ-

ровича, ожидали его с нетерпением. Вошел он характерной для него быстрой походкой.

— Здравствуйте, дорогие гости, — сказал Михаил Александрович, окидывая собравшихся острым, дружелюбным взглядом чуть прищуренных глаз.

Все встали: русские и поляки, венгры и украинцы, немцы и казахи... Встали и горячо, шумно зааплодировали. Он поднял руку, как бы защищаясь от аплодисментов, и сразу предложил:

— Народ вы молодой, мобильный, быстрый на подъем. Вот и я думаю — как ни просторен этот зал, а все-таки лучше отправиться нам с вами на лоно природы, начать наш разговор среди степного приволья, где-нибудь на берегу тихого Дона. Как вы думаете?

— Правильно.

— Согласны, Михаил Александрович.

Заговорил Вадим Кожевников:

— Ваше предложение, Михаил Александрович, ребята охотно принимают. Поэтому мы сейчас знакомиться не будем, а прямо, без официальных представлений, отправимся на Дон...

— Ну что ж, тогда по коням, — заключил Шолохов, и все вышли на улицу, быстро расселись по машинам.

Автокортеж взял курс на станицу Еланскую.

Шолохов сел в «газик», за рулем которого находился Юрий Гагарин. Он приехал в Вешенскую вместе с писателями и тоже был гостем Михаила Александровича. Присутствие первого разведчика вселенной придавало этому литературному сообществу особую, праздничную приподнятость.

— Ну что, космонавт, поехали?! Давай, трогай, — сказал Шолохов и, весело рассмеявшись, шутливо добавил: — Посмотрим, куда нас Юрочка сейчас доставит, к какому причалу...

«Газик» тронулся. Михаил Александрович сидел по правую руку от космонавта и время от времени тепло поглядывал на него. Мимо проносилась родная, вдоль и поперек исхоженная земля. Сколько раз проходил он этой степью, мимо древних курганов, чуткими шагами охотника пробирался по лесным тропам, настороженно всматривался в шелестящие под ранним утренним ветерком густые заросли приозерного чакана...

Да, он знает эту землю, как знают родную мать. За плечами большая жизнь, прожитая в этой породившей его степи, с этими нежными березками, с высоченными, чуть печальными и задумчивыми, прохладными соснами. Позади — бесчисленные дороги, но сегодня это первая и, к горестному сожалению, теперь уже никогда не повторимая дорога, по которой он едет вместе с Юрием Гагариным... Но пока об этом никто не знает, и степной шлях под июньским, еще не очень горячим солнцем, затейливо бежит мимо дальних и ближних хуторов, вдоль пшеничных полей и живописных перелесков, в охваченные синим маревом дальние просторы, в бесконечную донскую глубину.

Вешенская осталась километрах в пятидесяти на западной стороне. Внезапно «газик» останавливается. Следом притормозили и другие машины. Михаил Александрович спрыгнул на обочину, легко зашагал по полю...

Глаза у молодых светятся радостью. Еще бы! Они идут по донской, шолоховской земле, и впереди сам Шолохов. Но вот

живая цепочка постепенно сжимается, а потом и вовсе исчезает за густыми, тенистыми деревьями.

Остановились за станицей Еланской, в прибрежном лесу. И сразу завязался разговор о литературе. Притихли, окружив плотным кругом Шолохова. Все внимательны, сосредоточены. Хочется запомнить каждое слово.

— Мы встречаемся здесь в таком составе в первый, но не в последний раз, — говорит Михаил Александрович. — Будущее литературы находится в ваших руках, руках молодых. Поэтому я считаю очень важным искать новые формы общения с одаренной молодежью, налаживать духовные контакты с ней. Мы должны быть взаимно строгими и требовательными.

Память писателя обращается к 20 и 30-м годам, он рассказывает о своем литературном крещении, о работе над первыми рассказами, над «Тихим Доном» и «Поднятой целиной», делится раздумьями о современной литературе, о моральном облике художника, о его ответственности перед народом, о неразрывной связи писателя с жизнью общества, о важности творческой дружбы между молодыми и ветеранами, о злободневных вопросах литературного развития, рассказывает о том, что принято называть творческой лабораторией писателя. Один из главных вопросов, которые он поставил перед своими молодыми коллегами: как понимать свой долг перед временем и народом?

Кто-то спросил:

— А как вы считаете, Михаил Александрович, на какие темы следует писать нам, молодым литераторам?

— Вопрос сложный. На него так, сразу не ответишь. Однако думаю, что писать надо о том, что тебе подсказывает сама жизнь, и главным героем того, что ты написал, должна быть Правда этой жизни. И вот еще что: никогда не беритесь за тему, которой вы не знаете. Лично я никогда не писал и никогда не буду писать о том, чего не знаю или знаю плохо, недостаточно. Первый советчик ваш — совесть ваша. Главный судья — народ, для которого вы должны творить. Помните, в ваших руках будущее литературы. Каждое написанное вами слово сверяйте по сердцу, по делам и мыслям народа. В этом случае вы всегда будете на правильном пути.

Пока Михаил Александрович говорил, все молчали. Сигарета в его руке медленно догорала, лишь изредка вспыхивая под ветром. Он достал новую, прикурил и продолжал:

— Мне уже приходилось говорить молодым: очень велика ответственность писателя перед народом. Трудновато приходится молодым литераторам. Надо пройти через тернии, прежде чем родится хорошая книга. Не ко всем придет признание, но что поделаешь — таково честное служение литературе, таковы очень трудные дороги писателя и все же — не торопитесь высказать невыношенное. Надо дать жизнь такой книге, которая бы звучала и жила долго.

Михаил Александрович повернулся в сторону Гагарина. Взгляды их встретились.

— Хорошо бы послушать Юрия Алексеевича, — сказал Шолохов. — Что думает наш первый космонавт по этому вопросу?

Теперь уже всеобщее внимание привлек Гагарин.

— Мне, рядовому читателю, — смущенно улыбаясь, негромко

проговорил Юрий Алексеевич, — хотелось бы послушать специалистов...

— Видали его — «рядовой читатель», — лукаво и многозначительно повторил Шолохов. — Попади такому рядовому на зубок... Рядовой! Земной шар в «шарик» превратил.

— Да нет... Это я честно, Михаил Александрович. Так вот, скажу как читатель. Очень мне по душе пришлось то, что вы сказали, Михаил Александрович. Иной автор, читаешь и чувствуешь это, высасывает сюжет, как говорится, из собственного пальца или «списывает» с потолка. А так как это занятие не столько писательское, сколько писарское, то такие бескрылые книги очень легко рождаются, почти по инкубаторскому способу. Понятно, что такие произведения, их и произведениями грешно называть, до зеленой тоски похожи друг на друга, ну, как две накатанные дороги. Такая книга, что полет без цели. У нее — ни вкуса, ни аромата. Куда уж тут до свежей мысли. И откуда этой свежей мысли в данном случае быть? Сюжет-то брался с потолка, а «потолком» были прочитанные автором произведения других писателей. Стиль разный, слов много, а смысла нет. В таких книгах не увидишь нашей современной жизни с ее стремительным темпом, с ее чудо-людьми. Я люблю читать. Люблю книги, которые вызывают раздумье, будоражат ум и сердце, ведут читателя вперед. Я — за творческую, свежую мысль в литературе, за книги, которые помогают людям больше видеть, глубже знать, делают их сильнее и, как знамя в бою, ведут за собой.

— Отлично сказано, — произнес Михаил Александрович. — За свежую мысль в литературе, за книги, приравненные к боевому знамени... Я от души желаю вам, молодые литераторы, именно таких книг.

...На костре варилась ароматная рыбацкая уха.

Гости бродили по лесу, купались в Дону, плавали, загорали. Немцы и венгры, поляки и болгары сравнивали Дон со своими реками, что-то находили общее и, наоборот, вспоминали отличительные особенности Дуная, Тисы, Вислы, Одера...

Утопая босыми ногами в чистом и горячем прибрежном песке, литераторы затеяли игру в мяч. Палило солнце. «Дети разных народов» как братья отдыхали на русской земле.

В тот же день вечером большая станичная площадь была заполнена народом. Вешенцы пришли на встречу с гостями.

Первым выступил Михаил Александрович. В коротком слове он приветствовал молодых литераторов — советских и зарубежных, с сердечной теплотой представил станичникам Юрия Алексеевича Гагарина. По площади прокатился гул аплодисментов, послышались радостные, одобрительные возгласы.

Над станицей — густые сумерки темного южного вечера. Трибуна освещена яркими лучами электрического света, и создается впечатление, будто на нее издали направлен прожектор.

К станичникам обращается Юрий Алексеевич. Он говорит о волнении, которое испытывает от встречи с донскими казаками, с Михаилом Александровичем, с казачьей землей Донщины. На космонавта устремлены тысячи глаз... Площадь то замирает, прислушиваясь к каждому слову Гагарина, то вновь взрывается овацией, захваченная речью космонавта.

Волнуются литераторы. Сейчас наступит и их черед выступать. Потом об этом так вспомнит поэт и прозаик из Пскова Олег Алексеев: «Все мы испытывали такое чувство, будто выходили на экзамен. Это было понятно — нас слушал Шолохов. Напевно читала свои стихи Лариса Васильева, взволнованно звучал голос Владимира Фирсова, выступали казахский поэт Олжас Сулейменов, болгарский поэт Григорий Константинов... Я волновался всех больше... Стихи, которые я решил прочесть, родились там, в Вешенской, и посвятил я их Михаилу Александровичу...»

Искренние, передающие мысли и переживания всех молодых писателей, стихи Олега Алексеева в тот незабываемый вечер звучали над станицей и притихшими волнами Дона как признательность, как поклон донским казакам и их славному сыну:

И кажется, ехать недолго:
Поднялся и сел самолет...
А вспыхнет излучина Дона,
И тихое сердце замрет,
У плесов гремячих и синих
Мы в вечном и добром долгу.
Не тут ли Григорий с Аксиньей
Стоял на крутом берегу...
Не верите — вешенцев спросим, —
Ничто не пропало зазря,
Ни песнь казаков на покосе,
Ни мудрый прищур Щукаря...
К великому тихому Дону,
К степям, где белы ковыли,
Приходят с глубоким поклоном
Писатели нашей земли...

Второй вешенский день начался в том же просторном зале. Как и накануне, в райком приехал Шолохов. Все с интересом ожидали продолжения того серьезного разговора, что завязался 13 июня за станицей Еланской.

Михаил Александрович высказал свое пожелание: ему хотелось бы послушать молодых, какие проблемы их волнуют, о чем они спорят, как мыслят свое творческое служение родному народу?

Горячо и взволнованно говорили молодые писатели о партийности и идейности литературы, о собственных творческих замыслах, откровенно рассказывали о трудностях, о напряженных поисках, о том, как мыслят решение творческих проблем, выдвигаемых жизнью. Порой высказывались спорные суждения, и тогда каждый доказывал свою правоту, отстаивал свою точку зрения.

Как бывалый учитель, у которого за плечами опыт десятилетий, Михаил Александрович внимательно слушал гостей, не останавливал, не задавал вопросов, а терпеливо и серьезно приглядывался, раздумывал над тем, что волновало молодых литераторов.

В тот день выступили многие: венгерский прозаик Янош Герё, молодой писатель из ГДР Гюнтер Гёрлих, болгарский

поэт Благой Димитров, польский литератор Роман Самсель, костромской прозаик Юрий Куранов, азербайджанский писатель Акрам Айлисли, московский поэт Феликс Чуев, украинский прозаик Юрий Мушкетик...

Нет слов, учитель был тактичен и добр. Вместе с тем он был и достаточно строг. Но в этой строгости не было назидательности, большой мастер не навязывал своих суждений.

— Вот тут говорили о праве молодого писателя ошибаться, — заметил Шолохов. — Не надо, дорогие, считать это привилегией возраста. Дело обстоит значительно сложнее. На писателе — молодом и старом — лежит огромная ответственность. Ошибаются и старые писатели, потому что иногда сам не видишь своих оплошностей. Но, как известно, — ошибка ошибке рознь. Можно ошибиться бригадиру, поправит председатель колхоза, а если ошибется писатель, то эта ошибка может повлечь за собой тысячи ошибок в судьбах людей...

Михаил Александрович вспоминал свою литературную молодость. Его тоже волновали вопросы, которые теперь решают многие молодые писатели. Он тогда не таил своих раздумий от окружающих, обращался с ними к старшим товарищам, читал им написанные страницы, советовался.

— Когда я был молодым, у нас была хорошая традиция. Мы собирались группой, люди разных профессий, не только писатели. Были инженеры, военные работники. Мы просиживали вечера. Помню, я читал первые главы «Поднятой целины». Дружеская критика помогла мне избежать некоторых оплошностей... Почему бы не воскресить эту добрую традицию? Почему бы не зачитывать свои произведения людям, близким по духу?!

На вопрос — что Михаил Александрович считает главным в творчестве советских писателей и писателей братских социалистических стран, — Шолохов ответил:

— Верность правде жизни, родному народу, Коммунистической партии. Это и есть главная основа метода социалистического реализма. Необходима неустанная, кропотливая работа над повышением писательского мастерства. Огромное значение имеет для литераторов изучение образцов народного творчества.

Заключительная часть беседы прошла в доме Михаила Александровича. Его жена Мария Петровна пригласила литераторов на чашку чая.

Как бы подытоживая свои впечатления от встреч с гостями, хозяин дома говорил об особом значении, которое он придает работе с молодыми писателями, подчеркнул, что для этой работы нельзя жалеть ни труда, ни времени.

Лицо его посуровело.

— Я требователен к молодежи, — сказал он, — и у меня есть для этого основания. На этой земле семнадцатилетний Шолохов командовал продотрядом в 270 человек. Я щепетилен. И когда я поднимаю голос против тех, кто посягает на то, что нам дорого, и к чему мы стремимся, прошу меня понять... Я ценитель красоты, мужества. Все мы служим одному делу, одной идее. За верную службу молодых писателей светлой коммунистической идее!

Наступил третий вешенский день. «Литературная бригада» отправилась по «шолоховским» местам — на хутор Кружилинский, где в саманном домике, крытом чаканом, родился Михаил Александрович, в станицу Каргинскую, где он учился...

И снова, в который раз, Шолохов давал молодым советы. В частности, Михаил Александрович сказал, что одной из важных задач нашей литературы он считает воспитание мужества и советского патриотизма, верности долгу. Тема солдатского подвига, подчеркивал он, должна быть одной из ведущих.

...Уезжая из станицы, молодые литераторы рассказывали о том, что им дали три вешенских дня.

— Мне понравилась эта поездка, — говорил немецкий писатель Гюнтер Гёрлих, — понравилась атмосфера искренности в беседах. Это, пожалуй, нужно нам больше всего — искренность, чтобы лучше понимать друг друга. Я прозаик, меня интересует становление нового человека в моем отечестве. Это неисчерпаемая тема. Я горжусь тем, что моя повесть «Черный Петер» вышла на русском языке в издательстве «Молодая гвардия», что другая моя работа выпускается украинским издательством «Молодь».

— Такие встречи многому учат, — подчеркнул Олжас Сулейменов. — И мне, как поэту, было очень интересно встретиться и поспорить с коллегами. Ведь литературные споры у нас проходят не только в официальной обстановке, — мы спорим все время — и в дороге тоже...

Гость из Болгарии, поэт Георгий Константинов, сказал:

— Глубоко взволнован всем, что увидел здесь и пережил. Я, наверное, самый молодой из поэтов, собравшихся в Вешенской. В Софии только что вышел мой первый сборник стихов. Но, я надеюсь, это начало. Что касается поездки молодых литераторов по Советскому Союзу, то она надолго останется в памяти и обменом мнениями о литературе, и встречами с очень интересными людьми. Мне особенно дорог Михаил Александрович. Я перечитал все его книги и на болгарском, и на русском языках. Я считаю его самым замечательным художником нашего времени.

В те дни на донской земле литературные произведения звучали на разных языках: польский литератор Ежи Кжыштонь читал стихи Сергея Есенина, донской поэт Николай Скребов — стихи болгарских поэтов, выступали вологодец Василий Белов, иркутский прозаик Геннадий Машкин, звучала русская, немецкая, венгерская, казахская, украинская речь...

■



Валентин СОРОКИН

ДОРОГА

1

По карте водит длинною указкой
Седеющий от мудрости ученый,
Спокойный, крепко скроенный, комлистый,
Не покачнется даже, будто врос:

— Вот тут питоны ползали,
                                        деревья
Огромные, высоко устремлялись,
Разгуливали мощные гориллы,
Резвились тигры и рычали львы.
А птицы было столько — впрямь крылами
Орлы, кружа, цеплялись друг за дружку,
И на траве посвечивали перья,
Как листья, облетевшие с ветвей.

Охотнику не надо много тратить
Старания, смекалки и усилий,
Увидел — целься,
                              коль стрела запела,
То жертва обетованная с ним.

А реки, сказка — северные реки,
Наполнены сверкающею рыбой,
Не сосчитать пород, я не упомню,
Я просто удивляюсь до сих пор!

2

Ученый улыбнулся и поправил
Воротничок расстегнутой рубашки

И пятернею ловко чуб откинул,
Нависший над бровями, и сказал:

— Бродили грозно ящеры в долинах,
И на песке скучали крокодилы,
Роскошный мамонт смирно к водопою
Своей тропою избранно ступал.

А ливни, затяжные да с громами,
Обрушивались шумно на отроги,
Якутия от молний трепетала,
И полоскался первобытный свет.

Но льдинами взбугрились океаны,
Дохнули на планету холодами
И мерзлотою землю пронизали:
Куда ни сунься — кованая твердь!

Наш институт... — ученый возбуждался,
Подпрыгивая, бегала указка, —
Останки отыскал захоронений
И груду странных, спекшихся костей.

Да, человек помог исчезнуть зверю,
Однако своенравная природа
Сама распоряженья отдавала,
Такие — шли ко дну материки!..

И тропики в пустыню превращались,
Гиганты вырождались в лилипутов,
Клубился мрак, оттачивался разум,
Кинжально к солнцу прорезалась мысль.

Покой — могила, ожиренье — подлость,
А благость — развращенный голос духа,
Распад цивилизации,
надежды
Низвергнутой, освистанной конец.

Бунтующий всегда лучу подобен
И кузнецу-умельцу молодому,
Который мастерит и серп и молот,
И борозду раздольную торит!

3

А я мечтал, я возвращал упорно
Растроганную память к давним датам:
Год пятый,
 год семнадцатый,
 меж ними —
Расстрелы, тюрьмы, робость, нищета!

Стезею Чернышевского к Якутску
Кандалят подконвойные, кандалят.
А кто-то вновь готовит из Сибири
Рисковый и немеркнущий побег.

И там, под Шушей, бревна индевеют,
Качается домишко, против бури
Окно пылает, мачтой корабельной
Поскрипывает на ветру труба.

Великий Ленин смотрит через версты,
Великий Ленин смотрит через горы,
Великий Ленин смотрит через смуту,
Великий Ленин смотрит сквозь века.

Христос зашевелился на распятье
И сразу обернулся в господина...
Долой с иконостасов закелейных
Ты, праведник, измучивший народ!

Твоя программа — слезы и терпенье,
Твоя программа — голод и терпенье,
Как хан немой, ты в скорби торжествуешь,
Распутство и невежество плодишь...

...Хлестнул свинцом каленым бронепоезд,
В ночи Неву раздвинула «Аврора»,
И грянул залп!
 И звякнула корона,
И покатилась по дворцам эпох.

А над Россией белый, белый, белый
Буран, как лебедь, падал, возносился,
И пятна крови, комиссарской крови
Он разогретым пухом прикрывал...

Отчизна-мать повсколыхнула флаги,
Железный пролетарий ввысь поднялся,
Кольчугу сбросил правил и законов
И значит —
горе подлым палачам!

Меняются властители, но суть их
В грабительстве, в жестокости поганой,
В трусливом врачевании, в корысти
И в манифестах, наглых и пустых.

Изменники сметаются восстаньем,
Дрожи, трясись, наследственное барство,
Забывшее и меру и гуманность, —
Возмездье революция сулит!

4

На Север — трактора пыхтят с Урала,
На Север — с Волги эскадрильи мчатся,
На Север — каравай спешит с Кубани,
На Север — теплоход плывет с Днепра.

По топям, по тайге и по болотам
Державный путь простерся зло и дерзко,
Ревел тротил, и скалы клокотали,
Впивался в грунт то крест, то обелиск.

Во имя тех, кто лег во мгле утесов,
Во имя тех, кто вырвался на полюс,
Страна моя отчаянная,
празднуй
И нас в трудах и в битвах береги!

Я сам живу гореньем и отвагой,
Я презираю сытость равнодушья,
Округлость быта, пышноту усадеб,
Бездельника, плюющего в зенит.

И я с тревогой нагружаю сердце,
Зарядом боевым преодоленья,
И суховей шабашных словоблудов
Меня, большого, не испепелит!..

Клянусь — служить Отечеству призваньем,
Клянусь — служить Отечеству талантом,
Клянусь — служить Отечеству бесстрашьем,
Клянусь — служить Отечеству собой.

Никем не прирученная свобода,
Призывна ты, как лермонтовский парус,
Мятежна ты, как лермонтовский парус,
И в бурях утоление твое!

Мой ум, объятый жаждой воспаленной,
Услады не дает, уема тоже.
О Родина!
                    Разбег аэродромов!
И звездолет, сигналящий из бездн!

Вон огород, вон роща, степь и море,
Могильные курганы, как ступени,
И по просторам — бронзовый, тяжелый,
Угрюмо громыхает лунный диск.

Любимая, наверное, не слышит,
Приятна и тиха ее квартира,
И нежная, горячая, родная,
Она, забывшись, задремала чуть.

И теплота ее ладоней тонких,
И блеск волос ковыльно-переспелый,
И юные, тоскующие груди
Зовут меня, вихрастого, домой.

Спасибо ей, и я не встречу равной:
В снегу — заря, а над вершиной — Вега,
А над ручьем — простая земляника,
Сияющая, звонкая моя!

Нет, женщина не яблоко раздора,
Как объявили немощные старцы,
Обрюзгшие, лирические барды,
Не знавшие ни страсти, ни детей.

А женщина — комета в океане
Песчаных бурь
                    и злаковое поле,

Где росы ярко-алые гранятся
И вызревает доброкронный сад.

5

Ученый в рассужденьях изощрялся,
Глаза его огромные чернели,
И в них зрачки попыхивали нервно:
— Ценю я плуг, строителя и мир!

Глядите, здесь — карьеры рассыпного,
Крутого, африканского алмаза,
Структурная похожесть почв,
кристаллов,
Сплошная аналогия веществ.

Вулканное образованье магмы,
А ныне — континенты, континенты,
И мир на государства и системы
Историей опасно разделен.

Границы, разделившие народы,
Незыблемы на всей земле покуда,
Хоть наши биосферные ресурсы
Одни. И космос, кажется, один!..

Хвала тебе, ученый, и спасибо.
Пора, пора в дорогу,
до свиданья,
Якутский, за алтайскими хребтами,
Штурмующий открытья институт.

Я гость совхозов, городов рабочих,
Промышленных, в бетон одетых центров,
Я славлю тракт, моторный гимн победный
И, как язычник, верю в чудеса:

Минует время — расплеснутся волны
Фиалок, маков, брызнет виноградный
Пронзительный, на диво тугоструйный,
Толкающий нас в пляску жгучий сок.

Поднимет в парках люстровые гроздья
Районов дальних буйная столица,

Суровый мрамор облицует стены,
И на перилах заискрится медь.

Мы люди, мы еще объединимся,
Обнимемся, сбратаемся над болью
Стихий и рас, дурных междоусобиц
И войн, и первозданность воскресим!

6

Пусть никогда не гибнут великаны —
Медведь, толстей, и вольничай, сохатый.
Не умолкайте, журавли, кукушки,
Танцуйте, белки, на тугих ветвях!

Ведь красота — она в существованье
И радуги, и кедра, и откоса,
В озерной, голубой, печальной зыби
И в глухаре, токующем хмельно.

Ведь красота — порыв и благородство,
Мгновенье вдохновенья,
                                        упоенье,
Кто испытал, тот осознал: нет бога,
А есть борьба за вечность — красота!

Недаром же герои умирали
На гневных площадях, на баррикадах
И недруга лютейшего крушили
У волжских легендарных берегов.

И я держу распахнутое знамя,
Овеянное духом поколений,
Торжественное,
                            гордое,
                                        святое,
И присягаю действовать и сметь!

1972 г.



Н. КРУТИКОВА

УРОКИ КОНСПИРАЦИИ

ПОВЕСТЬ

Рис. С. ТРОФИМОВА

От автора

Эта повесть написана о Владимире Ильиче Ульянове (когда он еще не был известен под именем Ленина), о его единомышленниках и друзьях, о его деятельности в 1895 году в Петербурге, о поездке летом этого года за границу для встречи



с членами группы «Освобождение труда».

Несколько месяцев жизни Ленина автор хотел показать не в сухом перечислении фактов, а в картинах тогдашней действительности.

В повести нет вымышленных лиц; сведения о друзьях, родных Владимира Ильича, о людях, с которыми он встречался, о его работе за границей почерпнуты из воспоминаний, переписки, документов того времени, из трудов Ленина, отчасти из газет и журналов, выходивших в дореволюционное и советское время.

Не все освещено в по-

вести с одинаковой полнотой. Об одних фактах удалось собрать достаточные сведения, о других этих сведений мало или совсем нет. Пусть читатель не посетует на то, что встреча Владимира Ильича с Вильгельмом Либкнехтом только упомянута, встреча с Полем Лафаргом и Жюлем Гэдом описана кратко. Свидетелей этих встреч не было, и отразить их полнее, прибегнув к домыслам, автору не хотелось.

Автор считает необходимым предупредить читателя, что не выходит за рамки 1895 года и потому не касается дальнейших отношений Владимира Ильича с действующими в повести лицами. Особенно это надо иметь в виду при чтении главы «У властителя дум». Глава посвящена личному знакомству Владимира Ильича с Плехановым, переговорам о совместной деятельности группы «Освобождение труда» с петербургскими революционными марксистами.

Плеханов ясно показал тогда, что по достоинству оценил и творческий подход Владимира Ильича к теории марксизма, и его революционную практическую деятельность.

Во время этих встреч уже наметились некоторые разногласия. Впоследствии пути их разошлись: Плеханов перешел в лагерь противников большевизма, не раз занимал оппортунистические позиции.

Автор считал бы свою работу небесполезной, если бы читатель хоть отчасти перенесся в атмосферу российского подполья, в котором Ленин закладывал фундамент революционной марксистской партии.

1. 15 МАРТА 1895 ГОДА

Возможно, что двойной свет — тусклого петербургского дня и лампы — вызывал безотчетное чувство душевной тревоги у Марии Александровны. Володя выздоровел, из Москвы Анюта получала от мужа коротенькие известия, что «дома все благополучно», сегодня они обе возвращаются в Москву, а беспокойство сжимало сердце.

«Может быть, — подумала она, — давят впечатления вчерашнего вечера?»

Володя хотел доставить им удовольствие: привез би-

леты, заехал перед концертом, проводил до дому, в антрактах был особенно заботлив и внимателен.

Они слушали шведского певца Шоландера.

Мария Александровна наслаждалась своеобразным исполнением скандинавских народных песен. Забытые и полузабытые мелодии оживали в ее памяти вместе с картинами детства в Кокушкине, когда еще был жив отец и сестры не разлетелись из родного гнезда.

Воспитавшая их тетка певала эти песни, аккомпанируя себе на рояле, и девочки любили эти музыкальные вечера. Теперь, вслушиваясь в одушевленное пение артиста, сопровождаемое звенящими, прозрачными звуками лютни, Мария Александровна оторвалась ото всего, что окружало ее в эту минуту, перенеслась в освещенную одной свечой холодную залу кокушкинского дома, в глухую зимнюю тишину деревенского вечера.

Владимир Ильич и Анюта чувствовали, как сосредоточена и напряжена мать: рука ее в тонкой перчатке сжимала программу с усилием излишним. Владимир Ильич видел ее профиль, чуть откинутую назад голову, по временам закрытые глаза и тень улыбки на плотно сложенных губах. Белое кружево на волосах и вокруг шеи подчеркивало простоту ее темного платья... Он вдруг увидел ее со стороны, как будто глазами незнакомца, увидел не затененное заботой лицо, изящество и красоту всего ее облика, увидел такой, какой, ему казалось, увидел ее впервые отец в молодости... И горько ему стало, что редки у нее минуты душевного отдыха...

Ее необычная взволнованность передалась и ему и Анюте и как-то сковала их, и они расстались после концерта, не обменявшись почти ни одним словом.

Наверно, если бы они смотрели вчера «Горе от ума» или «Ревизора», петербургские сумерки не действовали бы сегодня так угнетающе.

Мария Александровна старалась отвлечься. Рассматривала книги и ноты — подарок из Петербурга Мите и Марусе. Потом написала письмо самарским друзьям Шухтам в Женеву, что надеется скоро с оказией прислать подарок Володиной крестнице — Асеньке. О том, что «оказия» — сам Володя, она не писала, не следовало упоминать о его поездке в Швейцарию; о будущей встрече с русскими политическими эмигрантами знать никому не следовало.

Анюта кончала приготовления к отъезду, советовала

матери до прихода Володи прилечь, но разлеживаться перед дорогой Марии Александровне не хотелось, она задремала в кресле и встрепенулась, услышав веселый голос дочери, когда в дверь номера кто-то стукнул два раза.

— Ну что, Володя, если бы не было воспаления легких, его надо бы выдумать? — улыбаясь, спросила Анюта, увидев счастливое лицо брата.

Он еще на пороге вынул из бумажника и высоко поднял заграничный паспорт.

— Учиться тебя за границу не пустили, а лечиться — пожалуйста!

Мария Александровна чуть-чуть погладила склоненную к ее руке голову сына.

— С тех пор много воды утекло, Анечка. Володя теперь не студент, исключенный из университета, а помощник присяжного поверенного.

У Марии Александровны вдруг отлегло: ни тревоги, ни давившей сердце тоски... Володя уедет на целое лето! Целое лето она не будет просыпаться по ночам, как от толчка, от мысли, что именно в эту минуту к нему ворвались с обыском, что ее разбудил стук захлопнувшейся за ним тюремной двери...

— Теперь мы с Анютой спокойно вернемся в Москву. Ты будешь далеко, но в безопасности. Не откладывай, пожалуйста, надолго отъезда. И тебе, и нам будет спокойнее. Да и от гнилой весны подальше! — сказала она, обращаясь к сыну.

— Не тревожься! Я не стану искушать судьбу. И вылечусь, и отдохну, и поработаю, и в срок вернусь.

Владимир Ильич и сам решил воздержаться до отъезда от подозрительных для полиции встреч с рабочими, писем из Женевы и Цюриха не писать, нелегальщины из-за границы не прихватывать. Полиция наверняка письма станет просматривать, за встречами заграничными следить, багаж будет досматриваться с пристрастием.

— Смотри же, Володюшка, чтоб не пришлось Михаилу Александровичу еще раз вызывать меня телеграммой, — сказала Мария Александровна, прощаясь с ним на Николаевском вокзале.

Владимир Ильич не дал ей договорить: знал, как дорого достался матери этот, последний, приезд в Петер-

бург. Мучительны были воспоминания о поездках в 1887 и 1891 годах, разбередились раны сердца — страшная гибель Саши, нелепая смерть Ольги... Это сверх тревоги за него, волнения во время консилиума врачей, сверх ухода за тяжелобольным, неуютной жизни в меблированных комнатах.

— Не экономь на лечении, пожалуйста, Володя. Илья Николаевич всегда говорил, что лечиться следует только у первоклассных врачей. Кнох и Кадьян — надежные люди, поставили тебя на ноги. Теперь остерегись сам. Особенно берегись ветра со взморья. А там при выборе врача посоветуйся со старожилами.

После третьего звонка Анюта, постоянная опора Марии Александровны, с площадки вагона напомнила брату:

— Уговор, Володя: не мы к тебе, а ты к нам осенью. Я тебя буду особенно ждать... И Марк тоже. И багажа оттуда никакого не прихватывай...

Владимир Ильич хитро прищурился — известно-де, о каком багаже толкует сестра.

— Не беспокойся. Я как Михаил Евграфович... * Таможенник его спрашивает: «Не везете ли чего недозволенного, ваше превосходительство?» — «Везу, — говорит, — любезный, везу! Здесь!»

Владимир Ильич хлопнул себя по лбу и, смеясь, успел схватить слетевшую с головы шляпу.

Аня расхохоталась. Поезд дрогнул, звякнули буфера, и, приподняв злополучную шляпу в последний раз, Владимир Ильич прошел несколько шагов рядом со сдвинувшейся площадкой вагона.

— Аккуратно писать мне не удастся, Аня. Объясни это маме, — сказал он на прощанье.

С тем они и расстались.

2. УРОК КОНСПИРАЦИИ

В последние, оставшиеся до отъезда дни Владимир Ильич старался поменьше встречаться с товарищами и тем более не устраивать общих встреч, а совместной работы никак нельзя было избежать.

---

* Имеется в виду М. Е. Салтыков-Щедрин.

Надо было условиться о переписке на случай провала, ареста, отсидки. Надо было решить, что и как будут делать друзья в его отсутствие. Наконец, надо было выбрать преемника, способного заменить его, сохранить связи, наладить сношения с тюрьмой, если понадобится.

Владимир Ильич хотел удостовериться, все ли умеют писать «химией», шифровать текст, способны ли выдержать эту кропотливую работу, способны ли написать письмо так, чтобы оно не поддалось расшифровке в охранке, но легко читалось адресатом. А то ведь (чем черт не шутит!) так зашифруют, что свои же товарищи не разберут...

Как ни прикидывал Владимир Ильич, а встретиться с друзьями, не привлекая внимания полиции, удобнее всего было второго апреля. В этот день, первый день пасхи, весь рабочий Питер сдвигался с мест в гости к родичам, к землякам. Сборище молодежи вряд ли бросилось бы в глаза. Но решено было все-таки собраться не в кишевших шпиками бойких местах города, а в Царском Селе, у «Пожарского» — кличка студента университета, нижегородца Михаила Александровича Сильвина. (Второй нижегородец, Анатолий Александрович Ванеев, был «Минин».)

В Царском Селе тоже надо было соблюдать осторожность, там была резиденция царя.

Михаил Александрович жил один, подрабатывал уроками и в первый день пасхи был свободен от занятий с учениками. Двадцатилетний Сильвин выделялся из кружка своей непосредственностью, даже некоторой наивностью. Предложению съехаться у него он обрадовался. Это был редкий случай общей праздничной встречи и заодно проводов Владимира Ильича, на которого Сильвин смотрел широко раскрытыми, влюбленными глазами. Неисчерпаемыми казались ему душевные богатства и щедрость души, которыми Владимир Ильич делился с товарищами.

С первых, самых трудных дней болезни Владимира Ильича он пребывал в тревоге. Разыскал в Питере знакомого Ульяновых по Самаре, врача Кадьяна, бегал в аптеку, вызвал из Москвы телеграммой Марию Александровну. Теперь он был озабочен и хлопотал о том, чтобы, упаси бог, встреча у него второго апреля не сорвалась.

Точного часа «съезда» не назначали, так как ехать на-

до было порознь, и трудно было предвидеть, какие осложнения возникнут в пути. Решили только, что общая работа начнется не позднее одиннадцати часов утра.

Первой примчалась в мансарду Сильвина веселая, ясноглазая Аполлинария Александровна Якубова («Лирочка»). Сказала, что видела Зину на вокзале; и верно, следом за ней появилась Зинаида Павловна Невзорова, оживленная, разрумянившаяся на запоздалом морозе (пасха была «на снегу»), и, не успев поздороваться, разочарованно сказала:

— «Рыбки» (Надежды Константиновны Крупской) еще нет?

И смехом ответила на замечание Сильвина:

— Не удивляюсь, что вас зовут «Булочкины». Вы обе разрумянились, как сайки.

Он откровенно любовался девушками. У них и тени не было нигилистической, подчеркнутой небрежности в костюме, прическе, манерах. Все было в них просто, красиво и естественно. Видно было, что сами они об этом и не думали.

— Я ухожу по хозяйству, — сказал Сильвин, — а вы устраивайтесь здесь поудобнее.

Начался трудовой день. Сначала казалось, что шифровка дело немудреное. Сочини письмо, подчеркни в нем слова для шифровки, а потом возьми за основу какое-нибудь известное и автору и адресату стихотворение или басню, можно и молитву, и отыскивай в них букву за буквой шифруемого слова. Каждую букву обозначь двумя цифрами: первая — строка стихотворения, вторая — буква в строке. Потом обязательно расшифруй текст для проверки: не вкралась ли ошибка. Но дело затормозилось именно на шифровке: оказалось, что не в каждом стихотворении имеется полный набор алфавита!

Пришлось на память писать стихи, басни и проверять, встречаются ли в них все буквы. Как назло, в каждом стихотворении не хватало то одной, то двух, а то и больше букв...

За этим занятием в половине одиннадцатого и застала их Надежда Константиновна. Зинаида Павловна встретила ее негодующим возгласом, на самых своих низких, грудных нотах:

— Куда девается ферт, Надежда? Мы ищем его и у Крылова, и у Надсона, а его нет как нет...

— Не отчаивайся! Коварный ферт в письмах будет по-



падаться так же редко, а может быть, не встретится совсем. В крайнем случае не зашифруем одну букву.

Сняв шапочку, Надежда Константиновна занялась своей дорожной сумкой. Выложила на стол три томика Лермонтова, несколько книжечек Крылова. Закладками в них были отмечены стихи с полным набором алфавита. Она отобрала их заблаговременно.

— На память рассчитывать не приходится, — сказала она, — в стихах одно слово можно нечаянно подменить другим. Со мною это иногда случается...

Мимоходом она сняла со стола скатерть, на клеенке разложила карандаши, резинки и ножницы, и дело пошло. Когда к 11 часам съехались все остальные члены

кружка, комната Сильвина была погружена в молчание и никто не нарушал тишины, как в зале публичной библиотеки.

Все, кроме Владимира Ильича, сидели за столом, а он то шагал по диагонали из угла в угол, точно хотел протоптать тропинку, то подходил к окну и поглядывал на праздничную улицу. Собрав зашифрованные листки, он усаживался бочком на подоконник и сверял цифирь с написанным под нею текстом. Иногда усмехался, иногда, закрыв глаза, качал головой (дескать, ну и ну!), но чаще возвращал листок с видом удовлетворения и даже какого-то шутливого поощрения.

Еще в Симбирске, в гимназические годы, с братом Сашей они упражнялись в писании «химией», а в Самаре, дружа с последними могиканами «Народной воли», Владимир Ильич искусно втягивал их в беседу о конспирации, дознавался, как переписывались они в тюрьме, как сносились с «волей». Теперь он и сам придумал кое-что новенькое для шифровки корреспонденции.

Тишина была полная. Изредка раздавался негромкий голос:

— Владимир Ильич! Шифрую по басне «Дуб и трость».

Или:

— Беру за основу «Бородино».

Только раз молчание было нарушено. Не выдержал Глеб Максимилианович Кржижановский.

Кто-то сказал тихонько:

— Шифрую по пушкинскому «Пророку»...

Глеб Максимилианович откинулся на спинку стула. Закрыл глаза. Отдыхал. И вдруг вырвалась у него точно против воли пушкинская строка:

— «Глаголом жги сердца людей»! Как написано! Это чудотворство! Это про нас!

Никто не отозвался. Все поняли. Не он один невольно, строку за строкой, припоминал в эти минуты «Пророка». Не он один молча пережил счастье соприкосновения с поэзией, взволновавшей душу...

С усилием оторвались они от пушкинского строя мыслей и чувств, вернулись к «черной» работе. Владимир Ильич, пожалуй, оставался в этом плену дольше всех. Лица его не было видно: он глядел в окно, вдаль, и, когда обернулся, все усердно работали, а он, казалось, и на минуту не отвлекся от своей заботы, чтобы дело

шло бойко да охранка, не зная основы шифра, писем прочитать не могла.

С шифровкой писем по книгам дело шло потуже. Этот шифр использовался при переписке заключенного с «волей» или внутри тюрьмы между сопроцессниками.

В научной книжке, переданной с «воли», на обозначенной особым знаком странице еле заметными точками отмечались буквы, составлявшие текст письма. Тут уж шифровались не отдельные фразы, а целиком все письмо. Внимание требовалось напряженное, терпение — ангельское.

Для заключенных этот способ был самым надежным. С жадностью всматривались они в точки над буквами или внутри букв. Из них складывались сообщения о новых арестах, о чьих-то «откровенных» показаниях следователю, о подготовке денег или паспорта для предполагаемого побега с дороги, о судьбе близких людей, оставленных на «воле».

Гости Сильвина с воодушевлением учились этому делу, на антресолях было тихо, точно все вымерло, и только к вечеру Владимир Ильич сказал: «Баста!» — а Сильвин распрямил плечи и потянулся, прежде чем сбежать вниз за самоваром.

Все устали, перенапряглись, и попытка прочитать текст по точкам кончилась смехом.

«Почти полкниги исшифровали, — вспоминала потом Надежда Константиновна. — Увы, потом я не смогла разобрать этой первой коллективной шифровки. Одно было утешением: к тому времени, когда пришлось расшифровать, громадное большинство связей уже провалилось».

Чаепитие оказалось праздничным. Снизу с самоваром прислали кулич и ветчины. Запасенные хозяином баранки никого не соблазняли, и он грустно поглядывал на них, зная, что один с ними не скоро управится.

Опасаясь, что поездка за границу может кончиться арестом, Владимир Ильич предложил в этот же вечер избрать ему преемника, решить, как распределить работу между членами кружка, какую работу вести в ближайшие месяцы.

Преемником единодушно признали Надежду Константиновну. У нее были связи и с сознательными рабочими — ее учениками в воскресной школе, и кое с кем из народовольцев, и с литераторами из обеспеченных

интеллигентов. Было уменье организовать не только свою работу, были выдержка и способность взять на себя решение неожиданно возникшего вопроса. Без лишних слов она добивалась намеченной цели. Было еще одно, второстепенное, но немаловажное обстоятельство. Она не привлекала к себе внимания. Все тихо, просто было в ней. Глаза, то серо-зеленоватые, то серо-голубые, русая коса («Волосы и глаза у меня — петербургские», — сказала она как-то о себе) были очень красивы, а правильные черты милого лица поражали ее друзей своей одухотворенной прелестью. Но она не бросалась в глаза — серьезное преимущество для подпольщицы.

Другое дело — сестры Невзоровы. Их яркая красота в соединении с бьющим через край оживлением просто мешала им в делах, требующих конспирации. Недаром впоследствии галантный прокурор на допросах корил их за неподобающее женщинам занятие: «Ну я еще понимаю дурнушек! Но вы! Вы призваны быть украшением гостиных! А вы угодили в тюрьму...»

Итак, все сошлись на Надежде Константиновне. Дела были кончены. Застольные песни пропеты. Друзья расставались на несколько месяцев (кое-кто уезжал на кондиции).

К станции шли поодиночке. И хорошо сделали: если бы шумной компанией добирались до Питера, конспирация пошла бы насмарку. А так охранка недоглядела, и после декабрьских арестов выяснилось, что собрание в Царском Селе не было выслежено.

3. «КОЛУМБ» И ЕГО «НЕВЕСТА»

До отъезда Владимира Ильича за границу случилось радостное событие: вышел из «Крестов» «Колумб» — так друзья звали Исаака Христофоровича Лалаянца.

Он был не только единомышленником — одним из первых российских революционных марксистов, — он был другом; с ним Владимира Ильича связывали и личная симпатия, и общие вкусы. В Самаре вместе с Алексеем Павловичем Скляренко они составляли неразлучную троицу.

В «Крестах» Исаак Христофорович отбывал десятиме-

сячную отсидку по старому, казанскому делу. Родных в Петербурге у него не было, и он томился без вестей с «воли». Вот в это время и организовал ему Владимир Ильич посещения «невесты». Наравне с матерями и сестрами невесты пользовались правом свиданий.

«Невестой» Лалаянца объявилась курсистка Ольга Ивановна Чачина, не видавшая его ни разу в жизни.

Узнав, что его вызывают на свидание, Исаак Христофорович очень боялся обознаться, забраться в клетку к чужой невесте, да конвоир вовремя вернул его куда следует возгласом:

— Пожалуйте! Вот ваша невеста!

Милая девушка улыбалась ему через решетку, стараясь изо всех сил скрыть, что ее и смешит и смущает роль «невесты» по поручению.

Как трудно ей было отвлечься от обстановки: знакомиться с «женихом» на расстоянии двух шагов, когда и за его, и за ее спиной ходят надзиратели, прислушиваясь к разговору!

Справа и слева в общий шум сливались голоса посетителей и заключенных, старавшихся перекричать соседей.

Можно ли в таком гаме расслышать и понять друг друга?

Исаак Христофорович был тоже не то что смущен, а неловко ему было: он не знал ее имени. Не кричать же публично собственной невесте: как вас зовут? Хорош жених, нечего сказать!

Ольга Ивановна вывела его из затруднительного положения. Как можно отчетливее, медленно, так что и негромкую ее речь можно было понять, она спросила:

— Когда же на волю? Неужели и в этом году одиннадцатое июля мы проведем врозь?

Расчет был верен. Кто же не знает, что одиннадцатое июля Ольгин день? Исаак Христофорович схватил это с лету.

— С весны осяду на три года в провинции! — прокричал он. — Куда мне проситься, Оля?

Она заколебалась.

— Скажу в следующий раз. Посоветуюсь со «Статистиком».

Исаак Христофорович возликовал. Связь установлена с Владимиром Ильичем... А он-то мучился, не зная, как спросить, кто его «сосватал».

Теперь надо было исхитриться, узнать, что передал ему «Статистик», и сказать о своих поручениях. Может быть, в этом гаме голосов не все дойдет до слуха надзирателей?

Ольга Ивановна спрашивала о здоровье, настроении, нуждах. Отвечал он коротко:

— Здоров. Чем ближе воля, тем лучше настроение. Нужны книги.

— Уж что-что, а книги у вас будут. Сегодня передала фон Струве. (Книги для заключенных просматривались тюремным начальством.) «Сват» просит прочитать с пристрастием. Новый взгляд на развитие России!

— Рад, рад! Передайте, что рад, что благодарю, передайте поклон! Сегодня же примусь за книжку. Да, не знаете ли вы автора? Встречал фамилию в журналах. Genosse * он или противник?

— Извольте говорить по-русски. — Надзиратель остановился около Ольги Ивановны. Ждал, что она ответит.

Она молчала.

— Нехорошо, барышня! По инструкции могу прервать свидание.

Ольга Ивановна пожала плечами:

— Я вашей инструкции не нарушала.

Лалаянц рассмеялся:

— Больше не буду!

Выбрав минуту относительного затишья, Ольга Ивановна поделилась впечатлением от Струве.

— Видела его у знакомых. Занес к ним какую-то новинку. Не присел. Все бегал из угла в угол и так круто поворачивался, я думала — расшибется! Считается «учеником» (это значило: марксистом). Хлопочет очень, чтоб пошел наш поезд, как идет немецкий.

Тут она оглянулась на надзирателя. Тот отчитывал какую-то другую пару, и она быстро добавила:

— Ролью увриеров **, говорили мне, пока не заинтересовался...

Исаак Христофорович с сомнением покачал головой.

— Пожалуй, нам с ним не по дороге?

— Говорят, отповедь ему готова... Как выйдет — вам пришлют! — Она имела в виду реферат Владимира Ильича, разоблачавший буржуазные взгляды Струве.

С этого дня отсидка в «Крестах» перестала томить

---

* Товарищ (нем.).
** Рабочих (франц.).

однообразием. Исаак Христофорович ждал свиданий, вестей с «воли», книг.

Непринужденная болтовня с «невестой», после того как они освоились со своим положением, доставляла огромное удовольствие. Ольга Ивановна была переполнена впечатлениями жизни. Интересная лекция на курсах, выставка передвижников, катанье под Новый год на вейках — обо всем, что составляло студенческий быт, рассказывала она на свиданиях. В этих рассказах изредка упоминался «сват», «статистик», «друг», его мнение, его совет, его шутка, его отношение к политической новости, которую изобретательная «невеста» ухищрялась передать «жениху». Он чувствовал теперь за стенами тюрьмы биение жизни.

Во время одного из свиданий она сообщила, что передала интересную новинку. И верно, через окошко в двери камеры ему показали новенькую книжку какого-то Бельтова со странным, малопонятным названием «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

Надо было просить начальство выдать ее на руки.

Такой был порядок.

Лалаянц вспоминал потом о курьезном разговоре с помощником начальника тюрьмы:

«Спокойным, скучающим тоном заявляю, что вот на мое имя передана книжка, желаю получить ее на руки для прочтения.

«А какая?» Называю. «Какого, коммунистического?! Не могу, не могу». — «Да нет — монистического». — «А это что значит?» — «Да это в древности у философов был такой взгляд...» — «Ага, хорошо, я просмотрю, просмотрю и, если ничего там нет насчет политики, пришлю». Не прошло и двадцати минут — опять через форточку подают книгу: «Получите!» Чистенькая, новенькая и неразрезанная, с полудюжиной штемпелей: «Просмотрено. С.П.Б.О.Т.» (Санкт-Петербургская одиночная тюрьма). Как же он, сердечный, ее неразрезанную просматривал?!»

Исаак Христофорович не без опасений принялся за книгу в ожидании тяжеловесной учености. А прочитал залпом — так увлекательна была злая и остроумная полемика с хулителями марксизма из народнического лагеря (Михайловским и другими).

— Нашего полку прибыло! — закричал он Ольге Ивановне на следующем свидании. — Встретитесь с авто-

ром — передайте мое восхищение. Подписываюсь под каждым его выводом, каждым словом.

Но Ольга Ивановна разговор о Бельтове почему-то не поддержала. Ей не терпелось рассказать о вчерашнем концерте. Она слушала «Демона».

— Чудесный был вечер. Знаете, опера в концертном исполнении, без бутафории, меня волнует сильнее, чем в театре. Хочется послушать еще раз, вместе с вами. Вчера мне грустно стало, что я одна, что «он далеко, он не узнает»!

Лалаянц чуть не крикнул: не может быть! Так вот к чему вела ее невинная болтовня!

Как? В Питере легально издан Плеханов? Да кому же пришло это в голову? Издать труд революционера, политического эмигранта, заклятого врага самодержавия, буквально под носом у правительства?

За каждым шагом его следит заграничная охранка. Сношения с его группой считаются политическим преступлением. За случайное знакомство с ним российских туристов по возвращении на родину таскают на допросы, берут под наблюдение...

А Ольга Ивановна еще острит, увидев его изумление:

— На свете много, друг Горацио, того, что и не снилось нашим мудрецам!

Первый раз со времени знакомства с «невестой» Исаак Христофорович нетерпеливо ждал, когда кончится свидание. В камере жадно схватил только что прочитанную книгу и впился в нее по второму разу.

Он! Он! Как было не узнать его в каждой фразе, в остротах, в тоне убийственного сарказма... Кто хоть раз прочитал Плеханова, не может не узнать его языка, стиля, повадок, безжалостной расправы с противником.

Как было не узнать! А вот поди ж ты: на всякого мудреца довольно простоты! Не узнал. Впрочем, оно и лучше. Уж если своя своих не познаша, так противники и враги подавно не дознаются!

Освобождения из «Крестов» Исаак Христофорович ждал не без волнения. Он знал, что сначала его переправят в охранку, там предложат «выбрать» местожительство, снабдят проходным свидетельством. Этот документик заменял для их брата «политика» паспорт. В нем указывалось все: и куда едет владелец, и когда должен выехать из Питера.

Обяжут выехать в тот же день, а удастся ли за несколько часов до отъезда повидаться с Владимиром Ильичем? И как? На квартиру идти не полагается. Встретиться в публичной библиотеке, в столовке, в портерной, не условившись заранее, нельзя. На последнем свидании Ольга Ивановна сказала, чтоб из охранки он ехал к ней, на Васильевский остров. Он так и решил: там видно будет!

Из «Крестов» на Гороховую Лалаянца сопровождал охранник. Эта малопочтенная публика слыла в Петербурге под прозвищем «гороховое пальто». Лалаянцу запомнилась смешная деталь: его страж был в цилиндре! Давал понять, что не лыком шит, «бла-ародного» происхождения...

Жандармский ротмистр предложил список всех дозволенных для «политиков» пунктов Российской империи. Ни университетских городов, ни крупных рабочих центров в нем, разумеется, не было.

Без волокиты оформили проходное свидетельство в Пензу, и Исаак Христофорович «с вещами» (тощий саквояж с зубной щеткой, бельем и книгами) вышел из подъезда на улицу.

Поджидая извозчика, остановился на краю тротуара. Хотелось курить: десять месяцев он был лишен этого удовольствия. А спички гасли, и он обжигал ладони, загораживая огонь от ветра. Наконец папироса зажглась. Он с наслаждением затянулся и поднял глаза. Извозчик подъехал и терпеливо ждал, пока он закурит, а рядом, ласково разглядывая его, стояла Ольга Ивановна.

— Мне не терпелось... Я заехала в «Кресты», а вас уже увезли. А сюда вовремя поспела... Едем ко мне на Васильевский?

После долгого сидения в четырех стенах залитый солнцем город казался праздничным. Все: и краски, и звуки, и движение городской толпы — воспринималось особенно остро. Казалось, картина эта навсегда отложится в памяти.

Влажный ветер со взморья донес до Исаака Христофоровича запах весеннего леса, фиалок. Он не сразу заметил лиловый букетик на жакете Ольги Ивановны.

— Вы, наверно, не знаете, как любят в Петербурге фиалки... Это так заразительно... Я не удержалась от соблазна...

— А я никогда не радовался им так, как сегодня...

Извозчик оглянулся на седоков несколько раз, всем видом показывая сочувствие: дождалась девушка суженого. Неладно маленько, что везешь его из тюрьмы...

— Ну да не тужите, барышня, — не удержался, сказал он ей на прощанье. — Быль молодцу не укор!

Ольга Ивановна посмотрела на него удивленно, а Исаак Христофорович, расплачиваясь, ответил за нее:

— Спасибо на добром слове, приятель!

Весь день до отъезда из Питера Лалаянц отдыхал в чистенькой комнате Ольги Ивановны.

Переход от одиночки «образцовой» тюрьмы к уюту студенческого уклада, к болтовне за самоваром с заботливой хозяйкой был так живителен, что и думать не хотелось: это на несколько часов, а там — одиночество и неизвестность!

Ольга Ивановна, наладив завтрак, умчалась за Владимиром Ильичем... (Пришлось-таки в этот день ей побегать.) Он пришел оживленный, подвижной, доброжелательный. Принес с собою и политические новости, и беззаботную шутку, и неистощимый запас энергии.

Лалаянц так отвык говорить, что даже заикался на первых порах от волнения.

— Это пройдет, Исаак Христофорович. Это нервишки расшатались, — успокаивал Владимир Ильич друга.

— Да ведь я уезжаю сегодня! Подпиской обязался, — сетовал Лалаянц. — Ведь из-за косноязычия наговориться с вами не успею.

Владимир Ильич и сам досадовал на краткость встречи и за друга огорчался.

— Ба! — вдруг воскликнул он. — Едем вместе в Москву. В дороге наговоримся. Дел в Москве много, и наших еще разок навестить заманчиво. Проведем вместе денек, а там вы в Пензу, а я — бродить по свету.

До отъезда, однако, Владимиру Ильичу нужно было отлучиться по делам — вот-вот должен был выйти в свет сборник с его статьей против Струве...

— Я прощусь с вами тоже, Исаак Христофорович, — сказала Ольга Ивановна. — Мне не удастся вас проводить. Отдыхайте здесь, а у меня до позднего вечера уроки в разных концах города.

Лалаянц огорчился: встретятся ли они на жизненных путях еще хоть раз? Она скрасила ему трудные месяцы

одиночки. А он? Поможет ли ей когда-нибудь чем-нибудь в тяжелую минуту?

— Полноте! — сказала она, когда он пробормотал слова благодарности. — Мне было радостно и легко выполнять поручение нашего «свата». И курс конспирации я как-никак за эти месяцы прошла...

— Доведется ли встретиться нам еще хоть раз?.. — грустно сказал Исаак Христофорович, целуя на прощанье ее руку.

...Не довелось... С «невестой» своей Лалаянц не встретился во всю свою жизнь ни разу...

Только запах фиалок с тех пор будил в его памяти милый девичий образ, застенчивую улыбку, глаза...

4. У РОДНЫХ В МОСКВЕ

Владимир Ильич устроил свои дела и вернулся вовремя. Но ехали они все-таки врозь. До вокзала — по соображениям конспирации, а до Москвы — по смешному и нелепому недоразумению.

Сели в два разных, идущих вслед один другому поезда. Тщетно искали друг друга в пути и встретились только на Николаевском вокзале в Москве, когда Владимир Ильич, высунувшись из окна вагона, погрозил кулаком Лалаянцу. Тот догадался, в чем дело, и ожидал поезд-bis на перроне...

«Среди общей суматохи я ему отвечаю тем же жестом, — писал, вспоминая об этом, Исаак Христофорович. — Не подходя друг к другу и не здороваясь, мы незаметно выходим с вокзала, берем извозчика. Усаживаясь, мы молча друг друга тычем в бок кулаком и, наконец, расхохотавшись, от жестов переходим к словам».

Довольно быстро добрались они с Каланчевки до одноэтажного уютного особнячка в Яковлевском переулке, близ Курского вокзала. Приветливыми освещенными окнами он напоминал симбирский дом Ульяновых.

Неожиданный приезд Владимира Ильича, да еще со старым другом, обрадовал весь дом. Исаака Христофоровича любили в семье Ульяновых. В длинные самарские вечера зимой 1893 года вместе с Алексеем Павловичем Скляренко частенько заглядывал он «на огонек» в опрятную комнату Владимира Ильича, увешанную подшивка-

ми двух-трех газет. К раннему ужину, к общей беседе обычно приглашала друзей Анна Ильинична — молодая хозяйка дома.

Жадно вслушивались в их разговор Митя и Маняша, еще не расставшиеся с гимназической формой, но давно переросшие духовно своих сверстников.

О чем только они не толковали! В «толстых» журналах то и дело появлялись произведения Чехова, Короленко, Вересаева.

«Остров Сахалин», «В голодный год» распахивали перед ними окна в мучительную жизнь простого народа, напоминали о том, что

средь мира дольного
для сердца вольного
есть два пути...

И эта молодая поросль («Подлесок» — называл их с ласковой насмешкой Алексей Павлович Скляренко) тогда уже знала, что и для нее нелегкий путь борьбы «судьбой назначен строгой». Как знал это когда-то старший брат. Как знает Володя.

Не потому ли у Ульяновых все голоса звучали равноправно? Никто не говорил книжно, никто не поучал, никто не снисходил.

Среди острот, смеха, стихов Курочкина, Жулева, Жемчужниковых — Анна Ильинична знала их тьму-тьмущую — вдруг вспыхивал разговор о живых цифрах Глеба Успенского (Митя был увлечен в это время Успенским) или о только что напечатанной «Палате № 6». Все они чувствовали, что жить в «палате № 6» нельзя, что жизнь надо изменить. Это было «общее дело». Ему посвятили себя старшие.

Младшие знали: придет и их черед. Надолго, навсегда остался в их душах след благотворного общения с Анютой, Володей, их друзьями, доброе чувство благодарности за то, что научили зрелым, трезвым взглядом глядеть вокруг, на настоящее, научили видеть отдаленное будущее.

В апрельский вечер в Москве вдруг ожила эта самарская атмосфера, и Владимир Ильич, окруженный ею после полутора лет одинокой петербургской жизни, долгих вечеров за книгой, за рукописью, и особенно Исаак Христофорович после монотонной бессмысленности тюремного распорядка наслаждались выпавшими на их долю

часами общения с милыми, сердечными единомышленниками в родной семье.

Вся молодежь разместилась за чайным столом. Белая скатерть серебрилась, отражая свет висячей лампы. Только Мария Александровна сидела поодаль в покойном кресле. На рабочем столике рядом лежал клубок блестящей шерсти; она не работала, а вслушивалась в беседу и изредка включалась в общий разговор. Все дети были в сборе, здоровы, в безопасности, и мать отдыхала от постоянного чувства тревоги за отсутствующего.

Не сводя внимательных глаз с Лалаянца, сжав тонкие кисти рук в белых рукавчиках, слушала его рассказ о «Крестах» Маняша.

Эта тюрьма, построенная по образцу «лучших» американских тюрем, была особенная. Заключенные в ней обязаны были овладеть каким-нибудь мастерством и работали ежедневно с семи утра до половины седьмого вечера. Лалаянц стал ткачом. В камере стоял станок, и он усердно выполнял «урок», за что ему полагалось сорок процентов заработка (шестьдесят казна брала себе); половину денег можно было расходовать в тюрьме, половину выплачивали при выходе.

— Без денег из «Крестов» не выпускают — заботятся о нашем брате!

Мария Ильинична спросила, попадали ли к нему газеты и журналы.

— Не полагается. И за то спасибо, что книги с «воли» передают. Требуют только, чтоб новенькие, неразрезанные были. «Кресты» не предварилка *, там полегче, а здесь смотрят в оба!

— А у меня приятель где-то в провинции на «губе» ** сидел. Ни книг, ни журналов не полагалось, — сказал Марк Тимофеевич с характерным для волжан произношением и интонациями. — А за булками и колбасой солдат посылали. Так он приспособился: лишний пятак на подсолнухи давал. Ну, подсолнухи в пятерне не принесешь, разумеется, в газете... Все время, говорит, в курсе событий был, хоть и с запозданием...

Не засмеялась только Анна Ильинична.

---

* Дом предварительного заключения.
** Гауптвахта.

— Новый вид фольклора, — сказала она невесело. — Тюремный. Хоть бы кто не поленился, записал для потомков. Они, пожалуй, не поверят, за анекдот сочтут. А всё как в зеркале. И темный, неграмотный солдат. И тупица фельдфебель. И заключенный, наверно, безусый мальчик, которому без проделок, без смеха жизнь не в жизнь была...

Мария Ильинична встала из-за стола.

— Я дам вам на дорогу Толстого, Исаак Христофорович! Новый рассказ «Хозяин и работник». Это такое счастье — вместе с Толстым проникнуть в человеческую душу! Не всем это дано, а он этому учит. Оставьте газету себе. На память. Я припрятала номер для Володи, да он прочитает в «Северном вестнике», — сказала она и незаметно исчезла. Как ни заманчиво было провести вечер с любимым братом и его другом, она ушла от них к своим обязанностям.

Теперь Мария Александровна прислушивалась и к беседе за столом, и к пассажам, доносившимся из дальней комнаты.

— Маня называет это: учиться не совсем спустя рукава, — объяснил Лалаянцу Владимир Ильич.

— Володя иронизирует, а ведь сам приучил Марусю к аккуратности, — сказала Мария Александровна. — Пример старших братьев и сестер действует вернее, чем назидания родителей. Я проверила это сто раз на собственном опыте. Ты тоже многому научился у старших, Володя.

Дмитрий Ильич засмеялся.

— Ну, я-то ни за какие коврижки никуда не уйду, как ни крепка у меня фамильная добродетель — усердие! В кои-то веки собрались все вместе... Лучше потом ночь позубрю, а сейчас — слуга покорный.

И верно, он точно прирос к своему стулу. Дотошно дознавался о подробностях тюремного быта, хохотал при описании первой встречи Лалаянца с «невестой», представляя себе, как забавно выглядел «жених» в таком необычном переплете...

Тем временем Марк Тимофеевич тихонько вышел из столовой и вернулся довольный, с газетной вырезкой в руках.

— Что же, если Маруся запаслась Толстым для Исаака Христофоровича, так я тоже кое-что припас для вас, Володя! Вы только послушайте, господа, как оза-

бочен судьбой «меньшо́го брата» помещик Малюшицкий, как он взывает к состраданию добрых фабрикантов.

Марк Тимофеевич «с чувством» прочел вслух письмо в редакцию «Нового времени»:

«М. г.! Будучи постоянным свидетелем крайней нужды крестьян некоторых деревень Сугоровской волости Тихвинского уезда — нужды, которая в особенности их одолевает в зимнее время по неимению решительно никаких работ, я не раз призадумывался, как бы помочь этому горемычному люду. Не найдется ли у петербургских фабрикантов работ, т. е. материала для обработки его на деревне, конечно, под моим руководством и ответственностью как за точное выполнение заказа, так и за целость материала. Если найдутся добрые люди, которые будут отдавать работу на деревню, то работа будет исполнена дешево и не одна молитва бедняков будет вознесена к богу за их здоровье.

Примите и пр.
А. Малюшицкий.

Ст. Чемехино Тихвинского уезда Новг. губ., усадьба Гавшино, отставн. капитану Александру Ивановичу Малюшицкому».

Дмитрий Ильич шумно обрадовался.

— Ай да радетель о народном благе! И фабрикантам дешевые руки пообещал! И себя не забыл, в посредники пристроил! Вот здорово бы эту выписку Бельтову послать! Он бы отделал этого господина. Михайловский небось потирает ушибленные места после «Монистического взгляда»... Не книга, а оружие огромной силы. Классическая работа.

— Да, подвел отставной капитан «друзей народа», нечего сказать! Вот вам иллюстрация страданий «от недостаточного развития капитализма», — сказала Анна Ильинична. — Некуда мужику податься. Хлеба нет. Работы нет. Здесь, под Москвой, деревня есть — Шувалово. Так ее иначе не зовут, как «Шувалики — жженые оглобли». С рождества пускаются кто куда собирать «на погорелое», а для убедительности оглобли обжигают...

— Не будем падать духом, друзья! Расторопный Колупаев с Разуваевым и до Шуваликов доберутся. Всех облагодетельствуют. И женщин и ребятишек в работу

запрягут. Англия давно через это прошла. И нам не миновать. Сто раз об этом мы с вами говорили, Володя. Да скоро ли наши народолюбцы это поймут?

Владимир Ильич не успел ответить Лалаянцу. Анна Ильинична его опередила:

— Где там! Куда там! Нашим добрым молодцам все это «в наук нейдет»! Митя, не в службу, а в дружбу принеси из моей комнаты «Русское богатство», последний номер. Посмотришь, Володя, как всполошился Николай — он * упрекает Бельтова за то, что «ученики Маркса» не дали обобщенных работ о российской экономике... Дескать, выводы Бельтова о том, что Россия больше страдает от недостаточного развития капитализма, чем от самого капитализма, неубедительны...

— Письма капитана в отставке Малюшицкого ему не хватало! — съязвил Марк Тимофеевич.

— Возьмите, Исаак Христофорович, — протягивая Лалаянцу журнал, сказала Анна Ильинична, — успеете прочитать на сон грядущий. А тебе я, пожалуй, дам его с собой, Володя. Только не забудь, пришли обратно.

— Хуже глухого кто не хочет слышать! — возмущался Владимир Ильич. — Господам народническим публицистам мало живой жизни, мало земской статистики! Это ли не срам? Художники разглядели и показывают то, на что ученые умники закрывают глаза...

— Глеб Иваныч Успенский обобщает за них противоречия жизни, — почти крикнул, перебив Владимира Ильича, Митя.

Владимир Ильич раз-другой прошелся по столовой. Остановился, чуть-чуть покачиваясь на каблуках.

— Вот теперь они требуют от марксистов капитальных трудов. «Ученые», с позволения сказать! Сами-то боятся правде в глаза посмотреть... Им «капитальные труды» подавай! Ну ладно, дождетесь вы капитального труда о развитии капитализма в России! Дождетесь! Тогда уж податься вам будет некуда, — гневно кончил он. — Пошли, Исаак Христофорович, спать! — И, поцеловав мать в голову, пошел было из комнаты, да остановился на пороге и точно итог подвел: — Попомните мое слово: на книге Бельтова будут учиться многие поколения русских марксистов!

---

* Народнический публицист Н. Ф. Даниельсон.

* * *

Весь следующий день Владимир Ильич посвятил Лалаянцу. Они много бродили по Москве; были дела у Владимира Ильича к московским марксистам, были дела и у Лалаянца — он искал связей в Пензу.

А главное — надо было рассказать о том, что их самарская мечта наконец осуществилась.

Они расстались полтора года назад. За это время в Петербурге установлены связи с рабочими, созданы марксистские рабочие кружки.

Удалось сразиться с противниками в открытой схватке. Владимир Ильич рассказал о нелегальной вечеринке в Москве на святках 1894 года, когда видный народник Воронцов был положен им на обе лопатки.

— Вот тут, на этом самом месте, — смеясь, сказал Владимир Ильич, указывая на угловой дом у Арбатской площади, мимо которого они проходили, направляясь к кофейне перекусить.

Все это было отрадно, но в восхищение привела Исаака Христофоровича новость о подпольном издании целой книжки против народников.

— Как это удалось? Каких предосторожностей, каких трудов, каких нервов всем это стоило? Перепечатать, размножить, распространить! И не листок, а целую книгу! Далеко вы шагнули, пока я в «Крестах» обретался...

— Да! Далеко, но... и до конца пути не близко. Люди есть надежные и в Питере, и здесь, в Москве. Никто ведь не дознался, где, когда, кем «Друзья народа» * изданы. Но это первый шаг...

— Если дело так пойдет, пожалуй, и газета для рабочих вытанцуется?

— Это уж осенью обсудим, когда вернусь. Приезжайте в Москву в сентябре. Тогда виднее будет, что, где и кому придется делать.

Лалаянц радовался успехам питерцев, но, чуткий к настроению друга, он уловил какую-то неудовлетворенность в тоне Владимира Ильича. Слишком отчетлив и ясен для того был круг необъятных задач революционного движения в России и мучительно сознание непо-

---

* Книга В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

сильности этих задач для кружка даже самых преданных, самых героических революционеров.

— Нам нужны не кружки... нужна организация революционеров, — говорил Владимир Ильич не без горечи. — Без такой организации нам не перевернуть Россию. Эту организацию мы должны построить своими руками. Вот над чем надо работать, вот о чем нам надо мечтать!..

Это были последние слова, сказанные им Лалаянцу на прощанье.

Вечером этого дня они разъехались из Москвы: Лалаянц — в неизвестное одиночество пензенской ссылки, Владимир Ильич — в Петербург, к единомышленникам и друзьям.

5. ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ И ДРУЗЬЯ

Единомышленники и друзья — небольшая группа марксистов, в которую вошел, приехав из Самары в Петербург, Владимир Ильич. Ее составляли люди разных характеров и разных судеб.

Сблизился с ними он легко. У него был дар разглядеть и разгадать характер, склонности каждого человека. А преданность делу и мужество его единомышленников не вызывали никаких сомнений.

Раздумывая о петербургских марксистах, Владимир Ильич радовался своеобразию их, как свидетельству незаурядности каждого.

Портреты их нелегко восстановить по отдельным черточкам, рассеянным в воспоминаниях современников. Они получаются лишь бледным списком с полнокровных образов живых, молодых, энергичных, прекрасно образованных петербургских марксистов.

В воспоминаниях друзей Степан Иванович Радченко вырисовывается как спокойный, добродушный, сильный человек с хитрой усмешкой, с характерным украинским юмором.

Как и Владимира Ильича, его настораживало преклонение перед капитализмом ученых журналистов — П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановского, Р. Э. Классо-

на. Возмущала самоуверенность, с которой они призывали «идти к нему на выучку». Особенно бесило Радченко их гробовое молчание о задаче российского рабочего класса стать могильщиком этого «прогрессивного» строя. Точно не знали они, что строй этот утверждает власть и богатство буржуазии! Точно их это не интересовало. Степан Иванович разделял отношение Владимира Ильича к «легальным марксистам» и сопутствовал ему при встречах и спорах с ними.

Он был «великим конспиратором». Никто не догадался бы, какую значительную роль играл он в их небольшом конспиративном кружке. Он был и организатором, и мастером восстановления утраченных связей, и «финансистом», и тонким дипломатом, когда надо было вступить в сношения с несоциал-демократическими группами. Именно он организовал печатание на гектографе первого выпуска «Друзей народа». Где, кто это делал, было известно только ему.

Его выдержка, спокойствие, осторожность особенно подчеркивались чувствительностью, горячностью Глеба Максимилиановича Кржижановского, в котором уживались трезвый инженер и вольнолюбивый поэт, умевший заглянуть в отдаленное будущее человечества; этот мечтатель с азартом разрушал старый мир, чтобы с еще большей страстью приняться за созидание нового. Кличка у него была смешная — «Суслик».

Кржижановский жил и дружил с Василием Васильевичем Старковым (товарищи звали его «Базиль»). Это был человек уравновешенный, чуждый сентиментальности, казавшийся замкнутым. Друзья как будто дополняли один другого. Старков также участвовал в схватках Владимира Ильича с «легальными марксистами», иной раз они вместе с увлечением строили планы будущей деятельности. Василий Васильевич был очень музыкален, отдыхая, не расставался с гитарой сладкогласной, любил, как и Владимир Ильич, хоровое пение, да конспирация мешала предаваться этому занятию часто. У них было общее с Кржижановским прозвище: «Суслики», или «Грызуны».

Очень слабый физически и очень стойкий характером был Анатолий Александрович Ванеев (Минин). Революционная страсть, принципиальность, непримиримость сочетались у него с постоянной иронией, даже сарказмом. Ценили и любили его друзья за безотказную го-

товность включиться в нужное дело, немедленно выполнить любое поручение.

Он проявлял чудеса аккуратности, когда надо было склеить конспиративную рукопись, превратить ее в невинный картон, с еще большими предосторожностями разобрать размокший переплет какого-нибудь альбома на листки, не повредив текста.

Вместе с Михаилом Александровичем Сильвиным весной 1894 года он собирал и брошюровал отгектографированные страницы «Друзей народа». Целыми часами посменно сидели они у окна, ожидая посланного Степаном Ивановичем Радченко молчаливого студента со свежими оттисками. Завидев его, поспешно, не дожидаясь звонка, открывали дверь и забирали секретную ношу. Кто был этот юноша, никто, кроме Радченко, не знал и никогда не узнал. А он тоже не знал, что его в этой квартире прозвали «доктор Караваев», дивились тому, что за все время сношений он не сказал ни слова. Михаил Александрович сказал как-то Ванееву: молчит, как утюг! В июне книжка вышла в свет, и «доктор Караваев» больше не появлялся.

Второе издание летом этого же года Анатолий Александрович организовал сам. Умело, конспиративно, так что даже Сильвин не знал, где оно печатается, хотя снова участвовал в сборке и брошюровке книжек.

Несколько замкнут, медлителен был Петр Кузьмич Запорожец — «Гуцул».

Это было шутливое прозвище, связанное с забавным эпизодом из его пропагандистской практики. В рабочем кружке он так увлекся изложением исторических событий, что добрался до происхождения славян и «их предков гуцулов» (сведения об этом он почерпнул из какой-то якобы «научной» книги). Друзья подняли его на смех, и с тех пор кличка «Гуцул» закрепилась за ним прочно.

Он был широкоплеч, кудряв, силен, и как-то не соответствовал его облику странно сосредоточенный взгляд. «В глазах его, — однажды сказал Владимиру Ильичу Сильвин, — светится вера подвижника». Петр Кузьмич с увлечением отдавался пропагандистской работе. В тюрьме его одолела глубокая душевная болезнь...

Изящный, молчаливый Александр Леонтьевич Малченко выделялся своим особенным вниманием к окружающим, деликатностью, простотой и ясностью в отноше-

ниях. Он очень любил непринужденное общение с людьми, был инициатором двух-трех поездок за город всей компанией, катанья на вейках, танцев. И странным казалось, что в политике он был дьявольски неуступчив, даже суров. Он был неизменным помощником Степана Ивановича в организационных делах.

О женщинах, участницах их кружка, Владимир Ильич думал с такой же теплотой, как об оставшихся в Москве сестрах. Они были как небо от земли далеки от тех «передовых» «эмансипэ» — нигилисток, привлекавших насмешливое внимание общества нарочитой развязностью манер, небрежностью в одежде, искусственностью шумной речи.

Почти все они преподавали в воскресных школах для рабочих и были буквально влюблены в свою работу.

Надежда Константиновна писала позже: «Я была в то время влюблена в школу, и меня можно было хлебом не кормить, лишь бы дать поговорить о школе, об учениках, о Семянниковском заводе, о Торнтоне, Максвеле и других фабриках и заводах Невского тракта».

Именно эту радость от общения с рабочими когда-то метко определил Энгельс как счастье соприкоснуться с «настоящими людьми» при попытке «стать человеком».

Вот такие талантливые, самоотверженные люди сплотились в России для революционной борьбы. Все они были очень молоды, все были «озарены ярким светом марксизма» — так позднее писал о них уже не Владимир Ильич Ульянов, а Н. Ленин. Это было новое поколение революционеров. Они ясно отдавали себе отчет в том, что связи с рабочими, пропагандистская работа — только первый шаг на долгом революционном пути. Придет время, и революционное настроение сменится революционным сознанием. В России появятся рабочие вожди, «собственные Бебели и Вейтлинги»! Так мечтал Владимир Ильич.

Путь предстоял неизведанный, нелегкий, но единственный, ведущий рабочий класс, народ, Россию к свободе.

6. В ДОРОГЕ

Владимир Ильич выехал из Петербурга 25 апреля (7 мая). Выехал легально, с заграничным паспортом, на летние месяцы 1895 года. Официальной целью поездки

было лечение после тяжелого воспаления легких. Но эта цель, хотя Владимир Ильич действительно нуждался в лечении, была сопутствующей другой, главной цели.

Поездка не была его личным делом. В феврале этого года состоялось совещание марксистов Петербурга, Москвы, Киева и Вильны, на котором было решено установить связь с основателями российской социал-демократии, жившими за границей.

Питерцы поручили Владимиру Ильичу, а москвичи Евгению Ивановичу Спонти познакомиться с членами марксистской группы «Освобождение труда» — Георгием Валентиновичем Плехановым в Женеве, Павлом Борисовичем Аксельродом в Цюрихе — и предложить им наладить совместное издание марксистской литературы для рабочих.

Настала пора приглядеться к рабочему движению на Западе. Владимир Ильич думал, что, может быть, удастся в «Vorwärts'е» * рассказать о деятельности марксистского подполья в России.

Кроме того, он должен был засесть в западноевропейских библиотеках за те труды Маркса и Энгельса, которых не было ни в русских библиотеках, ни у частных лиц. Очень хотелось ему прочитать издания вольной русской прессы, проникавшие в Россию с великими трудами и опасностями или не проникавшие вовсе.

Эта работа намечалась на последние недели пребывания за границей, и Владимир Ильич предвкушал наслаждение от работы «для себя» в библиотеках Франции и Германии.

Разумеется, надо было приехать в Швейцарию не с пустыми руками, показать, что удалось издать в России легально и нелегально. Впрочем, обе работы, предназначавшиеся для Плеханова и Аксельрода, оказались нелегальными. «Друзья народа» печатались в 1894 году в глубоком подполье, а сборник «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития» — совместное издание с «легальными марксистами» и группой «Освобождение труда» — еще не прошел цензуру. Теперь два экземпляра этой книги, предназначенные для заграницы, легко могли быть задержаны при таможенном досмотре.

Нечего было и думать провезти их при себе; пришлось Степану Ивановичу заблаговременно переправить их че-

* «Вперед» (нем.). — газета германских социал-демократов.

рез Вильну за границу, а Владимиру Ильичу по пути в Швейцарию заехать в Берлин, куда направлялся весь нелегальный транспорт. Владимир Ильич не очень огорчался вынужденным крюком. В Берлине он надеялся войти в курс заграничной обстановки, получить посланные из России книги; да и предварительная разведка в Берлинской библиотеке, где Владимир Ильич рассчитывал работать на обратном пути в Россию, тоже была очень желательна.

День отъезда из Питера был по-летнему теплым. После затянувшейся холодной весны вдруг установилась солнечная, жаркая погода. Заголубело апрельское небо, а с ним и Нева, Фонтанка, каналы. Оживились улицы, заблестели стекла в витринах Невского, и приподнятое настроение охватило весь город. Владимир Ильич был полон молодой энергии, оживлен, даже весел. Еще бы! Две недели назад ему исполнилось двадцать пять лет, и, хотя кличка «Старик» прочно пристала к нему, она мало соответствовала его возрасту и темпераменту. Она только подчеркивала своеобразие его личности, умудренность не по годам, уверенность в своих возможностях, но явно противоречила расцвету всех его физических и духовных сил.

Эту весну он воспринимал особенно остро. После нескольких недель, проведенных в постели, после опостылевшего режима, компрессов, лекарств встать на ноги, выйти на чистый весенний воздух, почувствовать себя здоровым, подвижным и ехать навстречу новым впечатлениям!

Очень хотелось Владимиру Ильичу своими глазами увидеть западноевропейских пролетариев — организованных, деловитых немцев, французских «блузников», хранивших традиции нескольких революций. В борьбе с капиталом они далеко обогнали не так давно вступивших на путь этой борьбы русских рабочих.

О впечатлениях от новой природы, о достопримечательностях западного мира он, казалось, не думал. Но уже в пути жадно схватывал глазами картины быта, вслушивался в чужую речь, вглядывался в лица спутников. Свежесть явлений другой, впервые наблюдаемой жизни бессознательно радовала и увлекала.

А впереди — центр российской политической эмиграции — Женева, где бьется передовая революционная мысль. Париж. Там не забыто еще первое в мире госу-

дарство рабочих — Коммуна. Берлин, где учился юноша Маркс и где недавно отменен «исключительный закон» против социалистов, отменен, потому что социалисты оказались сильнее этого закона. В Берлине, вероятно, удастся побывать на собраниях рабочих социал-демократов, познакомиться с разными формами рабочего движения, от профсоюзов до спортивных и культурных обществ. Там ежедневно можно будет читать рабочие газеты! А может быть, и примкнуть к какой-нибудь рабочей демонстрации...

В Берлине Владимир Ильич провел два-три дня. В целости и сохранности получил «подарки» для Плеханова и Аксельрода, разузнал кое-какие подробности об эмигрантском быте, сориентировался в обстановке.

В этот приезд он соблюдал все правила конспирации, писем из Берлина домой не писал.

Владимир Ильич был очень разочарован, побывав в берлинской Королевской библиотеке: книгу К. Маркса и Ф. Энгельса «Святое семейство» в читальный зал не выдавали как библиографическую редкость, и надежда прочитать ее могла не оправдаться. Возможно, ее выдавали по особым ходатайствам авторитетных деятелей германской социал-демократии, но с ними он знаком не был. Остальные интересующие его книги были доступны.

Первое письмо к матери Владимир Ильич написал из Зальцбурга, направляясь в Швейцарию, по-видимому, через Мюнхен.

«Salzburg, 14 (2). V. 95.

Пользуюсь остановкой на 2 часа в одном австрийском городке (недалеко уже * от места назначения), чтобы исполнить обещание написать с дороги.

По «загранице» путешествую уже вторые сутки и упражняюсь в языке: я оказался совсем швах, понимаю немцев с величайшим трудом, лучше сказать, *не понимаю вовсе* **. Пристаешь к кондуктору с каким-нибудь вопросом, — он отвечает; я не понимаю. Он повторяет громче. Я все-таки не понимаю, и тот сердится и уходит.

---

* сутки с небольшим. **(Примечание Ленина.)**

** Не понимаю даже самых простых слов, — до того необычно их произношение, и до того они быстро говорят. **(Примечание Ленина.)**

Несмотря на такое позорное фиаско, духом не падаю и довольно усердно коверкаю немецкий язык.

Поклон всем нашим.

Твой *В. Ульянов.*

Следующее письмо очень скоро не смогу, вероятно, написать».

Все в этом письме Владимира Ильича к матери дышало непринужденностью. Получив его, Мария Александровна, наверно, посмеялась и порадовалась за своего Володю: перемена обстановки — лучший отдых для его нервной системы. Тон письма — тон здорового, спокойного человека. Он отдыхает в дороге от обычных своих литературных занятий и от той нелегкой работы, о которой Мария Александровна только догадывалась.

Ее тревожило здоровье Володи — в Петербурге оно сильно расшаталось... Подлечится ли за границей, как обещал? Она еще раз перечитала письмо, любуясь изящным, легким почерком сына, и жалко ей стало, что из Женевы писать он не будет.

А он точно почувствовал ее огорчение и все-таки написал то ли из Женевы, то ли по пути в Цюрих. Это было письмо от 20 (8) мая. Он, видимо, весь отдался новым впечатлениям.

«Природа здесь роскошная, — писал он ей в этом письме. — Я любуюсь ею все время. Тотчас же за той немецкой станцией, с которой я писал тебе, начались Альпы, пошли озера, так что нельзя было оторваться от окна вагона... Видел крестницу и ее фамилию», — писал он также.

С семьей Шухт он беседовал, выполняя поручение родных: разузнавал об условиях жизни за границей.

Еще в вагоне, любуясь волшебными красками Альп, Владимир Ильич прикидывал, можно ли на летние месяцы всей семьей приехать в эти места на отдых.

«Если бы знать тамошние условия и цены (не может быть, чтобы в деревнях нельзя было устроиться недорого), то туда, вероятно, можно бы съездить на дачу. Проезд недорог, а природа роскошная».

Он особенно интересовался дачными делами, потому что Мария Ильинична как раз в это время кончала гимназию и отдых ей был особенно нужен.

7. «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО»

Лев Толстой в «Казаках» писал, что в первую половину дороги обычно думается о том, что оставлено, а во вторую, что ждет впереди.

Это наблюдение неоднократно проверено не одним человеком, и мысль Владимира Ильича обращалась к предстоящей ему встрече с Георгием Валентиновичем Плехановым. Он с волнением ждал личного знакомства.

Образ Плеханова сложился в его представлении давно, с тех пор как он впервые прочел «Наши разногласия». Не раз задумывался Владимир Ильич над его умными, талантливыми, смелыми книгами против народников. Много нашел в них созвучного своим мыслям. Его подкупал, кроме того, темперамент в полемике — плехановский задор, насмешка, уменье припереть противника к стенке. Владимиру Ильичу самому в высшей степени были свойственны эти приемы в спорах, особенно в юности, и он высоко ценил мастерство Плеханова-полемиста.

Но особенно поучительна была революционная честность Плеханова. Он открыто отказался от ошибочных народнических взглядов, показал пример бесстрашия при переоценке ценностей. Показал благородный пример самокритики...

Вот слово, которому суждено войти в словарь каждого революционера, а ведь никому еще не давался легко пересмотр идейных позиций. Нелегко было и Плеханову разорвать с оставшимися в прошлом соратниками, нелегки были их обвинения в отступничестве.

Плеханов принадлежал к тому поколению революционеров, которое начинало борьбу в рядах народников.

Не он один прошел через полосу разочарования в народнических теориях. Не у него одного народнические иллюзии рассеялись при соприкосновении с жизнью.

Но он не пошел с теми благонамеренными народолюбцами, которые занялись с позволения правительства «малыми делами»: помаленьку учили, помаленьку лечили, помаленьку заступались за «меньшого брата».

Не пошел он и к обеспеченной жизни буржуазного ученого, литератора, хотя был выдающимся ученым и журналистом.

Он отверг народнические теории, но не изменил заветной цели — борьбе за свободу. Он взялся за изучение

трудов Маркса и Энгельса, за историю европейских революций, знакомился с рабочим движением трех передовых наций человечества — Англии, Франции, Германии.

Оглядываясь на прошлое России, он вдумывался в события русской истории. Много было в ней своеобразного, но много и общего нашел он в первых шагах освободительного движения России и Западной Европы. Это знание прошлого своей родины, знание уродств и несправедливостей современной русской жизни придавало особую убедительность, пожалуй, даже неопровержимость работам Плеханова. Он первый призвал русских революционеров создать социалистическую рабочую партию. Он первый сказал, что только рабочему под силу свалить такое политическое чудовище, как русское самодержавие.

Пятнадцать лет прожил он вдали от России, работая для России. Когда двадцать пять лет спустя Ленин писал: «Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы», — он не мог не видеть перед собой образы революционных народников, Н. Г. Чернышевского, Г. В. Плеханова.

С именем Плеханова было связано не одно знаменательное событие российского рабочего движения.

Первая рабочая демонстрация 6 декабря 1876 года у Казанского собора в Петербурге, где он, тогда двадцатилетний студент Горного института, закончил революционную речь призывом к борьбе против самодержавия и развернул над толпой красное знамя.

В 1883 году была основана группа «Освобождение труда». Крохотная ячейка — пять революционеров — заявила, что только рабочий класс России может быть самостоятельным борцом за социализм, что целью его борьбы является коммунистическая революция!

Плеханов провозгласил освободительную миссию российского рабочего класса перед представителями международного пролетариата в 1889 году на конгрессе II Интернационала в Париже:

«Мнение о России, как стране отсталой, — сказал он, — ошибочно». Революционная интеллигенция должна

«усвоить взгляды современного научного социализма, распространить их в рабочей среде и с помощью рабочих приступом взять твердыню самодержавия. Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может!»

Его труды «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия» помогли преодолеть блуждания, шатания, ошибки, разочарования нескольким поколениям революционеров... Владимир Ильич с горечью думал о том, что не всем это удалось. Как знать, не примешивалось ли к мысли о переломе от народничества к марксизму чувство горечи, что старший брат, любимый Саша, искавший путь к уничтожению несправедливостей русской жизни, не был связан с Плехановым? Может быть, он тоже пошел бы другим путем? Ведь соратник Саши Орест Говорухин, которому Саша помог бежать за границу, примкнул там к плехановской группе...

Только через два десятилетия после Октябрьской революции узнали мы, с каким вниманием изучал Александр Ильич и первый и второй тома «Капитала», как близко было его мировоззрение к научному социализму.

* * *

Владимиру Ильичу было известно о мытарствах, которые выпали на долю Плеханова — бесправного политического изгнанника. В 1889 году он был выслан из Швейцарии как нежелательный эмигрант, якобы подстрекавший к борьбе местных рабочих. Он поселился в пограничной французской деревушке Морне, связанной с Женевой конкой, чтобы быть поближе к семье, но влиятельная буржуазная пресса во главе с «Le Temps» * потребовала его высылки из Франции за оскорбление национального самолюбия французов. Еще бы! На том же конгрессе II Интернационала он осмелился сказать, что правительство Франции изменило заветам Великой революции 1789 года и униженно заискивает перед российским деспотом **. Травля усилилась при вмешательстве русской полиции. Пришлось с чужим паспортом выехать в Лондон, где и была написана книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

* «Время» (франц.).

** Г. В. Плеханов выразился резче: «Правительство Франции ползает на брюхе перед российским деспотом!»

Конечно, Владимир Ильич не мог знать всех подробностей эмигрантского быта, но знал, как мучительна была оторванность от родины, от рабочих, от революционной среды. Нужда, во все времена душившая политических эмигрантов, угнетала Плеханова особенно потому, что он, не участвуя в практической борьбе российских революционеров, не мог помогать им даже литературным трудом.

Литературу для российского подполья надо было издавать нелегально, нелегально пересылать через границу. А средств на это не было. Их собирали среди необеспеченной эмигрантской публики. Кое-что перепадало от «сочувствующих» зажиточных интеллигентов, кое-что давали редкие культурные мероприятия — лекции, вечера, устраиваемые за границей. Это была капля в море.

Настоящим торжеством для Плеханова и его товарищей была поддержка русских рабочих. Первый взнос — двадцать рублей — был получен в 1887 году от одесских рабочих. «Мы были глубочайшим образом тронуты этим взносом», — писал Плеханов.

В 1895 году в Петербурге вышла его книга против народников — «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», та самая, которую в тюрьме получил Лалаянц. Дела Плехановых несколько поправились. Но как трудно досталась автору эта книга! Можно только удивляться тому, как мужественно переносил Плеханов материальные лишения и невзгоды эмигрантской жизни. Он черпал силы в сознании, что «страдаем мы не напрасно», что труд революционеров всегда продолжают следующие поколения борцов. Годы эмиграции были подвигом ученого и революционера...

Момент встречи с ним приближался, и Владимир Ильич ждал эту встречу с радостным волнением...

8. У ВЛАСТИТЕЛЯ ДУМ

Георгий Валентинович проснулся в начале девятого часа. Ночь прошла без бессонницы, и он с удовольствием подумал о том, что нынче будет легко работаться. В доме стояла тишина. Девочки были в гимназии. Розалия Марковна, наверно, на визитации.

Он прошел в столовую. На столе под грелкой отстаивался кофе. Лежали газеты, книга, два-три письма. Одно

из писем — от Павла Борисовича Аксельрода, из Цюриха — он вскрыл. Остальные повременят. Из конверта выскользнула газетная вырезка. Павел еще в марте писал о рецензии на Бельтова в реакционной газете «Новое время», теперь раздобыл ее и прислал. Георгий Валентинович равнодушно пробежал вырезку глазами и сунул обратно в конверт. Какую рецензию на марксистскую книгу могла дать монархическая газета, заслужившая презрительное прозвище «Чего изволите?»?

Бережно развернул книгу. Вчера принес ее молодой марксист, приехавший из России с рекомендациями от петербургских издателей «Монистического взгляда». Георгий Валентинович побеседовать с ним не мог. Назначил ему встречу сегодня около десяти часов утра. Надо поторопиться с завтраком.

Сборник, который он пролистывал, добираясь до недочитанной статьи Тулина, его и радовал и огорчал. Это была не первая ласточка. Он получил уже свою книгу, легально вышедшую в Петербурге. Ни в России, ни здесь никто не знал, кто скрывается за псевдонимом «Бельтов». Даже Павел в письмах из Цюриха не оговорился ни разу о том, что радующие его отклики печати на Бельтова относятся к нему, Георгию Валентиновичу Плеханову, для друзей — Жоржу. Раскрыть псевдоним — значило подвести издателей и потерять возможность легально печататься в дальнейшем.

Теперь привезен сборник с двумя его статьями. Под новыми псевдонимами. Это серьезное достижение россиян, и будет особенно жалко, если сборник задержит цензура. Статьи в нем интересные по темам, отлично написанные, хоть и резкие, как статья какого-то Тулина (тоже, поди, псевдоним?). Плеханов дочитывал тулинскую статью, когда раздался звонок в передней. Быстро, как был в домашней, мягкой куртке, прошел он к парадной двери и столкнулся с Розалией Марковной.

Оказывается, она была дома, вышла на звонок с журналом в руке и опередила его, открыв дверь.

Георгий Валентинович радушно представил гостя жене:

— Владимир Ильич Ульянов. Тебе эта фамилия знакома? Брат Александра Ульянова. Мы знали вашего брата по рассказам Ореста Говорухина. Он здесь, в Женеве, сошелся с нами довольно близко. Розалия Марковна была к нему особенно внимательна.

— Говорухин очень страдал, узнав о гибели друзей,

очень мучился тем, что ушел с поля боя... Я врач и знаю, чем чреваты нравственные мучения. Такой опыт бесследно для психики не проходит.

Георгий Валентинович заметил тень, пробежавшую по лицу гостя при упоминании имени брата, почувствовал, что беседовать об Александре Ильиче тот не будет, не может, и не поддержал этой темы.

— Время, время — лучший целитель наших страданий, Роза, — сказал он и обратился к гостю: — Если не завтракали, предложу вам кофе.

Владимир Ильич поблагодарил, отказался.

— Ну, тогда пойдем ко мне, потолкуем!

Но разговору помешал еще один звонок. Георгий Валентинович развел руками.

— Придется вам пройти к Розалии Марковне. Неизвестно, кого ко мне бог принес. Шпиков тут — видимо-невидимо: и консьержки, и почтальоны, и комиссионеры — все используются для наблюдения за нашим братом. Впрочем, и не шпикам, а просто посторонним не след видеть вас у меня.

Розалия Марковна обрадовалась собеседнику. Она была явно возбуждена. И в голосе, и в манере говорить, и в тоне, и в том, как в беседе она, что называется, взяла быка за рога, чувствовались сознание своих сил, энергия и деловитость.

— Не удивляетесь, что Георгий Валентинович вас ко мне переправил? Вам надо соблюдать осторожность, появляясь у нас... Политические эмигранты — народ очень сомнительный и не очень желанный. Жоржа ведь отсюда на пять лет высылали, а потом и из Франции выслали. Он в декабре только к нам вернулся. Здешние социалисты добились, чтобы отменили указ о высылке. Два года добивались... Теперь он оживает: и книга его вышла, и сборник вы привезли. Жорж так ждал его! Вчера вечером впился в статью против Струве. Я было поинтересовалась: что за новые противники у марксистов? В чем дело? Куда! Нахмурился и проворчал:

— Старый «друг народа» в вечность отошел.
И ему на смену Пе фон Струве шел!..

Владимир Ильич усмехнулся:

— Справимся и с ним!

— Жорж надеется, что Струве разовьется в марксиста, перестанет быть «струвистом». Конечно, его писания

революционера удовлетворить не могут. Зато, говорят, теперь «Критические заметки» — настольная книга у царских министров. В их кабинетах только и разговору, что о новом апостоле капитализма из социал-демократического стана!

— Не удивляюсь, — отозвался Владимир Ильич. — Струве обосновал «разумную политику» преобразования России в капиталистическую страну. Думаю, что Витте (и иже с ним) это пришлось по вкусу... Нечего сказать, нашел себе Петр Бернгардович единомышленников! Аттестовать себя марксистом и молчать о могильщике капиталистического строя! Найти сочувствие в министерских передних и отвернуться от рабочих, которым предстоит разрушить и царскую и капиталистическую Россию!

Розалия Марковна и слушала и глядела на собеседника с нескрываемым интересом. Владимир Ильич отвечал ей на вопрос о Струве, заданный вчера мужу. Не усмешка, а возмущение звучало в его голосе.

— Помилуйте, какой же это марксист? В лучшем случае марксистообразный! Его хватило на красное словцо: идем на выучку к капитализму! Да наша ли это забота?! Будто буржуазия сама не догадается! А спрашивается, кто будет организовывать массовое рабочее движение? Вот вы прочитаете наш сборник, сами увидите, из-за чего мы схватились...

— Прочту, разумеется, как только Жорж выпустит книжку из рук. А пока довольствуюсь «Русским богатством». Вы не читали?

Владимир Ильич отрицательно покачал головой.

— Некий господин Кудрин резвится по поводу книги Жоржа: книга-де бойко написана, Бельтов-де человек, наверно, молодой, имя его встречается впервые... Упрекает автора за самоуверенность, за личный тон полемики, за мнимую (скажите пожалуйста!) научность...

— Да он просто боится, — сказал Владимир Ильич, — боится, что книга найдет своего читателя, что ей поверят, ее полюбят.

— Вот, вот! Он откровенно заявляет, что предостерегает молодых, увлекающихся читателей, на которых могут подействовать самоуверенность, задор автора, щеголяние цитатами, — она расхохоталась. — Вы правы, боится «Русское богатство» марксистов. Жорж будет в восторге! Если бы вы видели, как счастлив он был,

получив авторский экземпляр своей книги! А теперь — рецензия за рецензией, от «Нового времени» до «Вестника Европы». Я их все собираю, пусть останутся в семейном архиве!

— Почему же не в архиве русской революции, Розалия Марковна? — негромко сказал собеседник. — Будет же и такой архив, и, я думаю, это время не за горами.

— Вы в одно слово с Генералом! Вы понимаете, о ком идет речь? О друге Маркса... В феврале он писал Жоржу: «Уж если дьявол революции схватил кого-либо за шиворот, так это Николая II!» Каково?

Из соседней комнаты раздался голос Плеханова. Он звал Владимира Ильича.

— Один момент, Жорж, — откликнулась Розалия Марковна. — Я задержу Владимира Ильича только на один момент. Я хочу вам прочитать, как встретили книгу Жоржа в Лондоне. Вера Ивановна * сообщила нам, что Генерал написал ей: «Книга Георгия появилась очень кстати; сегодня газеты сообщают, что Николай только что заявил... что будет стоять за самодержавие так же крепко, как и его отец. Нет лекарств против глупости государей. Тем лучше, если Георгий произвел фурор».

Георгий Валентинович заглянул в комнату.

— Отпусти ко мне Владимира Ильича, Роза!

— Мы кончили, кончили, Жорж, не хмурься! — Она тряхнула маленькой крепкой ручкой руку Владимира Ильича. — До свиданья.

В кабинете оказалось, что посетители, которых Плеханов хотел представить друг другу, знакомы. Евгений Иванович Спонти — москвич, приехал в Женеву с той же целью, что и Владимир Ильич, — установить связь с группой «Освобождение труда», наладить совместное издание литературы для рабочих. Привез на это предприятие деньжонок.

Спонти сразу же заговорил о настоятельной необходимости получить на первый случай от Георгия Валентиновича и Павла Борисовича хоть по одной книжечке, написанной для рабочих. Кому же и писать, как не им? Работы Георгия Валентиновича сами за себя говорят.

Он с надеждой смотрел на Плеханова, ожидая теперь же согласия. А тот внимательно перелистывал гектографированную тетрадку, переданную ему только что Вла-

* Вера Ивановна Засулич.

димиром Ильичем, пробегая глазами из-под нависших бровей страницу за страницей, и слушал, слушал горячую речь молодого революционера.

— Долг каждого марксиста открывать рабочим глаза на задачи рабочего класса в целом! Каждый марксист должен быть учителем жизни, — толковал Спонти с самозабвением. — И вы, Георгий Валентинович, должны быть агитатором, должны быть учителем жизни!..

Плеханов долистал тетрадь до конца, задержался на последней странице и вдруг, поднимая изредка свои прекрасные, с холодным блеском глаза на собеседников, медленно, вдумываясь в каждое слово, прочитал:

— «На класс рабочих и обращают социал-демократы все свое внимание и всю свою деятельность. Когда передовые представители его усвоят идеи научного социализма, идею об исторической роли русского рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение и среди рабочих создадутся прочные организации, преобразующие теперешнюю разрозненную экономическую войну рабочих в сознательную классовую борьбу, — тогда русский РАБОЧИЙ, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) *прямой дорогой открытой политической борьбы к* ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

— Хорошо! Тетрадка датирована 1894 годом? Выходит, что Михайловского и компанию у вас еще до меня разобрали по косточкам?

— «Друзей народа» мы отгектографировали раньше вашей книги, а писались они одновременно...

— Да! Нелегко приходится Николаю Константиновичу *. Если хватит ума, замолкнет бедняга после таких ударов, не отважится больше толковать о Гегеле, не понимая Гегеля, толковать о Марксе, не понимая Маркса! Тетрадка эта, кажется мне, очень серьезная работа!

Владимир Ильич говорил мало, ограничился несколькими репликами, необходимыми в общем разговоре.

— Кстати. Чья это статья в нашем сборнике подписана «Тулин»?

— Это мой псевдоним, Георгий Валентинович, — ответил Владимир Ильич.

— Все хорошо, все убедительно, все темпераментно.

---

* Н. К. Михайловскому.

Но... взгляд ваш на предмет мне удивителен. Вот здесь,— он постучал карандашиком по последней, только что процитированной им страничке тетради, — ведь это вы писали? Не отпирайтесь, я прочел...

Владимир Ильич улыбнулся и ждал, что будет дальше.

— Вы писали, что русский рабочий свалит абсолютизм, идя во главе «всех демократических элементов». И верно, интересы рабочих сейчас совпадают с интересами всех прогрессивных сил общества. А в статье вы поворачиваетесь к либералам спиной. Вам это не кажется противоречием? А мы — лицом, лицом пока что к либералам...

Владимир Ильич отрицательно покачал головой.

— Какое же противоречие, Георгий Валентинович? Эта статья — я говорю о своей статье «Отражение марксизма в буржуазной литературе» — не первая моя схватка со Струве. При каждой встрече у нас баталия. И прямее и резче, чем в сборнике. Что делать?

Георгий Валентинович помедлил. Не часто возражали ему единомышленники. А Владимир Ильич так свободно не согласился с ним, с такой спокойной уверенностью был готов обосновать свою позицию! Плеханова несколько смутило, что он сразу не дал понять гостям, какая дистанция отделяет его, маститого марксиста, от представителей молодого поколения, не сразу нашелся, встретив возражения. И теперь неловко ему почему-то покровительственно похлопать своего собеседника по плечу. После небольшой паузы он переспросил:

— Что делать? — И повторил еще раз: — Что делать? Я всегда на этот вопрос отвечал так: Платон — друг, а истина — друг бóльший! Но продолжайте о спорах со Струве. Я должен быть в курсе.

— На одной сходке-вечеринке в Лесном мне пришлось сразиться с ним публично. Что ж, каждый из нас отстаивал свое... Но Струве в тот раз разошелся: договорил до конца то, что в писаниях своих оставляет, я бы сказал, в некоторой недоговоренности.

— Стало быть, в статье вы отвечали именно на это его выступление?

— Ну и в статье, разумеется. Да и тогда, на вечеринке, я прямо сказал: «Если ваша мысль, Петр Бернгардович, будет и дальше идти в этом же направлении, то меня нисколько не удивит встреча с вами когда-нибудь

по разные стороны баррикад». Я тогда предложил дискуссию в печати. Он вызов принял. Появились «Критические заметки», а затем мой реферат, а затем и наш общий сборник.

— Вот видите! — воскликнул Плеханов. — Струве уже в нашем сборнике попятился назад. Говорит, что призвал идти на выучку к капитализму, но не призывал служить буржуазии. Ну, увлекся человек... Ну, сгоряча неосторожно, неловко выразился... Не всякое лыко в строку пишется. Вперед ему наука. Да и не о том речь... Впрочем, мы еще успеем поговорить об этом. — Он встал. — Скоро двенадцать. Здесь обедают рано. Если зайдете в соседнее кафе «Ландольт», пообедаете сытно и недорого. Только не забудьте о шпиках, поосторожнее будьте в разговорах. Здесь сыск работает вовсю, и глупо попасть под наблюдение. Вы едва избавились от российской охранки. Если будет нужно снестись с Россией, пользуйтесь адресом Саула Гринфеста: Zürich, Parterre, Seilergraben, 37. Он основной помощник в нашей работе. Своего адреса и имени ни в коем случае не указывайте.

Гости откланялись.

Георгий Валентинович проводил их до двери и прошел к жене.

— Вот сразу два посланца из России! И с ними чистый воздух российского подполья... В талантливости первого сомнений быть не может. И в обширности знаний. И в убежденности. И в политическом темпераменте. Серьезен. Деловит. Скромен. Сила чувствуется. Давно я не встречался с подобными ему людьми.

Он прошелся раза два по комнате и остановился против Розалии Марковны.

— Насчет либералов он не прав. Тут, пожалуй, не без вины самого Струве. Вере Ивановне кто-то из его приятелей писал, что шельма Струве «пересобачил» с восхвалением капитализма... Думаю, что это может быть только полемическое увлечение.

— А что представляет из себя второй? Ты меня с ним не познакомил.

— Спонти? Он предан делу фанатически, искренен и... наивен, как ребенок. И подкупил меня этим совершенно. Но знаешь, когда он агитировал меня — меня! — Георгий Валентинович пожал плечами, — мне хотелось улыбаться. Он требует, чтобы каждый марксист стал учителем жизни для рабочего. Ему так по душе пришелся



этот образ, что он повторил несколько раз: «Георгий Валентинович, вы должны писать для рабочих, должны быть учителем жизни...» Мне страшно хотелось, прощаясь, назвать его так, да не решился... Как бы не обиделся...

Розалия Марковна откликнулась только одной фразой.

— Но ведь это была бы только шутка. И ласковая шутка, Жорж. — И подумала: «Вот чего ему не хватает... Вот что нужно, чтобы он был оживлен, радостен, праздничен... Немного: чистой атмосферы российского подполья!»

* * *

В следующий раз Плеханов встретил Владимира Ильича дружески-ласково и сразу заговорил о сборнике.

— Теперь я прочитал сборник насквозь. Обидно будет, если зарежет его цензура. Боюсь, как бы не полу-

чилось по поговорке: первый блин комом. Впрочем, отнесемся тогда к этому как к зондажу. Со вторым будем осторожнее. Материалы для него поступают. Статью от Лафарга я получил месяц назад. Он дал обзор французской политики от Парижской коммуны до наших дней. Тут есть небольшая просьба, которая, собственно, относится к вам, то есть к питерским издателям. — Он вынул из стола письмо Лафарга и протянул его Владимиру Ильичу. — Он советует не выставлять его имени. Просит только сообщить псевдоним, каким мы статью подпишем.

Владимир Ильич возвратил письмо Плеханову.

— Увы, мы сделали бы это и без его просьбы. Не станем же мы дразнить цензуру именем Лафарга! Нам надо обмануть, перехитрить ее...

— Это само собой разумеется. Но, думаю, вам следовало бы зайти к нему в Париже. Он так горячо интересуется русским движением, так охотно откликается на все наши просьбы...

Владимир Ильич просиял.

— Я очень хотел и сам, Георгий Валентинович, да колебался... Если говорить откровенно, мечтал я и о Лондоне... Хотел спросить у автора * разрешения перевести на русский «Положение рабочего класса в Англии» и «Анти-Дюринга»... Да не знаю, как там? Возможно ли в настоящий момент увидеться?

— Мои сведения устарели. Последние письма я получил в феврале. Генерал доволен, что мою книгу удалось издать в России. Забавно писал о Николаше, что последняя его речь о «бессмысленных мечтаниях» в ответ на просьбу земцев прислушаться к голосу общества — видоизмененная формула: «после нас хоть потоп»... Со здоровьем у него было недурно: спал по семь часов, работал «с удовольствием», но это было в феврале, а сейчас май... Лафарги, конечно, в курсе, с ними и посоветуйтесь, можно ли вам в Лондоне «явиться по начальству»... Но он, может быть, опять уедет в свой любимый Истборн. Впрочем, это в двух шагах от Лондона, можно сказать, в пригороде...

— «Положение английского рабочего класса...» в рабочих кружках нужно до зарезу. А наша публика не вся знает по-немецки, — сказал Владимир Ильич.

* У Фридриха Энгельса.

— Думаю, что возражать Фридрих Карлович не будет. Вы знаете, конечно, как Маркс и он радовались переводу на русский «Капитала». Но, разумеется, надо спроситься... Особенно потому... — Плеханов вдруг остановился, будто заколебался, посвящать ли собеседника в эмигрантские неприятности. Но все-таки договорил:

— ...Особенно потому, что Генерал был возмущен бесцеремонностью нашего Кричевского: тот без спросу издал здесь по-русски «Наемный труд и капитал». Неприятная история... Тень падает на всех нас. Фридрих Карлович не знает, что Кричевский марксист сомнительный, а человек беспринципный. Карьерист от революции, таких тут предостаточно, — в голосе Плеханова послышалось раздражение. — До меня дошло, что после случая с Кричевским Энгельс сказал, будто у русских укоренилась привычка не спрашивать разрешения и нарушать авторское право «в интересах пропаганды» и ничуть не меньше в интересах собственного издательства. Но дело-то Кричевский уже обделал!

Владимир Ильич сбоку взглянул на помрачневшее лицо Плеханова. Но тот подавил злое чувство и кончил довольно добродушно:

— А по мне, за такие подвиги сечь надо публично!

Владимир Ильич по себе знал, как приятно справиться с раздражением, и охотно ответил в том же тоне:

— Что же? Я тоже не прочь. «Но не тем сечением обычным, как секут повсюду дураков, а таким, какое счел приличным Николай Иваныч Пирогов»!

Плеханов только рукой махнул. Впрочем, улыбнулся, услышав добролюбовскую шутку.

9. *И ЗДЕСЬ КОНСПИРАЦИЯ!*

Досадно было Владимиру Ильичу и здесь, вдали от недреманного ока охранного отделения, упражняться в конспирации, да сам он в первые дни пребывания в Женеве убедился, что Плеханов прав сугубо. Наведываться на Рю Кандоль, 6 надо было с оглядкой. Летом, когда Швейцария наводнялась туристами из России, за квартирой Плеханова, за его посетителями, за его пе-

репиской наблюдение заграничной охранки * становилось особенно бдительным. Показываться часто в людных местах тоже было бы по меньшей мере легкомысленно. Это он на себе проверил в день встречи со Спонти.

За обедом в рекомендованном Георгием Валентиновичем кафе «Ландольт» Владимир Ильич был молчалив и сосредоточен. Чувствовалось, что он погружен в нелегкую работу мысли.

Спонти, который сидел тут же, рядом, так и подмывало спросить, о чем, о каком противоречии заговорил Плеханов, да стеснялся он задать Владимиру Ильичу этот вопрос, помешать решению какой-то важной задачи. Но все-таки он не выдержал.

— Не хотелось бы быть нескромным... но, может, насчет либералов вы мне растолкуете? — спросил он нерешительно.

— Как раз я сам об этом думаю... Вы слышали, что он прочитал из тетрадки о роли русского рабочего? Это он меня похвалил, да так ли понял? А я в толк не возьму, как лицом к либералам повернуться, а городскую демократию и крестьянство на революцию вести? Либералы ведь на сделку тащить будут.

— И тащили уже в 1861 году, — откликнулся Спонти.

— Вот то-то и дело! — Владимир Ильич нахмурился. — Не чаял я в этом пункте с ним разойтись. Может, не видно ему отсюда, кто за Струве стоит? Может, не видно, к кому Струве тяготеет? Вот и надеется, что тот к марксизму повернет.

— А вы думаете, что это совсем исключено? — спросил Спонти.

— Мало надежды, но qui vivra, verra **. Да если и так? Остальная-то либеральная публика, во всяком случае, тогда за ним не последует... — Владимир Ильич помолчал и вдруг точно тяжесть какую с плеч свалил. — Ну нет! Мы лицом к либералам не повернемся! Традиция у нас не та... В компании с любителями действовать «применительно к подлости» российские марксисты не окажутся!

В это время подали кофе, и Владимир Ильич вдруг оглянулся, как бывает, когда почувствуешь на себе чей-то пристальный взгляд. За соседним столиком, углубив-

* Заграничная агентура российского департамента полиции.
** Поживем — увидим (латин.).

шись в бульварную газетку «Petit parisien» *, сидел некто в заломленном на затылок канотье, с галстуком-бабочкой. В его мутно-голубых глазах Владимир Ильич уловил не только глупость. Смесь наглости и трусости, знакомая по встречам с российскими шпиками, не оставляла сомнений в его профессии.

— This man is suspicious **, — сказал Владимир Ильич тихо Спонти, сделав незаметный жест в сторону внимательного к ним субъекта.

Выйдя из кафе, они разошлись в разные стороны.

С этого момента Владимир Ильич был начеку все время. Даже навещая свою крестницу, двухлетнюю Асю, в семье самарских друзей Шухт, он предупредил их, чтобы в письмах к Марии Александровне они, упоминая о нем, не называли его по имени. Их в письмах к матери он тоже не называл.

Положение осложнилось, когда в один из визитов к Георгию Валентиновичу у подъезда Владимир Ильич столкнулся с издателем плехановской книги о монистическом взгляде — Александром Николаевичем Потресовым. Потресов только что приехал в Женеву.

Открыв дверь, Плеханов озабоченно покачал головой:

— Проходите побыстрее...

В кабинете он усмехнулся:

— «Не стая воронов слеталась на груды тлеющих костей, удалых шайка собиралась...» Вот что, господа, больше вы ко мне ни ногой. В конце концов, мне лучше, чем вам, известны здешние обстоятельства, и я больше, чем вы, несу ответственность за последствия наших свиданий... для вас, разумеется, в первую очередь. Условимся: в двух шагах от меня Алексей Воден. Вы его знаете по Питеру?

Потресов утвердительно кивнул головой.

— Еще бы! Характеристику получил из первых рук, от Петра Бернгардовича. Он снабжал Водена нашей литературой. Знаю, что полиглот, перевел биографию Лассаля... Малый, как видно, серьезный.

— Вот-вот. Серьезный и знающий. Не политик, не то, что немцы называют ein Mann der That ***. Увлечен фи-

---

* «Маленький парижанин» (франц.).
** Этот человек подозрителен (англ.).
*** Человек дела (нем.).

лософией и очень способен к теоретическому труду, а люди такого закала часто полезны для движения. Да дело не в том. Теперь прошу вас справиться у него о дальнейших наших встречах. А я пока подумаю, где и когда это удобнее всего... Береженого бог бережет...

После этого вечера на квартиру Плеханова Владимир Ильич не заходил ни разу.

Воден оказался симпатичнейшим юношей. Он был не политик, он был классический «книжник». Запоем читал марксистскую литературу. В Питере поступил было на естественный факультет и тут сблизился со Струве (тот тогда тоже был естественником). Вышло как-то само собою, что Струве взял шефство над ним: книги марксистские из личной библиотеки давал, на рефераты свои водил, впечатлениями о германской социал-демократии делился, с Классоном познакомил. В те времена и Струве, и инженер Классон ходили в марксистах и эпитет «легальные» еще не употреблялся.

Воден переводил для пропагандистов немецкую социал-демократическую литературу, а в своих занятиях философией был буквально одержимым и доработался до душевного заболевания. Только в Женеве, попав в заботливые руки Розалии Марковны, постепенно пришел в норму. Плеханова он заинтересовал не случайно. Георгий Валентинович в это время сам углубился в изучение философских взглядов Маркса и Энгельса. На этой почве и сблизились зрелый ученый-революционер и книжный юноша.

Летом 1893 года Воден ездил в Лондон, в Британский музей и к Энгельсу — получить марксистскую философию из «первых рук».

— Да как же вы познакомились с ним? — воскликнул Владимир Ильич. — Неужели это так просто?!

— Нет, что вы! Мне бы к Фридриху Карловичу не попасть вовеки, если бы не рекомендательное письмо Георгия Валентиновича. Меня, знаете ли, тянуло к нему, да и библиотека у него — роскошь! Он мне на дом и журналы и книги давал... Чего я там за три месяца не начитался, чего не наслушался! По воскресеньям у него чисто вавилонское столпотворение: и лондонцы, и эмигранты всех стран — вот уж поистине российское гостеприимство...

Владимир Ильич так и впился в него глазами; казалось, без слов торопил его: да говорите же, говорите...

вам выпала такая удача — видеть, слышать Энгельса... рассказывайте, что он говорил о России, о Марксе, как он судит о нас...

— Георгий Валентинович открыл мне дверь в его дом и к его сердцу... Энгельс вообще очень радушен и добр, но тут дело особое. По-видимому, очень уж был он доволен речью Плеханова на Парижском конгрессе Интернационала. При первом моем визите спрашивает: вы так же, как Георгий, уверены, что революционное движение в России восторжествует как движение рабочее? Да и сам Георгий Валентинович очень ему понравился. Они с Аксельродом ездили в Лондон после конгресса. Георгия, это не я его так зову, это Энгельс зовет его так за глаза, он ставит не ниже Лафарга, Лассаля... Только видно, что Лассаля он не любит, даже подсмеивается, рассказывая о нем. Говорит, что Маркс тоже его не любил...

Когда Энгельс узнал, что я должен сделать для Георгия Валентиновича выписки из «Святого семейства» в Британском музее, он усадил меня рядом со своим кабинетом, вооружил лупой и дал мне рукописный экземпляр книги: «Накажу вас скукой! Если не заснете над манускриптом, так сбежите наверняка...» Подумайте только, я держал их рукопись в этих руках... — Воден приподнял над столом свои ладони и с удивлением посмотрел на них и на Владимира Ильича.

— Я не сбежал, не заснул, — продолжал он, — но справляться с неразборчивым почерком Маркса действительно трудновато... Правда, Фридрих Карлович заглядывал ко мне изредка, помогал, когда я увязал... Подтянет стул ко мне поближе, подсядет и увлечется. «Дело, — говорит, — для меня привычное, я и Мавру * помогал: он плохо разбирал свои каракули...»

Рассказывал и о том, как писалась эта книга, и о личных отношениях с братьями Бауэрами, и об их «Литературной газете». Как издевался Маркс над их самодовольной ограниченностью... Острил, что они учредили общество взаимного восхищения...

Эти недели в Лондоне — счастливый фант, вытянутый мной у жизни... Вы знаете, когда я пришел к нему в первый раз, он начал с того, что познакомил меня со своим котом... Заметил сразу, что я застенчив до дико-

---

* Студенческое и домашнее прозвище К. Маркса.

сти. Ну а после того, как он отрекомендовал меня и я пожал черную лапу, от моей застенчивости и следа не осталось...

— А о России что он говорил?

— Интересовался, какие произведения Маркса у нас читают, подготовлены ли к чтению «Капитала». Толстовством интересовался, не проповедью, а практикой толстовства. Литературой народнической, да и классической. Он считает, что наши марксисты должны заняться аграрным вопросом в России... в первую очередь...

— Он так прямо и сказал вам насчет аграрного вопроса?

— Не мне, я ведь философией занят. Он о русских марксистах вообще говорил. Об их очередных задачах. Вот, коли вы, например, этим интересуетесь, поезжайте к нему, право. Такого человека вы никогда и нигде в своей жизни не встретите... Нет такого другого...

— Хорошо бы закатиться в Лондон, да своевременно ли?.. Разведать надо раньше поосновательнее... Георгий Валентинович говорит, что решать этот вопрос до встречи с Лафаргом не стоит...

Владимир Ильич приуныл. Неопределенность для него была всегда самым мучительным состоянием. Теперь же, когда он узнал, что Энгельс считает очередной задачей русских марксистов изучение аграрного вопроса, а он сам сделал первые шаги в этом направлении, самое бы время побеседовать с Энгельсом, проверить себя, поделиться своими раздумьями, получить совет... Удастся ли?

А Воден рассказывал, смеясь, как экзаменовал его Плеханов, отпуская в Лондон.

— Поглядели бы вы, как гонял он меня по второму тому «Капитала»! А по философии — от Гегеля до наших народников. Ни Прудона, ни Фейербаха не пропустил. Хотел, чтобы русский марксист лицом в грязь не ударил и его рекомендацию оправдал. «Ну что ж, — сказал на прощанье, — считайте, что вы справились с программой-минимум марксистов».

Вопрос о дальнейших сношениях с Плехановым Воден взялся выяснить немедленно. На другой день все разрешилось как нельзя лучше. План был удобен для всех. Георгий Валентинович назначил встречу в горной деревушке Дьяблере, в районе Ормони, и приехал туда из Женевы, а Владимира Ильича и Потресова Воден провел горными тропами, «подальше от людских глаз».

Дорога оказалась нелегкой, но пешие прогулки всегда радовали Владимира Ильича, а в этот первый горный переход он, казалось, упивался игрой света и тени, причудливыми очертаниями вершин, беспрестанно менявших окраску. Воден шел впереди, не прислушиваясь к беседе своих спутников, но, когда они замолкали, он схватывал какую-то мелодию, которую чуть слышно, сквозь стиснутые зубы, насвистывал Владимир Ильич, как свистят обычно мальчишки. На одном из поворотов они оказались в нескольких шагах друг от друга, и Воден узнал Шуберта:

Горный поток,
Чаща лесов,
Голые скалы —
Мой приют...

И сам замурлыкал тихонько.

— Ну, наконец-то! — воскликнул Владимир Ильич. — Утром еще привязался ко мне этот «приют». Думал, до ночи не отделаюсь... Теперь — чур меня, он за вами до конца дороги!

Добравшись до места, поселились в том же пансионе, где остановился Георгий Валентинович, и прожили вместе несколько дней.

Практические дела: об издании в Швейцарии сборников для русских рабочих, о сборе материалов для них в России, о доставке их за границу, а книг, изданных здесь, — в рабочие центры, — обсудили, не тратя лишних слов, по-деловому.

Издание второго легального сборника в Петербурге, о котором говорил при первой встрече Плеханов, порой казалось ему сомнительным. Георгий Валентинович с воодушевлением придумывал, как провести цензуру, чтобы выпустить его в свет.

— Выпустим его, — говорил Плеханов, — не альманахом, а как статьи, якобы написанные одним автором. Пусть поломают голову, кто он. Псевдоним придумаем позабористей. Скажем, Язвилло. Уж если Бельтова не могут разгадать, то с Язвиллой, наверно, сядут в лужу. Предисловие дадим полуюмористическое. Вдумчивый читатель поймет, откуда ветер дует... Как вы, Владимир Ильич, на это смотрите?

Воден не в первый раз заметил, что Плеханов всего

больше мнением Владимира Ильича интересуется, все на него поглядывает, у него ищет поддержки...

А через день-другой он мрачнел и раздраженно отмахивался от разговора о втором сборнике:

— Ничего из этого дела не выйдет... Пустая затея... Невозможно высказать в России легально, по существу, нелегальные мысли... Издавать надо здесь, здесь сосредоточить силы и средства. Наладить пересылку в Россию нелегальным путем. Организовали же немцы «красную почту» из Швейцарии в годы «исключительного закона», когда не могли издавать революционную литературу в Германии! А мы разве мало переправили на родину за двенадцать лет?

Чувствовалось, что больше всего желал Плеханов приняться за издание книг для России здесь, в Женеве. Оторванный от участия в практическом революционном движении, он рвался к большому делу печатной пропаганды для России за границей, где когда-то Герцен издавал «Колокол». Свободное слово для России, свободная пресса — вот сфера его деятельности, вот его жизненная задача...

— За границей, — говорил он, — мы подводили итоги тому, что было сделано и узнано нами в России. В нашей программе нет ни одной строчки, которая не имела бы в виду того или иного «проклятого вопроса» нашей революционной практики, которая не опиралась бы прежде всего на указания этой практики.

Владимир Ильич знал, что это была чистейшая правда.

Беседуя с Потресовым и Воденом на дальних прогулках (Георгий Валентинович их избегал), Владимир Ильич говорил о трагическом положении революционеров, оторванных от общения со своим народом.

— Я понимаю, что революционная борьба часто невозможна без вынужденной эмиграции революционеров... Маркс и Энгельс писали «Манифест Коммунистической партии» за пределами Германии — своей родины...

— Георгий Валентинович писал свои работы за пределами России. Мыслимое ли было дело тогда издать эти книги в Петербурге? — сказал Потресов.

— Вот он говорит, что чтение «Коммунистического Манифеста» составило эпоху в его жизни. А его книга «Социализм и политическая борьба» разве не начала новую эпоху для русских революционеров? Это программа

русских марксистов, как «Коммунистический Манифест» — программа для марксистов всего мира. Вы не согласны?

Потресов чуть-чуть обиделся.

— Разве я когда-нибудь сомневался в роли Плеханова?

— Да нет! Обидно только, что его желание здесь наладить заграничное издание литературы неосуществимо. Время для этого еще не приспело... Надо подготовиться к этому у нас, дома...

Как-то вечером Георгий Валентинович был особенно благодушно настроен. Молодые только что вернулись с гор, а он после целого дня, проведенного за книгой, в одиночестве, рад был побеседовать, пошутить, отдохнуть. Вся компания расположилась на открытой террасе, потягивая кто черный кофе, кто вино. Звездное небо, мерцание далеких огней, тишина и взаимная симпатия создавали какую-то особенно благоприятную атмосферу для общения. Воден было заикнулся, не пора ли от вечерней сырости перейти в гостиную, но Георгий Валентинович как будто не слышал совета, только поплотнее укрыл ноги пушистым клетчатым пледом.

Разговор шел о полемике с народниками. Воден рассказал, что Энгельс против резкой полемики с ними русских марксистов. На замечание Водена, что народники сами провоцируют марксистов на резкость, Энгельс с сомнением покачал головой и сказал по-русски: «Кто Плеханова обидит? Не обидит ли всякого сам Плеханов?»

Первым расхохотался Георгий Валентинович.

— Что делать? Может быть, Генерал прав, но и Воронцов и Михайловский вызывают у меня одну реакцию: у меня, как говорит Глеб Иваныч, «вступает в кулак»! Да и как не обозлиться? Они сначала исказят марксизм, доведут его идеи до абсурда, а там и начнут высмеивать этот абсурд. А станешь хватать за руку — обид не оберешься.

Я как-то при случае попросил общего знакомого: «Не откажите исполнить маленькое поручение к Николаю Константиновичу». Тот согласился: «Извольте, — говорит, — охотно».

«Видите ли, — говорю, — в Харькове жуликов называют «раклами». Вот один такой ракло стал тащить ночью на улице с прохожего пальто. Прохожий сначала

растерялся, а затем, схватив грабителя за шиворот, стал накладывать ему по шее. Тут ракло, становясь в позу оскорбленной невинности, заговорил: «Господин хороший, а ведь драться-то нынче не приказано...» Уж не знаю, дошла ли притча до адресата, но он и сам знает, что игру вел нечистую, и не умиляться же марксистам по этому поводу?

Зашел разговор о вопросах марксистской программы, о тактике борьбы, наконец, о терроре.

— Мы во втором проекте нашей программы после обсуждения его в революционных кружках пункт о терроре исключили, вы знаете, — говорил Плеханов. — Не достигает он цели, пока нет массовой революционной борьбы. Не зарекаемся, что во время подъема революции используем и террор, а пока эта тактика нам не с руки. А кое-кому она на руку.

Он помолчал немного.

— Вы думаете, я не вижу, чего стоит либерализм? — сказал он, обращаясь к Владимиру Ильичу, показывая, что помнит о своем несогласии с тулинской статьей против Струве.

Тот молчал, со вниманием ожидая, к чему гнет Георгий Валентинович.

— На либералов я нагляделся вдоволь. Любят чужими руками жар загребать. Вот хотя бы почтенный Николай Максимыч Минский. Н-ну, известный... поэт, вы знаете... Сочувствовал народникам. Давно это было. На одном собрании русской колонии в Париже схватился я с народниками. Лавров председательствовал. Минский при сем присутствовал.

Стали уже шапки разбирать, Минский подходит ко мне.

«Что вы, Георгий Валентинович, так горячо спорите против террора? Ведь недавно началась террористическая борьба с самодержавием, а нам уже дышать легче».

«Видите ли, — говорю, — господин Минский, я ничего не имел бы против террора, если бы вы и ваши единомышленники им занимались, а нам, социалистам, сделалось бы от вашей деятельности легче дышать...»

Он, кажется, без шапки с этого собрания ушел, — кончил Плеханов под общий смех присутствующих.

Во время таких бесед, впрочем, обнаружилось еще одно несогласие. Впоследствии в письме Потресову из шушенской ссылки Владимир Ильич припомнил этот эпизод:

«Помните, как один наш общий знакомый * в «прекрасном далеке» зло высмеивал и разносил в пух и прах меня за то, что я назвал материалистическое понимание истории — «методом»? А вот, оказывается, и Каутский повинен в столь же тяжком грехе, употребляя то же слово: «метод»... Имеете ли вести об этом знакомом? Лучше ли его здоровье? Есть ли надежда, что он будет писать?»

Владимир Ильич в те времена считал себя человеком «в философии не начитанным», спорить не стал, и Плеханов мог вполне насладиться легкой победой над собеседником из ряда вон выходящим. До сих пор чаще всего ему доводилось общаться с молодежью, о которой он с горечью говорил:

— Нет характера, нет темперамента, на словах на все готовы, а как к делу подходит вплотную — на попятный двор и в подворотню: то школы нет, то дисциплины, то знаний, то выдержки. На словах как на гуслях, а на деле как на воде... Рабочие выгодно от интеллигентов отличаются, да где они — рабочие — за границей?

А теперь, впервые за все годы эмиграции, приехал из России человек, совмещающий глубокую теоретическую подготовку, творческую мысль с уменьем взяться за практическое дело и довести его до конца. Человек этот не приуменьшал заслуг группы «Освобождение труда» и его, Плеханова, но знал цену и своим соратникам по подполью и сам не тушевался перед общепризнанным авторитетом.

* * *

Основная тема бесед с Плехановым касалась совместного издания книг для русских рабочих. Это была заветная мечта Владимира Ильича. Позже он сознавался, что ничего так не желал и ни о чем так много не мечтал, как о возможности писать для рабочих. Однако в детали издательских дел Георгий Валентинович входить не хотел. Этим делом должен был заняться Павел Борисович Аксельрод в Цюрихе, к которому Владимир Ильич получил от Плеханова явку.

Зато Георгий Валентинович охотно слушал и расспра-

* Г. В. Плеханов.

шивал о марксистском подполье, о связях петербургских марксистов с марксистами других городов. Очень интересовался тем, как исхитряются там выпускать нелегальные издания, где добывают шрифт, кто набирает, как печатают. Борьба с народниками Плеханова особенно волновала.

Но настойчивее всего он расспрашивал о рабочих-подпольщиках. Хорошо ли грамотны? Интересуются ли занятиями в кружках? Делятся ли своими знаниями с товарищами? Не боятся ли участвовать в стачках?

В ответах Владимира Ильича он как будто находил подтверждение своему представлению о русском рабочем, своей оценке его революционных возможностей.

— Положение в России таково, — говорил он, — что интерес рабочих к социальным задачам, естественно, глубже и шире, чем кое-где на Западе. Вы увидите это здесь сами. Наши предчувствуют схватки с царизмом, готовятся к ним — вот и рвутся к знаниям, к революционной теории.

Он помолчал немного и добавил:

— Это не только мое мнение. Новый год Вера Ивановна встречала у Генерала. Знаете, что он сказал ей в тот вечер? Он уверен, что наш рабочий не в пример английскому примет сознательное участие в политическом освобождении России. Сознательное! Ну а уж нам с вами сомневаться в этом не приходится...

* * *

Если для Владимира Ильича знакомство с Плехановым было событием знаменательным, то для Плеханова приезд человека из России после непосредственной работы в массах пролетариев был событием переломным.

Владимир Ильич говорил и имел право говорить от имени большой группы марксистов, связавших свою жизнь с рабочим движением прочно. Они понимали историческую роль рабочего, они, как и Плеханов, за рабочим признавали роль руководителя (тогда говорили: гегемона) в освободительном движении всего народа.

Владимир Ильич мог говорить и от имени рабочих, уже втянутых в революционное движение.

Плеханову еще не приходилось беседовать с россиянином, за которым стоял коллектив людей думающих, ра-

ботающих, идущих к заветной для революционных социал-демократов цели.

Да и сам Владимир Ильич, публицистический талант которого не вызывал никаких сомнений, всем поведением своим внушал симпатию и уважение. Плеханов ни на минуту не усомнился в том, что Ульянов трезво оценивал уровень российского движения. По-деловому ставил вопрос о совместных изданиях. Безусловно, искренно признавал заслуги группы «Освобождение труда», не скрывал, что российское подполье кровно заинтересовано в сотрудничестве с ней. Все это открывало перед Георгием Валентиновичем новые возможности работы для России.

За сдержанностью Владимира Ильича Плеханов не мог не разглядеть темперамента политического борца. Его спокойная, но полная живых интонаций речь и отсутствие какой бы то ни было позы невольно вызывали уважение собеседника. А неудержимый, почти детский смех в ответ на полную блеска, примеров, сравнений, шуток речь Плеханова был так естествен, так человечен, что невозможно было не проникнуться к нему симпатией. Вот почему все эти дни в горах Георгий Валентинович был, мало сказать, в приподнятом настроении, он был воодушевлен открывшейся возможностью общей работы с российским подпольем, с человеком, который (он со своим жизненным и политическим опытом видел это ясно) отдаст революции не свободные вечера, а всю свою жизнь! Георгий Валентинович понимал, что в этой работе и он сам займет достойное место...

Плеханов очень сочувственно отнесся к намерению Владимира Ильича поработать в западноевропейских библиотеках. Услышав, что «Святое семейство» в Берлинской библиотеке в читальный зал не выдают, огорчился. Ему не удалось прочитать эту книгу целиком, он располагал только выписками, сделанными для него друзьями в Вене.

— Может быть, вам посчастливится застать в Берлине Каутского. Он мог бы помочь договориться с администрацией библиотеки, чтобы для вас сделали исключение. Если его нет, надо попытаться найти кого-нибудь из «Vorstand'a» *. Или, на худой конец, попросить похло-

* Так называемое Главное правление Германской социал-демократической партии — по-нашему Центральный Комитет (нем.).

потать редакцию «Vorwärts'а». Вам не миновать связаться с нею. Корреспонденциям о России они будут рады. Если считаете для себя удобным, я напишу туда... Поймут же они, как важно для российских социал-демократов воспользоваться опытом Маркса в борьбе с идеалистами!..

К вопросу об отношении к либералам Плеханов больше не возвращался. А Владимир Ильич и рад был: в том, как следует относиться к выразителю интересов буржуазии — Струве, он не сомневался. Он достаточно спорил со Струве, чтобы не увидеть, что он и его друзья не социал-демократы, а социал-демократствующие. Похоже на то, что если они и мечтают о свержении монархии, так только затем, чтоб заменить ее буржуазной республикой. Может быть, они обойдутся и без республики, если Николай даст конституцию и привлечет буржуазию в правительство (тогда говорили: «подпустит к государственному пирогу»).

Поворот Струве к революционному марксизму (Розалия Марковна говорила, что Плеханов надеется на это) маловероятен...

Владимир Ильич уезжал в Цюрих с чувством глубокого удовлетворения от непосредственного общения с Плехановым.

Встреча, о которой Владимир Ильич так долго мечтал, с которой связывал всю жизненную работу, всю будущую революционную борьбу, укрепила его в убеждении, что в лице Плеханова российские революционеры имеют товарища и соратника.

Конечно, и в эту первую встречу нельзя было не почувствовать, что Георгий Валентинович не со всеми и не всегда так прост, доступен и обходителен. Нельзя было не заметить некоторого высокомерия в его отзывах о противниках, мотивы личного самолюбия, даже тщеславия, некоторый «индивидуализм» (как позднее назвал Ленин плехановское противопоставление себя, своего мнения, личности мнению собеседника). Но эти черточки так не хотелось замечать. Казалось, что «это мелочи, что обращают внимание на мелочи только люди, недостаточно ценящие принципы».

Владимир Ильич был рад, что с Плехановым установились хорошие, хоть и не очень близкие, отношения.

10. РОССИЙСКИЕ ЗАБОТЫ В ЦЮРИХЕ

Пожалуй, только в Цюрихе, познакомившись с Павлом Борисовичем Аксельродом, Владимир Ильич представил себе в полном объеме, как мыкают горе на чужбине первые российские социал-демократы.

Он без труда нашел молочную, владельцем которой был Аксельрод. На микроскопические доходы от изготовления и продажи кефира содержал он свою семью и подкармливал бедствующих эмигрантов. Это была одна из гримас эмигрантского быта. Мало того, что Аксельрод оказался мелким хозяйчиком, кое-кто из пестрой эмигрантской братии не стеснялся распространять слухи о крупных барышах от предприятия, объявлять его буржуем и даже чураться на этом основании... Аксельрод и тяготился этим, и страдал, но совесть его была чиста, а жить было надо. Да и то ли еще случалось с эмигрантами!..

Владимир Ильич застал Аксельрода в подсобной комнатке кефирного заведения. В длинной блузе, открывавшей только воротничок безупречной сорочки, Павел Борисович мыл бутылки.

— Владимир Ульянов, приехал недавно из России... Георгий Валентинович в Женеве просил вам кланяться, — сказал Владимир Ильич, преодолевая некоторую неловкость. Не хотелось бы ему видеть одного из основателей группы «Освобождение труда» за этим занятием.

Но Павел Борисович спокойно вымыл и вытер руки перед рукопожатием, оставил на вешалке блузу и, пропуская вперед Владимира Ильича, прошел с ним через коридор в небольшую комнату. Извинившись, он вышел на минутку и вернулся с двумя стаканами крепкого чая (не кофе, как естественно было бы в Цюрихе).

В комнате, сплошь уставленной книжными полками, у письменного стола они расположились с чаем так, как сели бы где-нибудь на Песках в Петербурге или в Замоскворечье. Было ясно, что хозяин не отстал от российских привычек, не изменил российским вкусам.

Беседа в первый раз была непродолжительной: короткий рассказ о работе в Петербурге, о нелегальных изданиях, о планах на будущее.

Жалел Павел Борисович, что не успел закончить к сро-

ку статью для петербургского легального сборника, ждал выхода его в свет с нетерпением.

— Несколько экземпляров нам удалось вырвать из типографии. Я привез два — для Георгия Валентиновича и для вас. — Владимир Ильич положил перед Аксельродом обернутую в плотную бумагу, довольно тяжелую книгу. — Обратите внимание на статьи Утиса и Кузнецова. Автор, как вы догадываетесь, Бельтов. Завтра, если вы позволите, я зайду к вам, чтобы продолжать разговор.

«Для меня, — рассказывал позднее (в 1923 году) Аксельрод, — ознакомление с этим сборником было истинным наслаждением. Наконец-то, — думал я, — появляется в России легальный сборник, проникнутый не просто духом отвлеченного, академического марксизма, но духом социал-демократии, дающей учению марксизма революционное применение».

Однако, как ни благоприятно было впечатление от сборника, а статья Тулина привлекла внимание Аксельрода некоторым несовпадением взглядов.

На вопрос Владимира Ильича утром следующего дня, прочитал ли Павел Борисович сборник, он ответил с большой заинтересованностью.

— Да! И должен сказать, что получил большое удовольствие. Наконец-то пробудилась в России настоящая революционная социал-демократическая мысль. Особенно хорошее впечатление произвела на меня статья Тулина...

— Это мой псевдоним.

Аксельрод откровенно обрадовался тому, что автор самой интересной работы перед ним, что можно прямо тут же высказать свои заветные мысли, поспорить. Это куда приятнее, чем полемика в печати.

— Я писал в статье для этого же сборника прямо противоположное тому, что пишете вы. Хотите познакомиться? Вот ее начало. — Он протянул Владимиру Ильичу мягкую папку. Перелистнув обложку, Владимир Ильич увидел довольно объемистую для статьи рукопись, оборванную на второй главе. Почерк Аксельрода поразил его своей несобранностью. Это был почерк человека, неспособного управлять своими силами, для которого самый процесс писания был труд мучительный. Владимир Ильич отложил папку в сторону: «Прочитаю статью дома».

Аксельрод между тем продолжал:

— Я глубочайше убежден, что ближайшие интересы

пролетариата России совпадают с интересами других прогрессивных сил общества. Да вы увидите, я об этом пишу, мы не можем не видеть в либералах своих союзников.

Владимиру Ильичу стало смешно.

— Знаете, Георгий Валентинович по поводу моей статьи сделал совершенно такие же замечания. Он образно выразил свою мысль так: «Вы, — говорит, — поворачиваетесь к либералам спиной, а мы — лицом».

Аксельрод расцвел: как умеет Жорж перевести политические понятия на бытовой, образный язык!

— Вот видите, видите! А ведь мы не сговаривались. Да если б я до этого и своим умом не дошел, так все равно к Жоржу бы присоединился. Это светлый ум, это теоретическая сила, это опыт!

Владимир Ильич внимательно слушал. Что толкает Аксельрода и Плеханова к либералам?

А Аксельрод продолжал легко, увлеченно, видно было, что говорит о давно продуманном, выношенном, что готов хоть сейчас распропагандировать Владимира Ильича и уж, во всяком случае, доказать ему несвоевременность, неправильность критики Струве.

— Интеллигенцию, носительницу культурного и общественного прогресса — литературы, науки, искусства, мы со счетов сбрасывать не можем. Отсталость нашу нам преодолеть надо. Кто нам, кроме нее, поможет? Вот почему мы к ней лицом поворачиваемся.

— Ну мы-то, по правде сказать, на другую интеллигенцию рассчитываем... На нашу, демократическую, марксистскую. На новую, рабочую... На том я стою твердо. Да и все мы в России тоже.

Аксельрод поверх очков, чуть посмеиваясь, посмотрел на Владимира Ильича: вот, мол, ты какой... твердокаменный!

Но видно было, что очень по душе пришелся ему гость с родины, серьезный, скромный и... прямой. С таким можно отвести душу. Можно... но не в Цюрихе, где шпики не спускали глаз с его квартиры. Он был гражданином Швейцарии, но посетители его интересовали русскую заграничную охранку не меньше, чем посетители Плеханова в Женеве. «Нам о многом еще хотелось переговорить, — вспоминал П. Б. Аксельрод позднее, — мы условились поэтому уехать на несколько дней из Цю-

риха в деревню, где могли бы проводить целые дни вместе, не привлекая ничьих подозрительных взглядов.

Переехали в деревушку Афольтерн, в часе езды от Цюриха. Здесь мы провели с неделю. Был май, стояла прекрасная погода. Мы целыми днями гуляли, поднимались вместе на гору около Цуга и все время беседовали о волновавших нас обоих вопросах».

Самым важным вопросом переговоров был вопрос издания за границей марксистских книг, понятных простому рабочему. Для этих изданий было привезено четыреста рублей на первый случай. Были обещаны и посланные конспиративным путем, но еще не полученные из Берлина материалы.

Беседовали о том, как организовать издание, как пересылать корреспонденции и статьи в Швейцарию, а изданные там книги — в Россию. Договаривались об адресах, связях, придумывали шифр для переписки. Решили начать выпуск сборников статей и корреспонденций с фабрик и заводов России.

Владимир Ильич должен был, вернувшись на родину, объехать рабочие центры, рассказать провинциальным работникам об этих планах, заручиться их поддержкой, собрать корреспонденции и переправить их Аксельроду.

Решили как можно меньше занимать Георгия Валентиновича организационной работой, беречь его силы для работы литературно-теоретической.

Вторая тема бесед была о российском подполье, о том, что пора от занятий с небольшими кружками сознательных передовиков перейти к работе среди «серых», неподготовленных, иногда неграмотных рабочих.

Работа с ними предстояла нелегкая. Предрассудок, что царь не знает о произволе чиновников, насилиях полиции, бесчеловечности хозяев, среди рабочих был очень прочен. На царя надеялись как на защитника. От него в деревне ждали «землицы» и «послаблений», а в городе защиты от «прижимок» управляющего и мастеров. Надо было умеючи рассеять этот предрассудок. Надо было постепенно вскрывать «хитрую механику» эксплуатации.

Владимира Ильича волновал вопрос о том, как не допустить, чтобы агитация свелась только к борьбе «за пятачок, за кипяток»...

— Наша задача — объяснять, как тесно связаны царь, помещик, капиталист, как верно служат им, а не народу

чиновник, судья, полицейский! Наша задача — обличать, обличать и обличать! — горячо говорил Владимир Ильич.

Павел Борисович заражался его энергией и любовался своим собеседником, подкупавшим искренностью, целеустремленностью.

Но его беспокоило и другое. Он не хотел скрыть от Владимира Ильича свою тайную тревогу: как бы не засорили организации люди, от марксизма далекие.

— Мы должны предвидеть приток молодежи, усвоившей вершки марксизма, — говорил он. — Не исключено, что могут возникнуть центробежные силы, разногласия, борьба тенденций... Здесь у нас достаточно скоропалительных марксистов. Они считают ниже своего достоинства учиться, а претендуют на руководящие роли...

Владимир Ильич вспомнил вскользь брошенное замечание Плеханова о «карьеристах от революции». Тревога Павла Борисовича была, видимо, обоснованной.

— Боюсь, что пока это неизбежно... Мне приходилось сталкиваться с «ужасными революционерами», которые не идут дальше протеста против сечения школьников, и статейки на эту тему — все их политическое достояние.

— Это провинциальные Робеспьеры, я на них и здесь насмотрелся вдоволь! — сказал Аксельрод.

— Но и в Питере кое-кто из просвещенных публицистов недалеко ушел и не прочь заняться благонамеренными писаниями для народа «с дозволения цензуры»... С такими не пойдешь на революцию, от них скорее надо отмежеваться! — воскликнул Владимир Ильич.

— Да эти поборники демократии и сами от нас, чуть порохом запахнет, сбегут, а как быть с полузнайками? — спрашивал Аксельрод.

— Что делать? На воспитание новых рекрутов любая армия расходует силы и средства. Наперед можно сказать, что публика, питающаяся пересказами марксизма в толстых журналах, ближе к Струве, чем к нам... С ней будет нелегко: невежество ближе к истине, чем предрассудок... Будем верны своему знамени, своим традициям... Поучимся у Маркса — недаром он говорил о некоторых пропагандистах его идей: если это марксизм, то я не марксист! Будем бдительны и мудры, ако змеи...

Откровенные эти беседы обо всем, что волновало, мучило, бесило, так сблизили за неделю Владимира Ильича с Аксельродом, что, казалось, они знали друг друга давно

и понимали с полуслова. Даже к запретной для Владимира Ильича теме — о брате (он всегда избегал ее) — Павел Борисович прикоснулся так тактично, что и о Саше было сказано то, что еще никому, кроме Анюты, не говорилось.

— Брат, не сомневаюсь, шел к марксизму. «Капитал» он привозил в Симбирск в последний свой приезд летом в 86-м году. Читал его, меня с ним познакомил... Я припоминаю кое-какие его замечания, источник которых потом нашел в этой книге. Видимо, он и его друзья были последними могиканами «Народной воли» на переломе к марксизму. Не случайно Говорухин сблизился здесь с вами, с Георгием Валентиновичем. Если бы довелось встретиться с ним — я бы дознался, каково было «Credo» * их группы... Уверен, что многое в нем имело истоком марксизм...

Аксельрод не сомневался, что дело обстояло именно так.

— Тем обиднее эта безвременная гибель... Чудесный, видимо, был юноша... Орест вспоминал о нем с благоговением...

— Я не решаюсь говорить о нем... недооценить боюсь... Старшая сестра говорит: он был гений! А я одно скажу: мужественный был человек. Знал, на что идет... Помните:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

Павел Борисович не справился с волнением. Отвел взгляд в сторону. Ему ли не понимать, что дорога революционера не Невский проспект и идут по ней со времен Радищева люди не робкого десятка... Такие, как Александр Ульянов... Такие, как... Он взглянул в освещенное глубокой мыслью лицо своего собеседника и не сказал вслух, но подумал: «Да! Такие, как Александр Ульянов... и такие... как Владимир!»

Впечатление, которое произвел на Аксельрода Владимир Ильич, было больше чем благоприятное, восторженное. Он писал позднее:

---

* Программа (латин.).

«Я должен сказать, что эти беседы с Ульяновым были для меня истинным праздником. Я и теперь вспоминаю о них как об одном из самых радостных, самых светлых моментов в жизни группы «Освобождение труда»... Ульянов, несомненно обладая талантом и имея собственные мысли, вместе с тем обнаруживал готовность и проверять эти мысли, учиться, знакомиться с тем, как думают другие... У него не было ни малейшего намека на самомнение и тщеславие. Он даже не сказал мне, что порядочно писал в Петербурге и уже приобрел значительное влияние в революционных кружках. Держался он деловито, серьезно и вместе с тем скромно».

Владимир Ильич также был удовлетворен свиданиями с Плехановым и Аксельродом. Задача установления связей с ними была решена, отношения с Плехановым сложились хорошие, хоть и далекие, а с Аксельродом совсем близкие, дружественные. Главное же, он укрепился в своевременности своего плана — приступить в России к созданию прочной организации революционных марксистов.

11. ПАРИЖ КОММУНАРОВ

8 июня (27 мая) Владимир Ильич писал Марии Александровне из Парижа:

«Получил твое письмо перед самым отъездом в Париж...

В Париже я только еще начинаю мало-мало осматриваться: город громадный, изрядно раскинутый, так что окраины (на которых чаще бываешь) не дают представления о центре. Впечатление производит очень приятное — широкие, светлые улицы, очень часто бульвары, много зелени; публика держит себя совершенно непринужденно, — так что даже несколько удивляешься сначала, привыкнув к петербургской чинности и строгости.

Чтобы посмотреть как следует, придется провести несколько недель.

Здесь очень дешевы квартиры: например, 30—35 frs * за 2 комнаты с кухней в месяц; 6—10 frs в неделю за

* Франков (франц.).

меблированную комнату — так что я надеюсь устроиться недорого...»

Он прожил в Париже месяц, до первых чисел июля. Об этом имеется его собственное свидетельство: в письме из ссылки 7 февраля 1898 года он писал Марии Александровне: «...Я жил в Париже всего месяц, занимался там мало, все больше бегал по «достопримечательностям».

В течение нескольких недель бродил Владимир Ильич по зеленому в эту пору года Парижу; днем вглядывался в легкую, воздушную «французскую» готику зданий, с бесчисленных мостов любовался блеском Сены, кипением огромного внутреннего порта, рылся в книгах у букинистов на набережных.

А вечером на залитых ярким светом бульварах, у редакций газет вчитывался в световые афиши, сообщавшие новости дня, прислушивался к возгласам из толпы по поводу волнующих событий, к схваткам горячих споров, то возникавшим между незнакомыми друг с другом противниками, то затихавшим при появлении на экране новых сенсаций.

По темным улицам (за пределами бульваров Париж засыпал в десять часов вечера) возвращался он к себе, переполненный потоком впечатлений, врезавшихся в память надолго.

Позже, в советское время, он сказал о Париже то, что, видимо, было ему всего дороже:

«В Париже толпа — самая чуткая, может быть, из всех народных собраний других стран, потому что в Париже она прошла большую школу, проделала ряд революций, — там толпа, самая отзывчивая, которая не позволит оратору взять фальшивую ноту...»

Так впечатления от Парижа, своеобразия его улиц, бульваров, площадей, от учтивых парижан, готовых прийти на помощь иностранцу, тесно сплетались со сложившимся раньше в воображении Владимира Ильича образом героического города.

Прошлой зимой в Петербурге, волнуясь, вчитывался он в «Гражданскую войну во Франции» — Воззвание Генерального Совета Международного Товарищества рабочих. Ко всем членам Товарищества в Европе и Соединенных Штатах. Этот документ был написан К. Марксом весной 1871 года, когда еще шли бои коммунаров с версальцами на улицах и в предместьях Парижа.

Вслед за Марксом проследил Владимир Ильич историю

1871 года, его глазами увидел штурмующих небо парижан, загорелся его восхищением, проникся его гневом, пережил вместе с ним, как современник, один из величайших подвигов рабочего класса.

Восставший на защиту отечества Париж, Пантеон с развевающимся над ним алым флагом Коммуны, артиллерия коммунаров на высотах Монмартра, падение первого в мире государства рабочих — всю драму Парижской коммуны представлял себе Владимир Ильич еще там, в петербургской своей по-студенчески непритязательной комнате. Наедине с Марксом, в напряженной тишине петербургской ночи, угрожавшей вторжением непрошеных посетителей — жандармов, раздумывал Владимир Ильич над историей первой в мире пролетарской диктатуры.

Теперь история эта оживала перед ним во плоти, наполнялась всеми звуками и красками легендарного города.

Он бродил по Парижу, вызывая к жизни перед умственным взором своим картины двадцатичетырехлетней давности.

Любуясь площадью Согласия с моста, повисшего над Сеной, Владимир Ильич вдруг ловил себя на том, что прикидывает, как выглядела эта площадь в 1871 году, опоясанная баррикадами.

То ему казалось, что мирная улица, по которой он шел к почтовому отделению, должно быть, авеню Урик, то страшное место, где генерал Галифе лично отбирал на расстрел пленных повстанцев. Образ злобного душителя Коммуны, запечатленный Марксом в «Гражданской войне во Франции», оживал в воображении с мельчайшими подробностями, как реальность. Галифе, окруженный свитой, двигался вдоль колонны от левого фланга к правому... хлопал по плечу одного, вызывал из заднего ряда кивком головы другого, на третьего указывал пальцем — и пленные шли в строй новой колонны... колонны смертников...

Неужели это было именно здесь? Владимир Ильич вчитывался в табличку на перекрестке, останавливая встречных вопросом:

— Не правда ли, эта улица раньше называлась авеню Урик?

Любезная улыбка, поднятая к шляпе рука и вежливый ответ:

— Увы, мсье, я не знаю...

Или:

— Мсье, эта улица всегда называлась так, как указано на перекрестке...

Он шел дальше, по священным для каждого революционера местам и вдруг, как от оскорбления, спешил почти бегом скорее прочь от улицы Мак-Магона! Как смели отцы города увековечить память душителя революции, расстрелявшего более пятнадцати тысяч повстанцев! Как смели!

Прелесть цветущего сквера Сен-Жак-ла-Бушри заслонялась воспоминанием, что именно здесь, в этом самом месте, во рву были засыпаны землей расстрелянные мертвые и полуживые коммунары. Он вглядывался в рубцы на стыках раскаленного летним солнцем асфальта. Из них пробивалась молодая трава... Это преступление было совершено здесь. Непроизвольно, в такт шагам, как реквием, слышный только ему одному, звучал надтреснутый, усталый голос Некрасова:

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие,
Но разнузданы страсти жестокие...

Так писал русский поэт-демократ тогда, в дни жестокой расправы с коммунарами, так он страдал вместе с истекавшими кровью рабочими Парижа... Так его измучили вконец впечатленья крови и убийства. Но он и тогда, в дни черного террора, верил, что есть еще сердца живые...

Эти строки, всегда волновавшие Владимира Ильича на родине, здесь, на улицах цветущего Парижа, в оживленной, непринужденной толпе, разрешались в сознании, как в художественном произведении поэта, переломом к гордой мысли: «Мы еще повоюем!»

На кладбище Пер-Лашез, у стены, где были расстреляны последние защитники Коммуны, Владимир Ильич стоял, сняв шляпу, жалея, что не поспел приехать к воскресенью последней майской недели. В этот день весь трудовой Париж стекался сюда в торжественном шествии. Чествуя память погибших, рабочие приветствовали здравствующих вождей Коммуны во главе с любимцем рабочих Вайяном. Высоко подняв на плечах веселых ребятишек, указывали они им на человека, с именем кото-

рого была связана первая попытка установить для всех детей обязательное и бесплатное образование. Вайян в рабочем правительстве был комиссаром по народному образованию, ему удалось провести реформу школы, где отныне все дети должны были получать и общее, и профессиональное образование...

На приветствия рабочих вместе с ним отвечали Шарль Лонге, Поль Лафарг, тесными узами дружбы и единомыслия связанные с К. Марксом, один из организаторов Рабочей партии Франции — Жюль Гэд...

Всего двадцать четыре года отделяли их от Парижской коммуны. Еще живы были и приходили сюда участники отчаянных боев с версальцами, а их сыновья, в то время бесстрашные парижские гамены, теперь составляли цвет французского пролетариата.

Владимиру Ильичу было обидно, что не пришлось ему слиться с этой толпой, с многотысячным хором голосов, сменявших у Стены коммунаров задорную «Карманьолу» на торжественный гимн пролетариев всего мира:

Debout, les damnés de la terre!
Debout, les forçats de la faim...
C'est la lutte finale... *

Владимир Ильич певал его вместе с Ольгой, а теперь, здесь, мог бы петь с Вайяном, с Лафаргом!..

Так недели, прожитые в Париже, сплошь были окрашены для Владимира Ильича восприятием революционных событий, связанных с 1871 годом.

Париж разросся и изменился с тех пор. Улицы его покрылись асфальтом. Булыжника уже не было ни для строительства баррикад, ни для отражения атак полиции: буржуазия позаботилась о том, чтобы под рукой рабочих этого «орудия пролетариата» не осталось...

Новые, широкие улицы и бульвары возникли на месте снесенных кварталов. Но сеть переулков, которых не коснулась реконструкция, была та же, что и двадцать четыре года назад. Да и оживленная, непосредственная толпа рабочих в предместьях, по-видимому, осталась неизменной.

---

* Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...
Это будет последний и решительный бой! (франц.).

Владимир Ильич наслаждался, бродя по вечерам среди общего оживления, говора, доносившейся из кафе музыки и эстрадных песен шансонье.

Красные гвоздики в петлицах блуз и скромных пиджаков сначала были непривычны, как всякое украшение. Но когда на Елисейских полях он увидел гарцующих на выхоленных лошадях аристократов с бутоньерками белых нарциссов, красная гвоздика стала понятна ему как знак принадлежности к людям предместий. С этого момента в лацкане и его пиджака неизменно алел любимый цветок парижских рабочих.

Утренние часы по своему обычному распорядку Владимир Ильич отдавал работе. Вначале она не ладилась. Богатства Национальной библиотеки Парижа поражали: они накоплялись в течение нескольких столетий, но порядки не очень подходили для сосредоточенных занятий. Выписанные книги подавались через день, а то и через два; на обеденный перерыв библиотека закрывалась, и приходилось в течение часа бродить без толку поблизости или отсиживаться в кафе. Он обследовал две-три имевшиеся в Париже русские библиотеки, но работал все-таки в Национальной, где в конце концов дело наладилось.

Все неудобства искупила возможность засесть за историю Парижской коммуны, написанную ее участниками и современниками. Это была работа над источниками, которую так любил Владимир Ильич. В России на такие книги рассчитывать не приходилось.

До наших дней сохранился сделанный Владимиром Ильичем конспект книги Густава Лефрансе «Очерк движения парижских коммунаров в 1871 году».

Как всегда, Владимир Ильич не ограничивался выписками или пересказом содержания. В конспекте нашло отражение его отношение к событиям и политическим деятелям 1871 года. Особое его внимание к книге Лефрансе имело очень серьезные основания.

Густав Лефрансе был личностью исключительной. Он был участником революции 1848 года и стал одним из активнейших деятелей Коммуны в 1870—1871 годах. Он был убежден, что Коммуна создаст социальную республику трудящихся, освободит рабочих от экономического гнета.

Лефрансе пользовался огромным авторитетом у парижан, был избран мэром округа Бельвиль. Приговоренный

заочно к смертной казни, после падения Коммуны, он некоторое время скрывался в Париже, а затем с огромным риском для себя и для помогавших ему друзей с чужими документами выехал в Швейцарию, спасаясь от расправы версальцев.

Мог ли тогда предвидеть Владимир Ильич, что настанут дни, когда и за его голову объявят награду, что и ему придется с опасностью для жизни уходить от преследований контрреволюции, менять внешность, скрываться?.. Только его подполье сменится торжеством рабочей власти, созданием республики трудящихся, о которой мечтал Лефрансе!

В книги Лефрансе о Парижской коммуне (в том числе и в его дневник) и погрузился Владимир Ильич, черпая в них правдивую историю Коммуны, ее возникновения, деятельности и гибели.

Эту историю Владимир Ильич прослеживает вместе с Лефрансе день за днем с 5 сентября 1870 года (момент неофициального возникновения Коммуны в форме Республиканского Комитета бдительности), включая восстание парижан против правительства национальной обороны 31 октября 1870 года.

Как ясно видел он, что все антинародные дела этого правительства диктовались страхом перед революционным народом, а все мероприятия Комитета бдительности были направлены к защите Парижа от пруссаков.

Его восхищали такие меры парижского революционного правительства, как экспроприация продуктов для справедливого их распределения среди населения по карточкам, или вооружение народа, или самочинное изготовление артиллерии рабочими, или мобилизация на оборонительные работы, или призыв к поголовному ополчению всех французов. Нам, пережившим опыт пролетарской диктатуры, все это кажется само собою разумеющимся. А первооткрывателями этих революционных мер были коммунары Парижа, первыми они проводили их в жизнь.

В конспекте Владимира Ильича отмечены факты клеветы и шельмования революционных вождей буржуазной прессой.

Все буржуазные газеты кричали, что французские социалисты продались пруссакам. Буржуазия травила коммунаров за протесты их против франко-прусской войны, за заявление о своей солидарности с немецкими рабочи-

ми. Эти обвинения в измене были тем более лицемерны, что сама-то буржуазия главную опасность для себя видела не в пруссаках, а в парижских рабочих.

Опыт Коммуны показал рабочим Европы, на какие бесчестные приемы борьбы идет буржуазия, когда ей угрожает потеря власти и богатства.

Не прошел Владимир Ильич и мимо уязвимых позиций вождей Коммуны, их идеологической слабости.

Выписывая высказывания Лефрансе о возможном сплочении трудящихся и буржуазии под лозунгом «Отечество в опасности», Владимир Ильич характеризует как «розовые мечтания» утверждение Лефрансе, что таким образом осуществится «экономическая революция... без потрясений» и рабочие и буржуа будут «в равной мере» пользоваться благами.

Изучая историю гражданской войны во Франции, он впитывал опыт Коммуны, вскрывал допущенные ею ошибки. Какое богатство духовных сил народа раскрывали перед ним самочинные действия парижан, их инициатива, энергия! Как широк был размах народного творчества, как нешаблонно строили они свое государство, как велика была их самоотверженность в момент общенационального бедствия!

Опыт первой диктатуры пролетариата предстал перед его глазами во всей полноте, волновал, будил раздумья о прошлом Франции и будущем своего народа.

В течение всей своей жизни Ленин был страстным пропагандистом Парижской коммуны, недаром он говорил:

«На плечах Коммуны стоим мы все в теперешнем движении».

* * *

Сохранился план Парижа, которым пользовался Владимир Ильич в 1895 году. Вместе с картой Франции план был напечатан на внутренней стороне черной клеенчатой обложки в той тетрадке, с которой ходил он в Национальную библиотеку.

Тетрадочка эта свернута вдвое по длине (как раз для внутреннего кармана в пиджаке) и изрядно потерта по сгибу. Она сослужила Владимиру Ильичу двойную службу: и для записей в библиотеке, и для изучения города.

Оторвавшись от книг о Коммуне, Владимир Ильич склонялся над этим планом и, вглядываясь в сеть улиц, бульваров, площадей, намечал маршруты своих скитаний по Парижу.

Никакими впечатлениями от музеев, памятников, театров Владимир Ильич не делился *. Да он и не осматривал музеи подряд, как это делают туристы. Надежда Константиновна писала позже, что он от таких осмотров быстро уставал. Но трудно допустить, что в этот первый приезд он не побывал в театрах, что, осматривая достопримечательности, он исключил из них Лувр и Люксембургский музей, у которого была установлена скульптура О. Родена «Мыслитель».

Образ рабочего, не очень молодого, не очень красивого, погруженного в трудную работу мысли, оставил глубокий след в памяти Владимира Ильича.

Появление этой скульптуры на одной из площадей Парижа сопровождалось общественным скандалом. Образ рабочего, наделенного не только мускульной силой, но и могучей духовной жизнью, вызвал возмущение образованного мещанства.

Рабочий, осужденный вечно быть придатком машины, осмелился размышлять!

Буржуазия восприняла это как вызов, как покушение на ее привилегию думать и чувствовать, как угрозу ее монополии на духовную жизнь. Муниципалитету пришлось перенести скульптуру к Люксембургскому музею...

Спустя десять лет Владимир Ильич обратит внимание молодых участников III съезда партии на «Мыслителя» и расскажет им о поучительной судьбе этого прекрасного произведения.

К сожалению, не сохранилось никаких сведений о том, на каких собраниях и митингах побывал Владимир Ильич в течение этого месяца. Но в одном из берлинских писем матери он писал, что в публичных речах во Франции он «понимал почти все... с первого же раза».

Позднее в ссылке он рассказывал М. А. Сильвину о впечатлениях от рабочих митингов, на которых побывал во Франции и Германии. Ораторские приемы докладчи-

---

* Возможно, что письма, в которых он затрагивал эти темы, не сохранились.

ков были своеобразны: они серьезную речь перемежали шутками, анекдотами, возбуждая этим внимание слушателей.

Но поразил его практицизм этих ораторов, совсем непонятный и несвойственный русским. Оратор, приглашенный на митинг, ехал не туда, где это было важно для пропаганды, а туда, где ему больше заплатят, «предпочитая получить десять франков в одном месте, чем пять в другом».

М. А. Сильвин так передавал слова Владимира Ильича:

«Вот вы вернетесь из ссылки, вам будет трудно жить, но все-таки к вам многие будут относиться с сочувствием, вас как-нибудь устроят, дадут вам какую-нибудь работу, поддержат вас. За границей классовая вражда дала бы вам себя больно почувствовать в подобном положении, там вам никто не поможет».

В этот приезд Владимир Ильич познакомился с Полем Лафаргом, выдающимся пропагандистом марксизма, одним из организаторов французской рабочей партии, мужем Лауры Маркс.

Поль Лафарг с семидесятых годов поддерживал связи с российским революционным движением, печатал в России свои статьи, приветствовал образование группы «Освобождение труда», писал для изданий этой группы.

Знакомство с ним, живым хранителем традиций Первого Интернационала, заложенных Карлом Марксом, теснейшими узами дружбы связанным с Энгельсом, было важно не только для Владимира Ильича.

Встреча с Лафаргом устанавливала непосредственную связь с ним российских марксистов в момент, когда они становились небольшим, подпольным, но воинствующим отрядом международной армии борцов за социализм.

Из воспоминаний одного петербургского социал-демократа, с которым Владимир Ильич по возвращении в Россию делился впечатлениями о поездке за границу, известно, что Владимир Ильич встретился и беседовал с Жюлем Гэдом. Возможно, что беседа состоялась в одно из воскресений, когда у Лафаргов в Ле-Перре (близ Парижа) собирались друзья.

В такие дни политические разговоры перемежались музыкой (Лаура любила фортепьяно). Гэд с особой экспрессией читал любимые стихи Андре Шенье, Ла-

фарг мастерски передавал диалоги из своих драматических произведений.

Но в июле 1895 года Лаура была в Лондоне, и вряд ли в отсутствие хозяйки дома в Ле-Перре собиралось шумное общество. По-видимому, при встрече Владимира Ильича с руководителями социалистов Франции они ограничились деловыми политическими разговорами.

Мы не имеем достаточных свидетельств о содержании их бесед, но можно сказать с уверенностью, что Владимир Ильич рассказал Лафаргу о схватках революционных марксистов России с идейными противниками марксизма.

Жюль Гэд, конечно, знал об этой борьбе, так как не один год был связан дружбой с Плехановым, да и Лафарг был в курсе идейных разногласий среди российских революционеров.

Успехи марксистских публицистов в России их радовали. Но когда речь зашла о пропаганде марксизма в рабочих кружках, оба собеседника Владимира Ильича усомнились.

— Как, ваши рабочие читают Маркса? Полноте, они вводят вас в заблуждение, если не сказать резче! — воскликнул Гэд. — Хорошо грамотным англичанам это не под силу, они совершенно равнодушны к теории. А рабочие России? Какой процент их умеет читать и писать?..

Владимир Ильич не удивился. Взгляд на Россию как на страну отсталую, темную был обычен на Западе. Он распространялся не только на крестьян, но и на городских рабочих. Могли ли его собеседники допустить, что малограмотные российские рабочие в подпольных кружках настойчиво учатся марксизму и в этом отношении обгоняли рабочих цивилизованных стран Англии и Франции?

Владимир Ильич понимал, что, не зная российских условий, трудно представить себе, как передовые рабочие находят в себе и желание и силы учиться, как воспитывается таким образом рабочая интеллигенция. Может быть, причина равнодушия к революционной теории у рабочих Западной Европы коренится не в них, а в социалистической интеллигенции? Может быть, у нее нет интереса к пропаганде марксизма в массах? Он не задал этих вопросов ни Лафаргу, ни Гэду: речь шла о русских, а не о западноевропейских рабочих.

Впрочем, Поль Лафарг, автор популярных марксистских книг, рассчитанных именно на непросвещенного читателя, в разговор не вступал. Ждал, что ответит Гэду Владимир Ильич.

— Передовые рабочие у нас достаточно грамотны, достаточно интеллигентны, чтобы читать серьезную книгу, — сказал он уверенно. — Я вел занятия в кружках таких рабочих. Среди образованного общества действительно наблюдается косность и равнодушие к знанию. А рабочие? Они буквально рвутся к нему, несмотря на каторжные условия труда и жизни. Классовый инстинкт толкает их именно к марксистской теории.

— Ну вот и нужно, — живо заметил Гэд, — поднимать настроение в массе, использовать недовольство рабочих, а не развивать перед ними теорию трудовой стоимости!

Лафарг, казалось, был не очень доволен такой категоричностью Гэда.

— Я припоминаю, — сказал он неторопливо, — один попавший ко мне из Германии года два назад документ. Это была листовка о майском празднике. Автором ее был, насколько помню, — он повернулся к Гэду, — ваш друг Плеханов. Она, кажется, так и называлась «Первомайский привет немецким рабочим».

Гэд заинтересовался: Георгий прекрасный марксист, человек трезвый, неспособный увлечься до преувеличения.

— Что же он там писал?

— Да, по-моему, приблизительно то же, о чем говорит наш гость. Он писал, что в России нет другого общественного слоя, который бы так горячо стремился к знанию и просвещению, как рабочий класс. Сознание, что он является участником мирового движения пролетариата, его вдохновляет.

Гэд с сомнением покачал головой. А Лафарг подвел итог этой теме со свойственным ему тактом.

— Это не значит, что наряду с пропагандой марксизма среди передовиков не следует поднимать настроение в массе по любому, хотя бы пустячному, поводу... Вы, наверно, такую работу не игнорируете?

Владимир Ильич ответил, что переход к агитации в российском рабочем движении назрел. Необходимость ее ни у кого из марксистов не вызывает сомнений.

На вопрос Владимира Ильича, как отнесется Энгельс к намерению русских марксистов перевести и издать в России его книги «Положение рабочего класса в Англии» и «Переворот в науке, произведенный г. Дюрингом», и Лафарг и Гэд сказали, что не сомневаются в его согласии. Когда первый перевод «Капитала» появился именно на русском языке, для Маркса и для Энгельса это был настоящий праздник.

— А эти две книги удастся ли издать вам в России? — спросил Гэд.

— Кое-что нам удается. Спрос на марксистскую литературу так велик, что мы рискнем, если, как вы думаете, получим согласие автора.

— Он болеет все лето, — огорченно сказал Лафарг. — Последние известия неутешительны. Мучают боли. Мучает бессонница. Мучает невозможность работать... говорить. Он пользуется аспидной доской и грифелем. Он в Истборне сейчас, но болезнь развивается там еще активнее, чем в Лондоне. Лаура с ним, и встревожена. И основания для тревоги есть. — Он помолчал. — Но все-таки будем надеяться на лучшее...

Владимир Ильич встретился с ним глазами. Они говорили другое. Надежды у Лафарга не было.

* * *

Есть некоторая неясность в том, когда именно Владимир Ильич уехал из Парижа снова в Швейцарию, откуда он писал Марии Александровне 18 (6) июля:

«Я писал последнее письмо, если не ошибаюсь, восьмого. С того времени я многонько пошлялся и попал теперь... в один швейцарский курорт: решил воспользоваться случаем, чтобы вплотную приняться за надоевшую болезнь (желудка), тем более, что врача-специалиста, который содержит этот курорт, мне очень рекомендовали как знатока своего дела. Живу я в этом курорте уже несколько дней и чувствую себя недурно, пансион прекрасный и лечение видимо дельное, так что надеюсь дня через 4—5 выбраться отсюда. Жизнь здесь обойдется, по всем видимостям, очень дорого; лечение еще дороже, так что я уже вышел из своего

бюджета и не надеюсь теперь обойтись своими ресурсами. Если можно, пошли мне еще рублей сто по следующему адресу: *Suisse, Zürich.* Parterre. Seilergraben, 37. H-n *Grünfest* [*больше ничего;* передач и тому подобное не нужно] *. Во всяком случае по этому адресу буду ждать письма, а своего адреса не пишу, потому что бесполезно: все равно уеду отсюда раньше, чем можно будет получить ответ...

Жаркое ли у вас лето? Здесь очень жаркое, но я живу теперь в хорошем месте, далеко от города; среди зелени и близ большого озера...»

Не вызывает никакого сомнения, что между пребыванием в Париже и Берлине Владимир Ильич не только лечился на швейцарском курорте Нидельбад, но и заезжал еще раз в Женеву к Плеханову и в Цюрих к Аксельроду (или к Саулу Гринфесту за письмом и деньгами из дома).

Что касается «большого озера», упомянутого в письме, то речь шла о Цюрихском озере, на берегу которого расположен Нидельбад. Оно не названо из опасения, что письмо попадет в охранку и наведет на мысль о встречах с Аксельродом, жившим в Цюрихе.

Как видно из воспоминаний А. М. Водена, летом состоялась еще одна встреча его с Владимиром Ильичем «на берегах Женевского озера», а затем беседа Владимира Ильича с Г. В. Плехановым.

А. Воден так описал эти эпизоды.

Владимир Ильич «предложил мне иметь с ним двухчасовой разговор на теоретические (преимущественно философские) и на — тогда весьма злободневные — практические темы на лодке; этого разговора я не воспроизвожу, потому что, вопреки моему желанию, говорить пришлось больше мне...». Владимир Ильич «ограничивался вопросами и в высшей степени характерными замечаниями. Ограничусь упоминанием, что непосредственно после этого разговора мне пришлось быть очевидцем его спора с Г. В. Плехановым по вопросу о феодализме в России...».

Несколько странно звучит это предложение именно двухчасовой беседы, вперед оговоренное Владимиром

---

* Деньги удобнее всего послать денежным пакетом, через почту **(Примечание Ленина.)**

Ильичем. Но если предстояла еще встреча с Плехановым и до нее оставалось два часа, то совершенно естественно было предложить Водену в это время побеседовать и покататься на лодке.

12. БЕРЛИН. ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА. РАЗДУМЬЯ. ТРУДЫ

Неизвестно, сколько времени прожил Владимир Ильич на курорте, на сколько дней заезжал в Женеву и Цюрих, но в Берлин он приехал в самом конце июля или в начале августа. Это было вполне легальное пребывание: он не скрывал своего адреса (Фленсбургерштрассе, 11/12, в районе Моабит, рядом со станцией железной дороги «Бельвю»). Дом, в котором он поселился, был типичным доходным домом в этом районе. Квартиры были с низкими потолками, небольшими окнами, газовым освещением, плохонькой меблировкой. Населяли его рабочие, пенсионеры, мелкие служащие.

Владимир Ильич регулярно писал матери о подробностях быта. О политических событиях и своих связях, разумеется, не упоминал. Жаловался, что с трудом понимает берлинский говор.

«Плохую только очень по части языка: разговорную немецкую речь понимаю несравненно хуже французской. Немцы произносят так непривычно, что я не разбираю слов даже в публичной речи, тогда как во Франции я понимал почти все в таких речах с первого же раза», — писал он 10 августа.

Знание немецкого языка с детства помогло Владимиру Ильичу освоиться с берлинским произношением, и через две с половиной недели он писал домой: «Теперь уже немножко освоился и понимаю несколько лучше, хотя все-таки очень и очень еще плохо».

В этот приезд Владимир Ильич тесно общался с Вильгельмом Адольфовичем Бухгольцем. Это был знакомый Ульяновых по Самаре, а в Берлине он теперь ведал транспортом нелегальной литературы через контрабандистов.

Прошлое Бухгольца — он был исключен из университета и выслан из Петербурга в связи со студенчески-

ми волнениями 1887 года — естественно, сблизило его с семьей Ульяновых. Для них человек, хоть косвенно причастный к событиям рокового 1887 года, человек, который помнил Александра Ильича, представлял особый интерес. В Самаре Ульяновы и Бухгольцы были знакомы домами. Теперь это знакомство очень облегчило пребывание Владимира Ильича в Берлине. Бухгольц достаточно наторел на тонком деле пересылки нелегальных транспортов, знал Берлин, несколько лет до того учился в Швейцарии и мог быть полезен практическими советами.

Вместе они обсудили дела, которые предстояли Владимиру Ильичу в Берлине, вместе бродили по городу, вместе отыскивали в «Vorwärts'e» извещения об интересных рабочих собраниях.

Такое собрание должно было состояться 3 августа в рабочем предместье «Friedrichswege» (округ Niederbarnim). Выступать должен был социал-демократический депутат Артур Штадтхаген. Решено было отправиться туда обязательно.

Доклад Штадтхагена об аграрной программе социал-демократии Владимир Ильич прослушал внимательно. Выработку такой программы он считал одним из важных дел русской социал-демократии, и странно ему было, что германские социал-демократы спорят о том, нужна ли вообще особая аграрная программа для рабочей марксистской партии.

Теперь, когда он от Водена узнал, что Энгельс считает разработку аграрного вопроса насущной задачей русских марксистов, казались ни с чем не сообразными сомнения германских социал-демократов в том, что такая программа необходима. Что же, немцы думают обойтись в борьбе без вовлечения в нее крестьянства? Не дают ему лозунгов? Не открывают перед ним перспектив?

Оказалось, что Штадтхаген отрицает необходимость аграрной программы вообще и оспаривает каждый ее пункт в частности.

К этой позиции Владимир Ильич отнесся отрицательно, но, когда Бухгольц признал доводы Штадтхагена убедительными, он от полемики уклонился. Сказал только:

— Уверен, что если вы вдумаетесь в постановку во-

проса Штадтхагеном, то недолго останетесь на его позициях.

Другого он сказать и не мог. Знал твердо, что аграрная программа нужна, что она будет к тому моменту, когда российское крестьянство поднимется на царя и помещика. Революционные марксисты помогут союзнику рабочего класса найти правильный путь к свободе и земле.

Одной из задач Владимира Ильича в Берлине было установление связей с редакцией социал-демократической газеты «Vorwärts».

Не имея своих газет, ни легальных, ни нелегальных, российские марксисты были заинтересованы в выходившем легально центральном органе германской социал-демократической партии.

«Vorwärts» широко распространялся не только в Германии, но и в других странах, говоривших на немецком языке (Австрия, Швейцария), через него можно было осведомлять рабочего читателя этих стран о положении рабочего класса России, о его борьбе против произвола хозяев, полиции, чиновников.

В «Vorwärts'е» можно было предать гласности секретнейшие документы российского деспотизма, разоблачить антинародные мероприятия царского правительства.

Посещение редакции Владимир Ильич откладывать не хотел, и 6 августа во второй половине дня они двинулись туда вместе с В. А. Бухгольцем.

Как постоянный корреспондент «Vorwärts'а» по России, Бухгольц знал там и людей и порядки.

Этот первый визит в газету надолго запечатлелся в памяти Владимира Ильича. Вместо характерной для редакции обстановки — оживленных споров с секретарем об объеме заметок, вторжений к дежурному редактору с жалобами, что снимается уже заверстанный материал, сотрудники сосредоточенно корпели за столами, как будто дело их было не к спеху.

В кабинет редактора доступа никому не было. Там шла работа над корректурой передовой статьи, почему-то не заготовленной заранее, не взятой из редакционного портфеля...

Бухгольцу, избалованному обычным вниманием к себе знакомых журналистов, сразу бросилась в глаза

их замкнутость, официальность тона, явно свидетельствующая, что всем не до него.

Вместо ответа на вопрос, можно ли пройти к редактору с приехавшим из России товарищем, секретарь отрицательно покачал головой и, взяв со стола еще не просохший оттиск первой полосы, протянул его Бухгольцу.

— Friedrich Engels todt! * — воскликнул потрясенный сообщением Бухгольц.

Это был заголовок передовой статьи, взятой в черную рамку. Далее следовала телеграмма:

«Берлин, 6 августа 1895. Мы получили из Лондона следующую депешу:

Лондон, 6 августа, 2 часа дня.

Вчера вечером, в 10 часов 30 минут, тихо скончался Энгельс. С полудня он был без сознания».

Передовица занимала полторы колонки, а за нею шла биографическая статья «Фридрих Энгельс».

Трагический исход болезни наступил, и Энгельс, как извещал «Vorwärts», тихо, без мучений умер.

— Если хотите, возьмите себе этот оттиск, — сказал секретарь редакции, увидя, какое впечатление произвело сообщение на русских посетителей.

Стоя у окна, прочитали они эту полосу, молча вышли из редакции, молча ходили по Берлину, молча расстались у дома, в котором остановился Владимир Ильич. Трудно было освоиться с мыслью, что Энгельса нет больше...

Умер испытанный вождь сознательных рабочих всего мира, соратник Маркса, друг и советчик российских революционеров, пристально следивший за судьбами революционного движения в России, связывавший с ним лучшие надежды...

Дома Владимир Ильич несколько раз перечитал телеграмму. Бережно сложил полосу и сунул в боковой карман. Удастся ли провезти ее через границу? Вряд ли, но здесь он обратится к этому номеру «Vorwärts'a» еще не раз.

Утром 7 августа, направляясь к станции городской железной дороги, он издали увидел необычное оживление у газетного киоска. Понял, что тяжелая весть

* Фридрих Энгельс скончался! (нем.).

всколыхнула рабочий Берлин. С горечью подумал о том, что в России имя Энгельса известно только небольшой кучке передовых рабочих... Весь день он не мог отвлечься от мыслей о смерти Энгельса. Они как по кругу возвращались к соратнику великого Маркса.

«Человечество стало ниже на одну голову и притом самую значительную», — писал Энгельс Ф. А. Зорге 15 марта 1883 года, после смерти Маркса.

В течение двенадцати лет Энгельс стоял на посту, продолжая его дело. А сейчас? Во всем цивилизованном мире не было вождя, ученого и учителя, более замечательного, более авторитетного, чем Энгельс. 5 августа он окончил свой жизненный путь. Кто же теперь поднимет выпавшее из его рук знамя? Кто из социалистических лидеров может заменить его? Владимир Ильич вспомнил, что сказал ему Алексей Воден, советуя поехать в Лондон.

— Такого человека вы никогда в своей жизни не встретите... Нет такого другого...

Нет другого? Но теперь нет и самого Энгельса... «Какой светильник разума угас. Какое сердце биться перестало!..»

Энгельс умер, и теперь уже нельзя будет порадовать его задуманными марксистскими сборниками для русских рабочих.

Вместо юбилейной статьи по поводу его семидесятипятилетия сборник откроется некрологом. Имя и жизнь его должны быть знакомы каждому рабочему. Так думал Владимир Ильич в этот день. Так он и начал некролог для первого номера «Работника».

По-видимому, именно с этого момента в Берлине началась работа над статьей «Фридрих Энгельс». Оттуда она была переслана в Швейцарию вместе с другими материалами, полученными Бухгольцем из России. Странно было бы, работая в берлинской Королевской библиотеке, откладывать статью до возвращения в Россию, откуда так затруднены были сношения с группой «Освобождение труда».

Не потому ли в письмах к Аксельроду из России в ноябре 1895 года Владимир Ильич среди рукописей, посланных в Цюрих для «Работника», не упомянул о статье-некрологе? Забыть о самом важном материале для № 1 «Работника» он не мог; не упомянуть о статье

мог только в том случае, если она уже была у Аксельрода.

Возможно, что копию он умудрился провезти в Петербург. На допросе после ареста в декабре 1895 года он показал, что обнаруженная у него при обыске рукопись под заголовком «Фридрих Энгельс» является переводом статьи из венской газеты «Neue Revue» *. Был ли это действительно перевод? Не был ли это вариант его собственной статьи, провезенной тайно через границу? До сих пор установить это биографам Ленина не удалось.

Статья «Фридрих Энгельс» признана историками и биографами Ленина образцовой. Нельзя не удивляться тому, с каким мастерством Владимир Ильич в коротком очерке сумел не только изложить основы учения Маркса и Энгельса, но и остановиться на злободневных вопросах идейной борьбы в России.

Подробно рассказал он об отношении Маркса и Энгельса к русскому революционному движению. «Героическая борьба малочисленной кучки русских революционеров с могущественным царским правительством находила в душах этих испытанных революционеров самый сочувственный отзвук». Он написал и о том, что «поползновение ради мнимых экономических выгод отворачиваться от самой непосредственной и важной задачи русских социалистов — завоевания политической свободы — ...являлось в их глазах подозрительным и даже прямо считалось ими изменой великому делу социальной революции».

Это было предостережение нарождавшемуся «экономизму», попыткам столкнуть рабочих к борьбе за подачки. Кто лучше Владимира Ильича понимал опасность таких попыток для молодого, неокрепшего движения в России? Кто больше, чем он, был встревожен этой опасностью?

Некролог Фридриху Энгельсу Владимир Ильич увидел напечатанным спустя несколько лет, по возвращении из ссылки. Он шел как передовая в первом сборнике «Работника» ранней весной 1896 года, когда Владимир Ильич уже был в петербургском Доме предварительного заключения.

* «Новое обозрение» (нем.).

* * *

Об образе жизни Владимира Ильича в Берлине мы можем до некоторой степени судить по его письмам Марии Александровне. До нас дошли три письма, написанные с 10 августа по 7 сентября. В первых двух письмах Владимир Ильич писал:

«Устроился я здесь очень недурно: в нескольких шагах от меня — Tiergarten * (прекрасный парк, лучший и самый большой в Берлине), Шпре, где я ежедневно купаюсь, и станция городской железной дороги. Здесь через весь город идет (над улицами) железная дорога: поезда ходят каждые 5 минут, так что мне очень удобно ездить в «город» (Моабит, в котором я живу, считается собственно уже предместьем)...

...Третьего дня был в театре; давали «Weber» ** Гауптмана. Несмотря на то, что я перед представлением перечитал всю драму, чтобы следить за игрой, — я не мог уловить всех фраз».

«29/VIII.95.

...Живу я по-прежнему, и Берлином пока доволен. Чувствую себя совсем хорошо, — должно быть, правильный образ жизни [переезды с места на место мне очень надоели, и притом при этих переездах не удавалось правильно и порядочно кормиться], купанье и все прочее, в связи с наблюдением докторских предписаний, оказывает свое действие. Занимаюсь по-прежнему в Königliche Bibliothek ***, а по вечерам обыкновенно шляюсь по разным местам, изучая берлинские нравы и прислушиваясь к немецкой речи...

...Берлинские Sehenswürdigkeiten **** посещаю очень лениво: я вообще к ним довольно равнодушен и большей частью попадаю случайно. Да мне вообще шлянье по разным народным вечерам и увеселениям нравится больше, чем посещение музеев, театров, пассажей и т. п...»

Хоть Владимир Ильич и писал, что случайно попадает в театры, но выбор им спектакля «Ткачи», кото-

---

* Зоопарк (нем.).
** «Ткачи» (нем.).
*** Королевской библиотеке (нем.).
**** Достопримечательности (нем.).

рый он смотрел 8 августа в Немецком [Deutsches] театре, на Шуманштрассе, был далеко не случаен. Постановка этой пьесы Г. Гауптмана на столичной сцене расценивалась в Германии как политическое событие. Впервые зрители увидели на сцене рабочих, восставших против зверской эксплуатации капиталистов. Их борьба, стихийная, неорганизованная, но самоотверженная, была правдиво отражена Гауптманом. Это был сколок самой жизни, а образы рабочих поражали полнокровностью и убедительностью. Владимира Ильича эта пьеса привлекла социальной остротой и актуальностью еще летом прошлого года, когда его старшая сестра Анна Ильинична переводила ее на русский язык для нелегального издания, советуясь с ним в ходе этой работы. Пьеса была издана и широко распространялась среди рабочих Москвы и Подмосковья, а Владимир Ильич читал ее в одном из руководимых им петербургских кружков.

* * *

Трудно сказать, с какого дня начал работать Владимир Ильич в Королевской библиотеке. Несуразное ее здание в просторечии называлось «Комодом» *. В книгах выдачи было указано, что он получал литературу с 15 августа, а сданы книги были 21 сентября.

Среди взятых им книг не значится «Святое семейство» К. Маркса и Ф. Энгельса. Возможно, что книга была выдана не из общего фонда, а из фонда редчайших изданий и потому не была отражена в записях. Как удалось получить разрешение для работы над ней, мы тоже не знаем. Сохранилось письмо Г. В. Плеханова, датированное им 6 мая 1896 года, то есть написанное спустя год после встречи с Владимиром Ильичем и адресованное, по-видимому, Францу Мерингу. Г. В. Плеханов писал:

«Многоуважаемый товарищ!

Хотя я не имею чести быть с Вами лично знакомым, я беру на себя смелость горячо рекомендовать Вам одного из наших товарищей. Этот товарищ остановился проездом в Берлине для того, чтобы прочесть в библиотеке «Святое семейство» Маркса — Энгельса. Однако администрация отказала ему в выдаче этой книги. Зная, что у Вас имеется этот труд, я был бы Вам очень благо-

* Оно разрушено до основания во время последней войны.

дарен, если бы Вы были любезны предоставить его на короткое время нашему товарищу...»

Перед нами — неоспоримое свидетельство того, какими трудностями было обставлено для социалистов знакомство с книгой, сохранившейся до наших дней в нескольких экземплярах!

Владимир Ильич преодолел эти трудности и прочитал «Святое семейство» в Берлине. Вероятнее всего, он получил доступ к книге по ходатайству Вильгельма Либкнехта, так как считается неоспоримым фактом, что именно его рекомендовал Г. В. Плеханов Либкнехту в письме, написанном 14 сентября 1895 года.

«Мой дорогой друг! — писал Г. В. Плеханов. — Рекомендую Вам одного из наших лучших русских друзей. Он возвращается в Россию... Он расскажет Вам об одном, очень важном для нас, деле. Я уверен, что Вы сделаете все от Вас зависящее. Он сообщит Вам также новости о нас...

Преданный Вам Г. Плеханов».

Так или иначе препятствия были преодолены, и до нас дошел замечательный конспект «Святого семейства», составленный Владимиром Ильичем со всевозможной тщательностью.

Вчитываешься в этот конспект, и перед глазами невольно возникает картина раннего утра в Королевской библиотеке. Владимир Ильич в тихом зале просматривает свежие газеты в ожидании, когда подадут заветный томик — небольшую, почти квадратную книжечку. На титульном листе (списанное им точно) полное название книги:

Die heilige Familie
oder
K r i t i k
der
kritischen Kritik.
Gegen Bruno Bauer und C°
Von
Friedrich Engels und Karl Marx
Frankfurt a/M
Literarische Anstalt
(I. Rütten)
1845 *

* Фридрих Энгельс и Карл Маркс. Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра и К°. Франкфурт-на-Майне. Литературное издательство (И. Рюттен). 1845.

Как приятно было держать в руках эту первую совместную работу Маркса и Энгельса! Какое наслаждение вчитываться в полное веселой злости оглавление!

Марксу было в 1845 году столько же лет, сколько Владимиру Ильичу теперь, а Энгельс был двумя годами моложе! Наверно, они много смеялись, обсуждая содержание будущей книги-памфлета и трех глав, написанных Энгельсом. (Все, что успел он сделать в течение десятидневного пребывания у Маркса в Париже.)

Большую часть книги написал Маркс; Энгельс увидел ее уже изданной. Но как, должно быть, радовался каждый из них тому, с какой свободой и каким блеском книга срывала маску псевдоучености с надутых чванством братьев Бауэр и обнаруживала реакционную сущность их идеек!

А потом они вместе думали над тем, что еще не вылилось во вполне зрелую, законченную теорию научного социализма (скоро ее станут называть марксизмом), но к чему они шли с бесстрашием первооткрывателей...

Владимира Ильича книжка взволновала. Он понимал негодование Маркса и Энгельса по адресу западноевропейских «аристократов мысли», презиравших «непросвещенную чернь» — пролетариат...

Своим отношением к народу, к рабочим — «врагам духа», как называл их Бауэр, «невежеством и нищетой осужденным на преступления», «не имеющим будущего», они напомнили Владимиру Ильичу «друзей народа». Те тоже презирали «тупую толпу» и возвеличивали «мыслящих героев». Те тоже издевались над людьми, стремившимися помочь рабочим стать сознательными социалистами.

Прошлой зимой Владимир Ильич разоблачил этих «аристократов духа». Но не одно еще новое поколение породит своих идеологов мещанского индивидуализма, и снова и снова надо будет разоблачать глупость и пошлость самовлюбленной «элиты»...

Конспект «Святого семейства» начинается точнейшим описанием внешнего вида книги, кратким изложением отдельных глав (с отметками, что принадлежит К. Марксу, что Ф. Энгельсу). Тщательность, даже педантичность в описании книги, мельчайших подробностей библиографического порядка не заслоняют от Владимира Ильича главного ее значения как этапа в выра-

ботке Марксом и Энгельсом материалистического миро-воззрения. Излагая содержание главы, посвященной Прудону, он записывает и свой вывод об эволюции взглядов Маркса:

«Маркс подходит здесь от гегелевой философии к социализму: переход наблюдается явственно — видно, чем уже овладел Маркс и как он переходит к новому кругу идей».

Вот он прослеживает политико-экономические взгляды Маркса и снова резюмирует:

«Это место характерно в высшей степени, ибо показывает, как Маркс подходит к основной идее всей своей «системы», sit venia verbo *, — именно к идее общественных отношений производства».

Мимоходом отмечает он сатирический характер книги, насмешки Маркса и Энгельса над издаваемой Бруно Бауэром и К° «Всеобщей литературной газетой», ее тематикой, приемами изложения, извращением исторических фактов и т. п. Но только мимоходом. Его внимание сосредоточено на другом.

Идеи, родственные волнующим вопросам российской действительности, — вот во что вглядывается Владимир Ильич, конспектируя «Святое семейство».

Он выписывает как будто нарочно предназначенную для российских «друзей народа» издевательскую характеристику Бруно Бауэра, объявившего критику «творцом истории на деле»:

«На одной стороне стоит масса как пассивный, неодухотворенный, неисторический, *материальный* элемент истории; на другой стороне — *дух, критика,* г-н Бруно и компания как элемент активный, от которого исходит всякое *историческое* действие. Дело преобразования общества сводится к *мозговой деятельности* критической критики».

Можно себе представить, с каким удовлетворением обнаружил Владимир Ильич в «Святом семействе» эту характеристику западноевропейских «критически-мыслящих личностей»; ведь всего за год до того он сам с убийственным сарказмом высмеял Михайловского, самоуверенно утверждавшего, что социализм возникает по рецепту, указанному «друзьями народа», а не в резуль-

* Да будет позволено так сказать (латин.).

тате борьбы масс за свое освобождение, борьбы «армии пролетариев», подготовляющей «экспроприацию капиталистов».

Но не меньшее внимание Владимира Ильича привлекает проникновение Маркса в общие закономерности освободительного движения. Не раз в своих трудах Ленин обращался к почерпнутой в «Святом семействе» мысли Маркса о том, что:

«Вместе с основательностью исторического действия будет... расти и объем массы, делом которой оно является».

Как подтвердилась эта закономерность опытом русской революции! Не тысячи и не десятки тысяч, а миллионы борцов были втянуты в грандиозное дело разрушения старого мира и, разрушив его, с такой же основательностью создают новый.

Как подтверждается она в наши дни опытом международного коммунистического движения, охватившего все континенты земного шара!

Драгоценная тетрадка с конспектом была благополучно провезена через границу.

Кроме «Святого семейства» и работы Энгельса «Военный вопрос в Пруссии», Владимир Ильич прочитал в Берлине ряд капитальных трудов о крестьянской реформе 1861 года, мемуары, связанные с проведением реформы, литературу, посвященную декабристам. Все эти книги в России достать было невозможно, а они были необходимы для понимания пореформенной России.

* * *

В последние дни перед отъездом Владимир Ильич был особенно загружен и озабочен. Бухгольц получил из Вильны очередной нелегальный транспорт с материалами для будущего № 1 «Работника».

К этим материалам надо было отнестись очень внимательно. Корреспонденции, написанные неопытными авторами, после появления в печати могли навести охранку на след и корреспондента, и марксистского кружка. В Цюрих П. Б. Аксельроду надо было отправить их отредактированными.

Владимир Ильич взялся за них, стараясь не изменить ни содержания, ни по возможности стиля и языка рабочих авторов.

Но среди полученного оказался документ, который было очень заманчиво напечатать в «Vorwärts'е». Владимир Ильич побывал там снова.

К этому времени публикация статей об Энгельсе закончилась, в редакции установился обычный ритм работы. К документу, принесенному Владимиром Ильичем, отнеслись с большим интересом.

Российские правительственные нравы отражались в нем, как солнце в малой капле вод. Это было совершенно секретное письмо министра внутренних дел И. Н. Дурново обер-прокурору святейшего Синода К. П. Победоносцеву о положении в воскресных школах для рабочих.

Кто-то из полицейских или синодальных чиновников скопировал его для петербургских марксистов. Такие случаи бывали частенько: меньшая братия в министерствах не прочь была подложить свинью начальству. Документ был переслан Владимиру Ильичу друзьями с явным расчетом напечатать его за границей.

Воскресные школы были у полиции как бельмо на глазу. Без них обойтись было невозможно: на фабриках, при машинах нужны грамотные люди. Но в этих школах учителям жалованье не платили. Учила рабочих бескорыстная молодежь: студенты, курсистки, служащие. Многие из них были тесно связаны с подпольем, многие были марксистами. Занятия с рабочими были для них делом священным.

Учились рабочие не только грамоте и счету, но набирались и других, запрещенных, знаний.

Под видом занятий по географии им рассказывали о жизни рабочих в передовых странах, о законах, охраняющих труд, об успехах стачечной борьбы за границей.

Во время «объяснительных чтений» оживала русская история, да не история царей, а история народных движений, история подвигов простых людей во время войн и бед народных.

Полгода таких занятий — и рабочий новыми глазами смотрел на свое положение и свое будущее. Не один десяток учеников из этих школ ушел в нелегальные кружки, сотни стали убежденными революционерами.

Как тут было Дурново не волноваться? Теперь шпионы доставили ему программу одной из московских

школ, в которой предполагалось знакомство рабочих с историей крестьянских восстаний со времен Разина и Пугачева.

Да только ли это! Рабочим собирались разъяснять, как распределяются богатства в государстве: заработная плата рабочих, прибыли капиталистов, доходы помещиков!.. Это переполнило чашу терпенья, и Дурново писал Победоносцеву, что такая программа «дает полную возможность лектору ознакомить постепенно слушателей и с теориями Карла Маркса, Энгельса и т. п.».

Правда, правительство установило контроль за школами. Полиция проверяла «благонадежность» учителей. Преподавать можно было чтение, письмо, счет, да и то с оговоркой: четыре правила арифметики — можно, дроби — нельзя.

Но кому поручен этот контроль? Духовному ведомству! Что от такого контроля толку?

Дурново писал Победоносцеву (не устоял перед соблазном подпустить шпильку духовному ведомству), что «присутствующее по назначению епархиального начальства лицо едва ли будет в состоянии уловить в чтении начатки социал-демократической пропаганды».

Так писал главный полицейский — министр внутренних дел — всесильному Победоносцеву, призывая его начать поход против рабочих школ.

Письмо так и просилось в «Vorwärts». Но требовалась изрядная работа. Надо было перевести его на немецкий язык, умело сократить (газета не терпит пространных материалов), снабдить статьей, вводящей немецкого читателя в курс российских порядков.

Положим, перевести письмо мог и Бухгольц, но над статьей, по-видимому, пришлось потрудиться Владимиру Ильичу *.

Надо было успеть прочитать корректуру (и не один раз, как это полагается во всякой газете).

Этой работой Владимир Ильич был занят в последнюю неделю своего пребывания в Берлине. 15 сентября статья под заголовком «Секретное письмо господина Дурново Победоносцеву» появилась в «Vorwärts'е». Дурново получил сомнительное удовольствие прочитать свое

* Архив „Vorwärts'a", не сохранился, и рукопись не разыскана.

«совершенно доверительное» послание с комментариями русских марксистов.

Оставалось два-три дня до отъезда Владимира Ильича из Берлина, а набежало еще одно важное дело. Оказалось, что товарищи, занимавшиеся конспиративной почтой, не умели обрабатывать нелегальную литературу и письма. Пришлось Владимиру Ильичу и здесь заняться обучением «технике». Он научил их превращать в картон брошюры и письма. Растолковал и показал, «как это делается». Как писать тушью, склеивать листы особым клеем, обкладывать подходящей белой бумагой, прессовать, сушить. Как такой картон, отмочив в теплой воде, осторожно разобрать на составные части, высушить и вернуть отдельные страницы в первоначальное состояние.

Хлопот оказалось так много, что 16 сентября, работая последний раз в библиотеке, Владимир Ильич, видимо, только просмотрел выписанную в этот день книгу Нойбургера «Россия при Александре III» (более 370 страниц), а уж сдавал ее и несколько других значившихся за ним книг, по-видимому, Бухгольц 21 сентября, когда Владимир Ильич пересек границу России.

Последним делом Владимира Ильича в Берлине была организация отъезда на родину. Он задумал провезти через границу нелегальную литературу. Как ни опасна была эта операция, как ни зарекался Владимир Ильич от риска, а соблазн захватить с собою недозволенный груз был так велик, что пришлось подумать о чемодане с двойным дном.

Анна Ильинична вспоминала впоследствии об этом:

«Зная, что на него вследствие его семейного положения смотрят особенно строго, Владимир Ильич не намеревался везти с собой что-нибудь недозволенное, но за границей не выдержал, искушение было слишком сильно, и он взял чемодан с двойным дном. Это был обычный в то время способ перевозить нелегальную литературу... Работа производилась в заграничных мастерских чисто и аккуратно».

Это было серьезное дело и требовало серьезного обдумывания: что брать, в каком количестве, как бы не зарваться.

Помогли в этом деле немецкие социал-демократы. За годы «исключительного закона» против социалистов они научились перебрасывать нелегальную литературу в

Германию из-за границы. Имелись люди, выполнявшие по поручению партии заказы на изготовление чемоданов, папок, альбомов, в которые заделывалась нелегальщина. Владимиру Ильичу был указан адрес такого специалиста (Mansteinstraße, 3). Имя его, к сожалению, не установлено. Так появился чемодан с двойным дном (по другим сведениям — с пазухами в стенках).

В последние дни пребывания в Берлине Владимир Ильич много ходил по книжным лавкам, долго простаивал у лотков букинистов и потом, к великому своему ужасу, убеждался, что «с финансами опять... «затруднения»: «соблазн» на покупку книг и т. п. так велик, что деньги уходят черт их знает куда». Так писал он домой, прося выслать еще рублей 50—100.

Жизнью и работой в Берлине Владимир Ильич был доволен. За последние годы ему приходилось так ритмично работать, так разнообразно отдыхать, как это возможно только в чужой стране, где одни новые впечатления сменяются другими.

В начале сентября навалилась жара, трудно переносимая в густо застроенном Берлине, но Владимир Ильич купался ежедневно в Шпре и жару перенес сравнительно легко.

7 сентября он писал матери:

«Живу я здесь все так же и обжился уже настолько, что чувствую себя почти как дома, и охотно остался бы тут подольше, — но время подходит уже уезжать, и я начинаю подумывать о разных практических вопросах, вроде покупки вещей и чемодана, билетов и т. д. Не нужно ли чего-нибудь привезти? Я могу купить здесь всяких вещей в каком-нибудь большом магазине, и, как кажется, фабрикаты здесь дешевле нашего и, вероятно, лучше. Может быть, Мите нужны какие-нибудь книги — пусть напишет [напр., может быть, атлас какой-нибудь анатомический или какая-нибудь другая медицинская штука] и Маняша тоже. Если она не имеет ничего в виду, — может быть, ты или Анюта посоветуете мне что привезти ей. Я чувствую, что следует накупить разной дряни...»

Видно, очень хотелось Владимиру Ильичу побаловать и порадовать каждого члена семьи, да чуть-чуть растерялся он перед трудной задачей угадать, что может

быть приятно семнадцатилетней девушке-гимназистке и второкурснику-медику, младшему брату.

Эти заботы радовали и отвлекали от беспокойной мысли о переезде границы, о запрятанной в чемодан нелегальной литературе, о таможенном досмотре и его последствиях. Но благоразумие отступило перед характерным для русского человека соображением: не всякий же чемодан осматривают. Рискну!

13. ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Если бы только знал Владимир Ильич, какой прием ждет его в Вержболове (пограничный пункт с русской стороны границы), вряд ли решился бы он нагрузить чемодан нелегальщиной.

Все дело было в том, что паспорт он получил без волокиты и заблаговременно. Выдал его петербургский градоначальник фон Валь на основе сведений охранки, собранных с 1 января 1894 года по 1 января 1895 года.

Сведения были благоприятные. Охранка сообщала, что в этот год «в образе жизни Владимира Ильина Ульянова, сына действительного статского советника, бывшего студента... ничего предосудительного не замечалось».

Фон Валь 2 мая известил об этом полицию, как полагалось извещать о каждом поднадзорном, выезжавшем за рубеж, — после того, как отъезд состоялся.

Департамент полиции тоже не спеша, 26 мая, направил всем начальникам пограничных пунктов циркуляр о наблюдении за возвращением «в пределы империи... находившихся за границей подозрительных лиц, с указанием, как надлежит поступить с каждым».

Владимир Ильич значился в этом списке под номером двадцать вторым, и в отношении его предписывался «тщательный досмотр багажа и о направлении избранного пути уведомить департамент полиции и начальника подлежащего жандармского управления для продолжения надзора полиции по положению 1 марта 1882 года».

Но в следующем документе, поступившем в полицию после отъезда Владимира Ильича, он шел номером пер-

вым. Это был список охранки о лицах, «на коих падает подозрение в принадлежности к социально-революционному обществу». Упоминался он в списке не как «бывший студент», а как помощник присяжного поверенного округа С.-Петербургской судебной палаты.

Охранка давала ему другую характеристику, она-то и повлекла за собою дополнительные меры полиции:

«Брат казненного государственного преступника Александра Ульянова и с 1887 г. состоит под негласным надзором полиции. Известен отделению с 1888 года вследствие сношений с высланным впоследствии в Зап. Сибирь Виктором Бартеневым. Вместе с бр. Ванеевыми, Василием Старковым, сестрами Невзоровыми, Верой Сибилевой и др. стоит во главе кружка, занимающегося революционной пропагандой среди рабочих, и в интересах этого кружка, для приобретения революционных связей, 25 минувшего апреля выбыл за границу».

Дополнительно фон Валь сообщал полиции, что деятельность этого кружка выразилась «в выпуске брошюры, озаглавленной «Что такое «друзья народа» (появились I и III выпуски; выпущены Старковым и Ульяновым)».

Пришлось департаменту полиции привлечь к слежке за Владимиром Ильичем заграничную охранку.

«Ввиду полученных об Ульянове неблагоприятных сведений» 6 июля заведующему заграничной агентурой П. И. Рачковскому направляется предписание:

«Состоящий под негласным надзором полиции помощник присяжного поверенного... Владимир Ильин Ульянов 25 апреля сего года выехал за границу...

По имеющимся в департаменте полиции сведениям, названный Ульянов занимается социал-демократической пропагандой среди петербургских рабочих кружков, и цель его поездки за границу заключается в приискании способов к водворению в империю революционной литературы и устройства сношений рабочих революционных кружков с заграничными эмигрантами.

Сообщая о сем, прошу вас учредить за деятельностью и заграничными сношениями Владимира Ульянова тщательное наблюдение и о последующем уведомить».

Так обеспечивала охранка наблюдение за Владимиром Ильичем за границей, встречу его на пограничном пункте и слежку по пути в Петербург.

Трудно сказать, удалось ли агентам Рачковского разведать что бы то ни было о пребывании Владимира Ильича у Плеханова и Аксельрода.

На допросах в мае 1896 года Владимир Ильич категорически отрицал сношения с эмигрантами, в частности с Г. В. Плехановым. Отрицал пребывание в Женеве и близ Женевы. А жандармский полковник Филатьев, хоть и ссылался на свидетельские показания о встречах с Плехановым, назвать свидетелей не мог (еще бы, ведь это могли быть только шпики Рачковского!). Не исключено, впрочем, что о свидетелях он просто врал, а о знакомстве с Плехановым говорил по догадке.

Владимир Ильич был достаточно осторожен, да и Плеханов с Аксельродом сделали все от них зависящее, чтобы их молодой друг не был выслежен.

В Берлине Владимир Ильич также соблюдал все правила конспирации и слежки за собой не замечал. Этим, возможно, отчасти объяснялось хорошее его самочувствие.

По-видимому, в обратный путь Владимир Ильич тронулся 18(6) сентября, так как 19(7) прибыл в Вержболово.

Дорога до границы была неприятна. Старался Владимир Ильич углубиться в газеты, в беллетристику (он захватил в дорогу «Les paysans» * Бальзака), но из подсознания назойливо пробивалась мысль о чемодане. Он ловил себя на том, что не помнит предыдущей страницы романа, перечитывал ее еще раз, потом откладывал книгу в сторону, вглядывался в мелькавшие за окном пейзажи, но неизменно отвлекался и от них. Мысль обращалась к четырем месяцам заграничной «свободной» жизни, к беседам со «стариками», острым спорам с Плехановым, к его образу.

Строгие глаза блестели из-под нависших бровей, шутка пополам со злостью, гневная речь по адресу противников вдруг сменялись внимательным, вопросительным взглядом. Точно спрашивал Георгий Валентинович, согласен ли с ним собеседник. Точно искал сочувствия и поддержки, точно важнее всего для него

---

* Крестьяне (франц.).

было убедиться, что перед ним единомышленник, точно только реплики собеседника воодушевляли его и доброжелательные ответы на них само собой разумелись.

Все это переживалось снова и радовало... но...

— Но недоступная черта меж нами есть... — вдруг вырвалось у Владимира Ильича вслух.

Сосед по купе вопросительно взглянул на него: он не знал по-русски.

— Простите! — по-немецки сказал Владимир Ильич. — Здесь душно. Позвольте мне открыть окно?

Сосед ответил солидно:

— Jawohl. Bitte schön! *

* * *

Теперь, располагая документами охранки, мы можем точно сказать, что чемодан сомнений у таможенников не вызвал, хоть и перевертывали его так и этак, хоть и прищелкнули и по дну и по крышке, как полагалось. Владимир Ильич знал, что таким образом, по звуку, обнаруживают они двойное дно...

Можно представить себе охватившую его досаду! В пять минут рухнет весь план задуманной работы, все, ради чего он ездил в Женеву, а теперь так спешил на родину. Сейчас чемодан отнесут в кабинет жандармского полковника, его попросят туда же... и...

Но почти толчком таможенник сдвинул чемодан в его сторону, и Владимир Ильич, всем видом показывая полное равнодушие, не спеша привел в порядок перевороченные вещи, запер крышку на два замка и вышел из помещения таможни.

«Хорошо сработали немцы! Не подвели... Спасибо!»

Кто пережил минуты ожидания неминуемой катастрофы и вышел из нее невредимым, тот знает потрясающий всего человека переход от напряжения всех сил к мгновенно наступившей легкости, свободе, какой-то озорной беспечности.

Анна Ильинична вспоминала, что Владимир Ильич буквально сиял после благоприятного исхода досмотра на границе.

Теперь его беспокоило другое: договариваясь с Аксельродом о тайнописи и о заклейке писем и брошюр в переплеты книг, он не проверил точно рецептов клея и симпатических чернил.

* Конечно. Сделайте одолжение! (нем.).

В Берлине с этим не справлялись. Может быть, и в Цюрихе не справятся?

Граница позади, и не так-то просто будет сообщить рецепты Аксельроду.

Эта промашка не давала ему покоя. В первом же письме в Цюрих надо предупредить, что клейстер для склейки брошюр и писем должен быть очень слабым (чайная ложка на стакан воды, а для обложки — чуть покрепче). Что писать надо китайской тушью, добавляя в нее хромпик ($K_2Cr_2O_7$). Только с добавлением такого кристаллика текст не смывается... Надо сообщить об этом срочно...

А пока он досадовал на себя, что не проверил своевременно, как обстоят дела с «техникой» у «стариков».

* * *

Рапорт начальника Вержболовского пограничного отделения Петербургско-Варшавского жандармского полицейского управления железных дорог в департамент полиции от 7 сентября 1895 года № 170:

«Сего числа прибыл из-за границы указанный в циркуляре департамента полиции от 26 мая с.г. за № 4254 сын действительного статского советника Владимир Ильин Ульянов, по паспорту с.-петербургского градоначальника от 15 марта с.г. за № 720, и направился, судя по купленному билету, в гор. Вильну.

По самому тщательному досмотру его багажа ничего предосудительного не обнаружено. О чем доношу департаменту полиции.

Ротмистр Шпейер».

16 сентября начальник Виленского губернского жандармского управления сообщал туда же:

«Имею честь донести департаменту полиции, что начальник Вержболовского пограничного отделения... сообщил мне о прибытии 7 сего сентября из-за границы сына действительного статского советника Владимира Ильина Ульянова... который, судя по купленному билету, направляется в г. Вильну. Собранными же негласным образом справками пребывания означенного Ульянова в г. Вильне до настоящего времени не обнаружено.

Полковник Черкасов».

А в Вильне Владимир Ильич был!

В первом же письме П. Б. Аксельроду из Петербурга он писал:

«...Буду рассказывать по порядку. Был прежде всего в Вильне. Беседовал с публикой о сборнике. Большинство согласно с мыслью о необходимости такого издания и обещают поддержку и доставление материала...»

Слово «Вильна» в письме было зашифровано, как условились с Аксельродом. К нему сделана сноска: «Ключ тот же, которым мы пользовались».

Провел Владимир Ильич жандармов в Вильне, провел и в Петербурге: избавился от чемодана, забросив его к студенту Сережникову на Гороховую, тут же распотрошил, с тем чтобы книжки срочно развезти по разным адресам и по возможности пустить в ход. Появление их в большом количестве могло навести охранку на мысль о прибытии из-за границы солидного нелегального транспорта, но пока еще трудно было ей догадаться, кто его доставил. Владимир Ильич в Петербурге не прописался. После напряжения, уловок и предосторожностей в этот первый день в Петербурге он, усталый и измотанный, должен был с последним поездом уехать в Москву, замести следы.

Счастье еще, что спутницы по купе взяли двух носильщиков и его чемодан утонул в бездне баулов, картонок, дорожных саков. Только у пролетки извозчика вынырнул он из этой массы и оказался в ногах у того, почти невидимый прохожим.

На вокзале Владимира Ильича не выследили. Видимо, охранка, получив сообщение, что он в Вильну не заезжал, встречала его на два-три дня раньше. Теперь же его жандармы не ждали, и на Гороховую к Сережникову он добрался без соглядатаев. Квартира была надежная, слежки за Сережниковым не замечалось.

Счастливо избежав встречи с дворником, Владимир Ильич не задержался там ни на одну лишнюю минуту. Но в подъезде остановился, помедлил. Прежде всего надо посмотреть назад, вперед он посмотреть успеет. Сзади ничего подозрительного не было. По тротуару медленно, опираясь на железный аршин, шел разносчик-татарин с тяжелым, двух-трехпудовым тюком сарпинок, ситцев, сатина. Фигура с детства хорошо знакомая, надежная. Шпиком он быть не мог: шпик всегда налегке. Владимир Ильич пошел, опережая татарина. Не-

неподалеку стояла стайка девочек-школьниц, а дальше виднелась вполне благопристойная чета: солидный мужчина вел под руку нарядную щебечущую даму. Все вокруг чисто. Предосторожности ради попетлял Владимир Ильич по переулкам и уже в густые сумерки оказался на Гродненской.

Не мог он в этот первый вечер в Петербурге не узнать новостей, не зайти к ней... к его преемнице.

Через две ступеньки поднялся он по темноватой лестнице и стукнул согнутым пальцем не в дверь, а в стену. Комната Надежды Константиновны выходила стеной на площадку. Терпеливо подождал, не раздастся ли ответный стук. Стена откликнулась, а через минуту в проеме распахнувшейся двери появился легкий девичий силуэт, освещенный со спины несветлой лампой из передней.

Лица ее он не мог разглядеть, только серебристым нимбом просвечивали волосы вокруг головы. А она увидела его просиявшее улыбкой лицо.

— Не ждали? — спросил Владимир Ильич тихо.

— Ждала. Пора уж... — ответила она и отступила, чтоб пропустить его в узкую переднюю.

— Времени у меня в обрез. Исчезаю и появлюсь снова в конце месяца...

Она остановилась у комода и, не глядя в зеркало, подобрала и заколола на затылке косу.

— Покормить вас?

— Некогда. Выпью чего-нибудь охотно.

Она вышла на минуту и вернулась с поливным кувшинчиком и стаканом.

— Любимая ваша простокваша.

Владимир Ильич, не отрываясь, отпил из кувшина добрую половину.

— Вернусь, все расскажу подробно. Все удалось, все складывается как нельзя лучше...

Надо было уходить, да впечатления буквально рвались наружу, и, следя за минутной стрелкой часов, он коротко рассказал о Плеханове, о Париже, об удаче с заездом в Вильну. Не выследили. Чистым в Петербург приехал. И литературу в чемодане не обнаружили.

— С чемоданом я чуть не влетел! Так нет, и тут повезло, а трухнул я здорово!

— Неужели вы при себе литературу везли? Ну, это чудо, что вы у меня, а не в предварилке.

Внимательные серые глаза глядели на него так тепло, с такой укоризной...

— Черт попутал... Не устоял. А после досмотра зарок дал: вперед уж искушению не поддамся. Себе дороже!

Время летело, а Надежда Константиновна снова вышла из комнаты.

Владимир Ильич откинулся на спинку стула, отдыхая. Посидел минуту. Потом наклонился к столу. Свет лампы под зеленым абажуром падал на раскрытый томик Пушкина, на лежащий рядом самоучитель английского языка.

В стороне — стопка тетрадей, почтовая бумага, конверты, чернильница с монограммой на серебряной крышке. Точь-в-точь так выглядел стол Ольги... И вся атмосфера здесь та же!

Надежда Константиновна вошла с рабочей корзиночкой матери.

— Хорошо у вас. Зеленая лампа. Пушкин... А ехать все-таки надо!

Она протянула ему клубок шерсти.

— Подержите, пожалуйста.

Быстро перемотала шерсть на кусочек картона, и в руках у Владимира Ильича оказался жесткий, перегнутый много раз листок школьной тетради.

— Угощаю вас любопытным документиком. Мне его тетушка («Тетка» — было прозвище Александры Михайловны Калмыковой) для вас передала. Тут всем сестрам — по серьгам. А Тулину, пожалуй, всех больше.

Владимир Ильич пробежал глазами убористо написанный листок.

— Заключение цензуры на сборник? Я знаю уже, что его сожгли... Любопытно!

Он углубился в рукопись, а потом, потряхивая бумажкой, весело взглянул на собеседницу и сказал:

— А ведь цензор не лыком шит! Смотрите, как ловко пересказал и меня и Георгия Валентиновича. Не отречешься! Говорил я, что наше государство — поборник и союзник капитализма, эксплуатирующего народный труд? Говорил! Говорил Плеханов, что средство для освобождения от эксплуатации — в рабочем движении? Неоднократно! Вот и мотивировано резюме: о вредном направлении, «клонящемся к потрясению основ», да еще ссылка, что это не частное мнение авторов, а «программа русских последователей Маркса»... А посему: «на

основании статей цензурного устава», ну и так далее... «10 мая 1895 года. Цензор Матвеев».

Он помолчал и вернул ей листок.

— Предадим сие священному сожжению... — А затем, едва удерживая улыбку, с каким-то почти ребяческим задором похвалился: — А мы второй сборник затеваем. И материал уже идет. Лафарг статью для него дал... Да и за нашими авторами дело не станет. Будет работка Матвеевым, на их век хватит.

Он встал, задержал на секунду протянутую ему на прощанье руку, потом крепко пожал ее.

— Я улетучиваюсь недели на две, пока рассосется литература, пока чемодан сгинет. Мне надо в Москву и еще кое-куда. Прощайте!

* * *

Владимиру Ильичу положительно везло. По приезде в Москву он забежал на службу к Марку Тимофеевичу, чтобы узнать адрес семьи, и вдруг оказалось, что все еще на даче! Вот это была удача! Можно было обойтись без прописки, не отсиживаться до темноты во избежание встреч с дворником, с околоточным, еще несколько деньков прожить без утомительной конспирации.

Вместе с Марком Тимофеевичем двинулись они в Бутово (по Курской дороге). Веселым, сияющим запомнился в этот приезд Владимир Ильич родным. Рад был, что удачно провел охранку, провез нелегальщину; радовался, что успел отделаться от злополучного чемодана, что ни в Питере, ни по дороге в Москву слежки за собой не заметил.

— Ты не очень обольщайся, — охладила его Анна Ильинична. — Не всегда арестуют сразу, иной раз отпустят с миром, а там уж захватывают не одного, а десятерых: и тех, кто принимал, и тех, кто распространял. Солидней «дело» получается. Впрочем, сейчас об этом не стоит... Мама идет, а она и так о наших делах знает больше, чем хотелось бы. Поговорим попозже.

Вечером, за чайным столом, в присутствии Марии Александровны, рассказывая о поездке, Владимир Ильич не касался знакомства с Плехановым и Аксельродом, не говорил ни о чем, что могло вселить в нее тревогу.

Делился впечатлениями от встреч со старыми дру-

зьями Бухгольцами и Шухтами, передавал поклоны, рассказывал о заграничном укладе и быте, непохожем на наш, российский, о порядках в Королевской библиотеке.

— Ты знаешь, Анюта, как рад я был, что в марте, когда мы слушали лютню, я не повел вас с мамой смотреть «Ганнеле»! Мне тогда друзья все уши прожужжали про эту постановку... Нет, не с «Ганнеле» надо начинать знакомство с Гауптманом. Я писал тебе о «Ткачах»! Очень своевременно перевела ты их на русский.

О Париже Владимир Ильич говорил увлеченно. Оживленная картина предместий, уличные сценки, непринужденность рабочих на массовых собраниях и митингах, благородный образ Лафарга вставали перед глазами собеседников так, как увидел их рассказчик, в движении, в полноте красок и переживаний...

— Ты положительно влюблен в Париж, Володя, — сказала Мария Александровна, покачав головой.

— В Париж предместий? Влюблен. И останусь влюбленным. Там — человеческий материал для будущих классовых битв... Там традиции, темперамент, инициатива...

Анна Ильинична укоризненно посмотрела на него и круто повернула разговор в сторону.

— Ты до сих пор не показал нам, что привез для Мити и Маруси. Думаешь, нам не интересно?

Когда Мария Александровна и младшие брат и сестра разошлись по своим комнатам — кто отдыхать, кто работать, — Владимир Ильич спросил Анну Ильиничну о Спонти. Смущало его, что Евгений Иванович не зашел к Ульяновым. Ведь об этом условились, прощаясь, в Женеве. Ощупью искать связей с ним не хотелось: только что прошли аресты, можно влететь...

— Не арестован ли сам «учитель жизни»?

— Кого ты имеешь в виду?

— Евгения Ивановича. Этим прозвищем его наделили в Женеве...

— Очень смешное... смешное, потому что меткое. Подходит к нему и для клички хорошо.

Марк Тимофеевич отозвался:

— Вполне возможно, что и он сел. Почти всю крупную рыбу выловили...

— Рыбу выловили — икра осталась... — сказал Вла-

димир Ильич. — Подождем немного. Отыщется след Тарасов... На вас пока одна забота: соберите поточнее материал о здешних стачках — мы перешлем в Цюрих. Мне бы теперь с Исааком Христофоровичем связаться. В Пензе — глушь, ничего серьезного ждать нельзя. Хочется о планах его узнать, сборник ему переслать.

— Разве ты, Марк, не можешь помочь Володе? — спросила Анна Ильинична.

— Само собой. Лучше меня не будет оказии. Еду в Самару, завезу сборник в Пензу. Готовьте к утру письмо, Володя. Уезжаю чем свет!

Аресты летом 1895 года затронули не только Москву. В Орехово-Зуеве, куда поехал за материалами для сборников Владимир Ильич, тоже было неблагополучно.

В письме П. Б. Аксельроду он так описывал эту поездку:

«...был в Орехово-Зуеве. Чрезвычайно оригинальны эти места, часто встречаемые в центральном промышленном районе: чисто фабричный городок, с десятками тысяч жителей, только и живущий фабрикой. Фабричная администрация — единственное начальство. «Управляет» городом фабричная контора. Раскол народа на рабочих и буржуа — самый резкий. Рабочие настроены поэтому довольно оппозиционно, но после бывшего там недавно погрома осталось так мало публики и вся на примете до того, что сношения очень трудны. Впрочем, литературу сумеем доставить».

Как всегда осмотрительный, Владимир Ильич не захватил в Орехово нелегальные книжки; Анне Ильиничне пришлось их припрятать и ждать, пока друзья из Орехова сами найдут способ переправить их из Москвы. Были там сочувствующие, но не взятые на подозрение интеллигенты.

Несколько дней, прожитых на даче после возвращения из Орехово-Зуева, Владимир Ильич отдыхал, в Москву без крайней нужды не ездил. Лишний раз попадаться на глаза шпикам, наводнявшим Курский вокзал, было ни к чему.

Приезд Лалаянца, так быстро откликнувшегося на его письмо, был очень кстати. Можно было обсудить планы работы на ближайшее время, потолковать, как и о чем писать для заграничного сборника, просто отвести душу в дружеской беседе.

Намерение Лалаянца перекочевать из Пензы в Ека-

теринослав Владимир Ильич очень одобрил. В Екатеринославе были крупные заводы, была и социал-демократическая организация, довольно успешно работавшая. Кое-кого из ее членов Владимир Ильич знал. Правда, и там были большие провалы, кто «жив», кто «сел», неизвестно: тем более надо было ехать туда и восстанавливать разрушенные связи.

— Это вы хорошо придумали, — говорил Владимир Ильич Лалаянцу. — Езжайте в Екатеринослав без колебаний. Это не сонная Пенза. А люди там нужны. Вот только явка верная, возможно, провалилась. Да и о заработке заблаговременно надо подумать. Впрочем...

После обеда Владимир Ильич исчез, как будто растворился в сумерках, и вернулся часа через два-три.

— Получайте, Исаак Христофорович, — он протянул ему незапечатанный конверт. — Идите по этому адресу не сомневаясь. Сказано мне, что человек верный. Устроит вам какую-нибудь работенку — бедствовать не будете!

Лалаянц взглянул на конверт. Письмо было адресовано в Управление Екатерининской железной дороги, кому-то из высшей иерархии.

И где только Владимир Ильич его раздобыл?!

* * *

1 октября петербургская охранка переслала в департамент полиции справку:

«Состоящий под негласным надзором полиции:
Фамилия — Ульянов
Имя — Владимир
Отчество — Ильин
Звание — дворянин
Прибыл 29 сентября 1895 г. в С. Петербург и поселился в д. № 44 по Садовой ул., 3 участка Спасской части».

Теперь-то и началась за Владимиром Ильичем слежка.

Он был готов к этому, но дело осложнилось тем, что от Сережникова удалось по частям вынести только привезенную литературу. Чемодан все еще был на его квартире, и теперь надо было срочно уничтожить эту главную улику сношений с эмигрантами, от которых шли в Россию нелегальные издания.

Анатолий Александрович Ванеев при первой же встрече с Владимиром Ильичем в день его возвращения в Петербург сказал, что слежка идет вовсю и за всеми и что из-за нее-то Сережников до сих пор не избавился от чемодана. Владимир Ильич был явно озабочен.

— Откладывать, я думаю, это дело нельзя. Я отдал документы на прописку. Может, завтра еще тени за мной не будет — попробуем рано утром увезти чемодан по «чистому» адресу. Перебросим его разок-другой, если понадобится, а там уж придется утопить его, что ли.

Ванеев решительно запротестовал. Мыслимое ли дело самому Владимиру Ильичу попасться с такой уликой? Довольно он рисковал на границе.

Решили так: Ванеев с одной из знакомых курсисток заедет за чемоданом на Гороховую. Если будет выслежен — дальше отправит девицу одну, а сам останется, чтоб шпика при себе удержать. А Владимир Ильич денек посидит на своей новой квартире, не высовывая никуда носу.

Но утром 30 сентября от самого дома Ванеева и его спутницу сопровождал охранник. В донесении он сообщал, что Ванеев, нахлобучив шапку и спрятав нижнюю часть лица в воротник плаща, на извозчике вместе с Сибирской доехал до дома 48 по Гороховой, один вошел в дом, вынес оттуда чемодан желтой кожи, и Сибирская увезла его на том же извозчике.

«На Гороховую в это время приходил Ульянов, но, не войдя в дом № 48, удалился».

Не выполнил Владимир Ильич наказа Ванеева — отсидеться дома — и сразу же убедился, что охранка с него бдительных глаз не спустит.

Теперь вопрос стоял так: кто кого перехитрит. Пока же за ним шли по пятам. Отметили, что в этот день он заходил на Невский, 139, в дом, населенный рабочими, а 1 октября на 7-ю линию Васильевского острова, что пробыл там три часа, а вышел вместе с Кржижановским.

К этому времени Владимир Ильич уже знал, что и его, и его друзей не арестовывают немедленно только потому, что охранка надеется установить поточнее их связи с рабочими и захватить всех разом.

Надежда Константиновна писала позже, что слежка

за ним была «бешеная»: «следили за ним, следили за чемоданом. У меня двоюродная сестра служила в то время в адресном столе. Через пару дней после приезда Владимира Ильича она рассказала мне, что ночью, во время ее дежурства, пришел сыщик, перебирал дуги (адреса в адресном столе надевались по алфавиту на дуги) и хвастал: «Выследил вот важного государственного преступника Ульянова, — брата его повесили, — приехал из-за границы, теперь от нас не уйдет... Я, конечно, сейчас же предупредила Владимира Ильича...»

Значит, надо было спешить. Центр для руководства нелегальной работой в Петербурге был необходим в предвидении арестов. Нельзя было допустить, чтобы после ареста руководителей сеть рабочих кружков разорвалась на не связанные между собою ячейки. Надо было укрепить сношения с марксистами в других городах, направить туда литературу. А главное, связать с ними преемников, которые уцелеют после провалов. Надо было предотвратить разрыв в переписке с группой «Освобождение труда», обеспечить доставку для «Работника» корреспонденций из фабричных районов России.

Надо было продолжать работу в кружках, втянуть в них новых рабочих, подрастить смену.

Эта работа поглощала все время, все силы, требовала сноровки, конспиративных навыков, а людей было мало, и о разделении труда не приходилось говорить. Все выбивались из сил.

А слежка, как потом вспоминал Г. М. Кржижановский, приобрела «загадочные» формы. Как ни заметали следы, выходя из дома, Владимир Ильич и его товарищи, а шпик появлялся вдруг как из-под земли, не в начале, а в конце пути. По-видимому, адреса, по которым они ходили к рабочим, были уже известны охранке, становилось известно и время назначенных занятий. Значит... значит, не обошлось и без провокаторов, втиравшихся и в кружки марксистов, и в рабочие кружки.

* * *

В сумрачное ноябрьское утро Анна Ильинична приехала из Москвы проведать Владимира Ильича. И ей и Марии Александровне не терпелось узнать, как он устроился, здоров ли, начал ли адвокатскую практику.

Владимир Ильич после наполовину бессонной ночи еще спал, когда сестра разыскала его квартиру. Движение в передней разбудило его. Он услышал приглушенный голос квартирной хозяйки, сокрушавшейся, что жилец засиживается за работой допоздна, и поморщился. С кем это судачит почтенная матрона?

Но вот раздался знакомый смех: приехала Анюта! Владимир Ильич быстро привел в порядок и себя, и комнату и вышел в гостиную, где, не желая его будить, ждала Анна Ильинична.

— Благодарю вас, — сказал он хозяйке. — Сестра пройдет ко мне. Я попрошу самовар.

— Ты сдал и осунулся за это время, Володя, — сказала Анна Ильинична, вглядевшись в его лицо.

— Я недоспал сегодня. Вполне здоров. Устаю изрядно. Хлопот сейчас много. Ты вовремя приехала, у меня к тебе как раз есть просьба...

Хозяйка сама внесла самовар.

— Девушка ушла в аптеку... Я не хотела задерживать... Я...

Анна Ильинична сухо поблагодарила. Она не терпела назойливости.

— Стоило ли вам беспокоиться?

Поболтать, удовлетворить любопытство хозяйке не удалось, пришлось удалиться.

— А где чемодан, Володя? — спросила Анна Ильинична, оглядывая комнату.

— Славу моему чемодану поют! Анатолия Александровича спроси, как изловчился он утопить его в Обводном канале!

— Прямо гора с плеч! Устроим поминки по дорогому покойнику. Ведь кожаный, кажется, был? Мама на неделю мне припасов положила. А что же леченье твое — все насмарку?

— В драке волос не жалеют. Спешить надо, а продержаться необходимо подольше... Мы серьезное дело затеяли.

За чаем, рассказав о московских новостях, Анна Ильинична спросила:

— Так какая же просьба, Володя?

— Не пускай сюда маму, если меня арестуют. Подумать не могу, что ей опять придется иметь дело с Третьим отделением...

— Это я тебе обещаю.

Владимир Ильич повеселел.

— Ты ее не тревожь пока. А тебя я порадую.

Он присел на корточки около шахматного столика и, отвинтив шишечку единственной его толстой ножки, вытащил из нее скатанную в рулон рукопись.

— Почитай. Будешь первым беспонятным читателем. Скажешь свое мнение.

— «К русским рабочим», «О чем думают наши министры?», «Фридрих Энгельс», «Ярославская стачка 1895 года», — читала заголовки статей Анна Ильинична. — Что это за статьи, Володя?

— Как видишь, от передовой до репортажа — для рабочей газеты. Надеюсь, успеем выпустить ее до ареста...

Анна Ильинична внимательно читала рукописи, время от времени поглядывая на брата. Он, улыбаясь, наблюдал за впечатлением, какое они производят.

— Отлично! — сказала она, дочитав. — Здорово ты поддел Дурново, ядовито. Главное — написано ясно и просто, любой рабочий и сам прочитает с пользой, и с товарищами поделится. А что, ты думаешь, вам недолго гулять осталось?

— Да наблюдение уж очень бесцеремонно стало. По пятам ходят.

Владимир Ильич со смехом рассказал, как, выбившись из сил, чтобы отделаться от шпика, он круто повернул и быстро пошел ему навстречу. Тот нырнул и притаился в глубоких воротах, а Владимир Ильич проскочил мимо ворот в подъезд дома и сел в кресло швейцара. Выбежав на улицу, шпик потерял след и заметался.

— Через стекло я мог все наблюдать и хохотал, глядя, как он мечется, не зная, куда бежать.

— Коли так, тебе надо немедленно «почиститься». Разве можно хранить при себе такие статьи?!

— Само собой... Еще день-два — и улик у меня не станет. Все предусмотрено...

Анна Ильинична вздохнула: все предусмотрено — и выпуск первой рабочей газеты, и арест... и ссылка... Хорошо, если только ссылка!

* * *

В пятницу, 8 декабря, возвращаясь со службы, Надежда Константиновна с удовольствием подумала о том,

что вечер она скоротает с матерью. Мама очень устает за перепиской.

Она зашла в кондитерскую за сухарями, халвой, лимоном (не зря же ее с детства дразнят сладкогрызкой) и поднялась к себе, уверенная, что застанет мать за работой.

Оказалось, что Елизавета Васильевна отдыхает. Бумаги с того края стола, за которым она обычно работала, убраны, скатерть постелена во всю его длину, блестящий медью поднос ждет самовара, любимые чашки на столе, посреди красуются два горшочка гиацинтов. Хрупкие, благоухающие колокольчики голубеют и розовеют на своих стеблях, притягивают, ласкают взгляд.

— Откуда? Мама, откуда это? — воскликнула Надежда Константиновна.

— Вот посмотри, визитная карточка...

— «Александра Кирилловна и Иван Николаевич Чеботаревы поздравляют дорогую Елизавету Васильевну с днем рождения. Шлют лучшие пожелания». Что за странность? Какое рождение? Да Чеботаревы с тобою-то незнакомы...

— Ты пойди в свою комнату, посмотри, что там...

Елизавета Васильевна прошла вперед, зажгла лампу, и Надежда Константиновна поняла сразу, чьих рук это дело. У ее кровати стоял шахматный столик.

— Это столик Владимира Ильича, мама. Одно из двух — или он «чистится», или его уже забрали.

Она стояла в раздумье. Условный стук в стену разрешил сомненья. Она ответила таким же стуком и бросилась к двери.

— Я уж не знала, что думать...

— А я перемудрил, кажется? Не хотелось мне самому везти к вам этот стол. За ним прислали от Чеботаревых, а уж записку придумал я. Предупредить не успел. Наверно, Елизавета Васильевна диву далась?

— Отвыкла я за последнее время удивляться. К тому же гиацинтам обрадовалась. Чай готов. Прошу вас.

— Да я не один. Сейчас Анатолий придет. Поработаем вместе. А сначала чай, разумеется.

Это было последнее совещание, на котором с начала до конца прочитали весь материал, готовый для первого номера «Рабочего дела». Обсудили окончательный текст, и Анатолий Александрович, уходя, взял один экземпляр рукописи с собою для окончательного просмотра.

— Второй экземпляр положим на свое место, — сказал Владимир Ильич и спрятал рукопись в ножку стола. Ласково похлопал ладонью по крышке. — Служил ты хозяину много, в последний разок послужи! — И засмеялся: — Оставлю его вам в наследство... Надо быть готовым, да я и готов. Вам в случае чего все недоделанное за нас доделать придется. С Елизаветой Васильевной я не простился...

— Она, наверно, уснула. Я передам ей, что вы поздно ушли. А мне какой наказ вы даете на всякий случай?

Владимир Ильич внимательно посмотрел ей в глаза, задумался.

— Не наказ. Дела мы все обсудили. Есть — просьба. — Он поколебался немного и кончил: — Не навещайте меня в предварилке. Пусть приходят непричастные к нашему делу. Мама, сестры, брат. Хоть и небольшая, а все соблюдена будет конспирация.

Надежда Константиновна молча наклонила голову, молча прошла в переднюю. Он опередил ее и, прислонившись спиной к входной двери, добавил.

— Я не хочу, чтобы вы были моей невестой... по поручению... А... вы?

Она подняла на него сияющие глаза. Они ответили: «Я... тоже». А вслух сказала:

— Ну, конспирация так конспирация! Будь по-вашему!

— В воскресенье вечером я зайду. Как обычно. Мы дополним и разработаем эту тему...

Он крепко пожал двумя руками ее руку и радостный побежал вниз по лестнице.

В эту ночь почти вся их группа была арестована.

■



Александр ГОВОРОВ

ЗВЕЗДНАЯ БАЛЛАДА

А он летел к Земле своей.
И, пересверкивая немо,
Таинственно
Кружилось небо
В мельчайших капельках огней.
И вспомнилось:
Во ржи...
Тогда... —
Прохладны стебли, словно струи,
Шурша, стекали, как вода...
А здесь —
Разбитый звездолет,
Лишь по инерции летящий,
И космос, душу леденящий.
Душа — она пока живет.
И рвется вновь —
Туда, туда —
К Земле,
Заголубевшей капле,
Покамест руки не ослабли,
Пока не грянула беда,
И воздух есть,
И пища есть,
И есть надежная защита,
И вычисленная орбита,
Способная его донесть
До голубеющей Земли...
А там — весна.
А там — зима.

А там — в большом и добром небе
Вытягивает дождик стебель
Весной из каждого зерна.
Его ласкают ветерки.
А осенью
К любой низинке,
Как распушенные зверьки,
Колючие летят снежинки,
Чтоб в землю павшее зерно
От холода не простудилось,
Здоровым, бодрым пробудилось
И вновь воспрянуло весной.
И солнышко б обволокло
И до корней его прогрело,
И вдоволь хлебушка бы ело
Родное русское село!

...В родном Тиму
Узнают люди с состраданьем:
«...При выполнении
Заданья...»
Правительство как знак вниманья
Поставит памятник ему.
Ему! — летящему сквозь ночь
Звездою яркою падучей...

О, сколько звезд пронзает тучи,
Земле вверяя свет и мощь,
И прах! —
Чтоб прахом стать Земли,
Чтобы на горке иль низинке,
Вот рядом здесь
Иль там, вдали,
Прибавилось бы полпылинки.

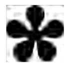
До атмосферы
Дотянул.
Вела надежда, словно крылья,
Ночное небо
прочеркнул
Искрящейся
Мельчайшей пылью.
И долго вспыхивал восток,

И долго
Искорки мерцали...

Он — Сын Земли!
Сыны всегда —
На грани радости-печали...
Быстра ли,
Медленна ль езда
В неосязаемые дали.

Вон снова звездочка летит.
Упала...
Долгое мерцанье...

Я загадал сейчас желанье:
Уйти вот так бы мне в зенит!
Уйти
И так же переплыть
Мерцающие мирозданья,
До бесконечности продлить
Души высокие желанья,
Влекущие в такую даль,
В почти немыслимые дали.
О, кто сказал:
Черна печаль?
Он вам солгал —
Светлы печали!
И не рыдай,
Старушка-мать,
И сердце горечью не мучай...
Хочу на Землю я упасть
Хотя бы звездочкой падучей!..





Анатолий ЗАЯЦ

ДИПТИХ

1

Тонет небо
В сплошных кумачах,
День из сказки
И небо из сказки.
Я сижу у отца на плечах,
Шестилетний такой,
Первомайский.

И поет
Довоенный народ,
Флаги круто летят отовсюду.
Это счастье
Во мне не умрет,
Если даже я в горе пребуду.

2

Вьюжной ночью
Окно дребезжит.
Черный ветер гудит
Допотопно.
Извещенье о смерти
Лежит

На столе,
Как на камне
Надгробном.

За оврагами
Ворон орет,
И слетают снега на запруду.
Это горе
Во мне не умрет.
Если даже
Во счастье пребуду.

* * *

Хочу тебя видеть
Оттуда,
Где мерно гудит танкодром,
Где в синем дыму незабудок
Тяжелый колышется гром.

Хочу тебя видеть
Оттуда —
Семнадцати девичьих лет,
В сплошной синеве
Незабудок
Идущую
В тихий рассвет.

Хочу тебя видеть
Оттуда —
Во вспышках зарниц
Голубых.
И ждущую писем,
Как чуда,
Со знаками почт полевых.

Вовеки с тобою пребуду,
Но все же —
Сейчас и потом —

Хочу тебя видеть
Оттуда,
Где мерно
Гремит
Танкодром.

* * *

Заплутались годы
В трех соснах.
Мир огромен,
Гулок и безбрежен.
Я все чаще детство вижу в снах.
А себя, таким как есть, все реже.

Все длиннее осени мои,
Все короче
Весны и июли.
Где вы запропали,
Где уснули,
Детства золотые соловьи?

Все неразличимей лица тех,
С кем делил
Последний хлеб и угол
В дни моих печалей и утех,
Проходя и городом, и лугом.
А листва
Когда-то юных вишен
Облетает тихо на жнивье.

Между тем
Становится все ближе
Родина,
Дыхание ее.
В сумерках,
В туманах,
В ковылях:
Высветляя горизонт ночами,
Родина встает,
Как в детстве шлях,
Что конца не ведал и начала.
Вот она

На грани лет и зим
Колыхнулась синим небосклоном
Над селом
Над милым
Над моим,
Белостенным,
Золотооконным.

Вот она,
В четыре стороны
Разметав черемуховый холод,
Вот она,
Минуя три сосны,
Через сердце
Медленно проходит.





Валентин КОЛУМБ,
лауреат премии Марийского комсомола

* * *

Моя деревня
Медленно и долго
Жила, пока не пробил час,
Когда
Плотиной люди
Подковали Волгу,
Как вожжи,
Натянули провода.

В том ничего
Особенного нету,
Что, эти вожжи в руки взяв,
Смогла
Моя деревня
Устремиться к свету
Из темного
Медвежьего угла.

КАК ПОЙМАТЬ ЖАР-ПТИЦУ

Еще туман,
Густой и грузный,
Лениво по лугам бродил,
А я знакомой тропкой в кузню
Легко и празднично входил.

Таинственно светились лица,
В горнило
жарко
Мех дышал.
И я строптивую жар-птицу
Который раз в руках держал!

Она шипела и сердилась,
Играла радужным хвостом,
Она еще собой гордилась,
Своим пылающим гнездом.

Но молот успевал лишь взвиться,
И в кузне
Расступалась мгла —
Выбрасывала чудо-птица
Два звездных,
огненных крыла.

Ходили под льняной рубахой
Лопатки,
И спирало дух,
Как будто птица
С каждым взмахом
Стремилась вырваться из рук.

Она взлетела б и умчалась —
Комок железа и огня,
Но постепенно приручалась,
Как будто поняла меня.

Она сверкала в новом плуге,
Своим трудом сама горда.
Девчонка лучшая в округе
В меня влюбилась навсегда.

Деды́ мне руку жали крепко,
Смотрели бабы вслед добро,
Как будто у меня на кепке
Горело красное перо!

* * *

> **Кто не был в море, тот от души богу не молился.**
>
> **Поморская пословица**

Как раскачает море
Грозный Север,
Соленый вал подымет
На дыбы.
И, словно через сито,
Он просеет
Крупицы человеческой судьбы...

Мне тяжела
С родным селом разлука,
Как моряку без моря,
Хоть реви!
С холма на холм,
С излуки на излуку
Несет меня
Девятый вал любви.

Бушует счастье,
Песне сердца вторя,
Когда бросаюсь в штормы
Спелой ржи.
Кто не тонул хоть раз
В том хлебном море,
Земле не поклонялся
От души!

ЗАКЛИНАНИЕ

Я вышел в поле.
Начинался сев.
И, вспомнив годы детства,
Озорно
Я в горсть набрал,
На корточки присев,

Литое,
Солнцетворное зерно.

И, как сеятель в старину,
Я шепчу зерну:
— Ты ложись, зерно,
Как к звену звено.
Вырастай, зерно,
Высоко, ровно.
Ложись вдвоем,
Вставай всемером.
Будет пусть колосков
Сорок сороков —
Больше, чем муравьев
В муравейнике!

Перевел с марийского
Владимир Костров



Владимир **ДАГУРОВ**

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вот прожил я до середины
отмеренной жизни земной,
и дело не в том, что седины
прокрались в мой чуб смоляной.

Познал я в родительском доме
исконное чувство семьи,
и нет ему равного, кроме
понятья родимой земли.

Спасибо, что честную службу
я ведал с мальчишеских дней,
и клятву свою не нарушу —
всегда быть достойным друзей.

Мгновенье прекрасно — поверьте:
попробуй-ка останови
дыхание жизни и смерти,
паденья и взлеты любви.

Спасибо за то, что работа,
как хлеб и как воздух, нужна,
до крови,
                    до черного пота
и до непробудного сна.

Пришло, наконец, равновесье
в раздумьях, поступках, словах.
Я в зрелость вступаю. Я весел
и трезв на своих торжествах.

НА УЛИЦЕ МОЕГО ДЕТСТВА

На улице моего детства
стоял дощатый барак.
Его сколотили в эпоху
голода и революции.
Сто человек в нем жило
без всяких житейских благ,
с полным отсутствием мысли
жилье поменять на лучшее.
В единственном коридоре —
единственная плита,
и пламя в печи металось
одно на всех, разумеется.
Не возникало обиды,
хотя была теснота, —
хорошая поговорка
на этот случай имеется.
И если гуляли свадьбу,
то всех созывали к себе.
Драка случалась — мигом
кончали сие безобразие.
За годы совместной жизни
возникла общность в судьбе
жильцов, которые были
люди, в сущности, разные.
Для всех наигрывал вальсы
приемник у Фомина,
и бабушка Пелагея
для всех покупала продукты.
И двадцать второго июня,
когда началась война,
все, словно одно семейство,
сгрудились у репродуктора.
И было мужское молчанье,
и женский сдавленный вой,
и вскоре из-под Бобруйска
первая похоронка:
погиб смертью храбрых за Родину
гвардии рядовой
Роман Алексеевич Новиков —
семнадцатилетний Ромка.

Вскипал Севастополь в гневе,
пылал Сталинград в огне.
Пеплом вздымались в небо
Майданек, Хатынь, Освенцим...
Среди населенья барака,
как и во всей стране,
мало было мужчин
и меньше еще младенцев...
На улице моего детства
взмыли в небо дома,
и огласилась окрестность
шумными новосельями.
Бульдозеры сокрушили
старый барак (эхма!)...
Барак сровняли с землей,
с бараком сровняли землю.
Люди, справляйте праздники!
Желаю вам всяких благ.
Но свято храните в сердце,
но крепко храните в памяти
улицу нашего детства,
низенький тот барак —
высоты его не теряйте,
живя на его фундаменте!





ПЕРЕКЛИЧКА МОЛОДЫХ ПОЭТОВ

Анатолий ИЛЬИЧЕВ
г. Иваново

ПОЛИТРУК

Он из Берлина все-таки вернулся,
Он от войны освободил весь свет.
Пришел к жене:
— Прости меня, Маруся,
Ведь у меня и рук-то больше нет. —
С разбега, прямо с лёта, с полдороги:
— За что ж ты, Вася, так, — побереги!.. —
Она, как сноп, упала мужу в ноги,
Руками обхватила сапоги.
И были слезы и горьки, и святы,
Не удержать которых, не унять.
И задрожали ноги у солдата, —
А как ее, родимую, отнять?..
Потом вошел он в дом —
Когда-то строил.
Присел. Скамья —
Перед войной строгал.
...Всю ночь рябины пели за стеною,
Кузнечик в палисаде стрекотал.
А поутру солдат зашел к соседям
И нашу избу тоже навестил,
С моим отцом о пахоте беседовал,
Конфетами сестренку угостил.
Из цепкой детской памяти не спишешь
И недругов, и искренних друзей.

И стал он лучшим другом для мальчишек
Старинной волжской улицы моей.
По праздникам не пил он, не ругался,
Не потому, что был солдат без рук.
Как политрук!
Он навсегда остался
Для нас — мальчишек — дядя политрук!

Андрей ЧЕРНОВ
Москва

НА ВОЙНУ

Сошелся клином желтый свет разлуки
Под окнами друзей. Ну что ж, пора!
Последнее «ни пуха ни пера».
Еще рывок — и разомкнутся руки.
Состав умчит солдата на века,
А он с подножки прокричит:
— Пока!

* * *

Старик был сух
И сгорблен, словно лук,
Который годы
Туго натянули.
Прижав к коленям
Беспокойство рук,
Он восседал
На невысоком стуле.
Я знал уже
Из хуторских речей:
Он слеп с войны.
Но как поверить в это,
Когда от белых солнц
Его очей
Морщины разошлись
Лучами света!

Альберт КРАВЦОВ
г. Тбилиси

НОЧНАЯ СМЕНА

Шестьдесят восьмая параллель —
это в тундре маленький поселок,
это рыщет дикая метель,
перехлесты взвихренных поземок.
Это след медвежьих грузных лап,
в черном небе всплеск цветного спектра,
это свет дневных электроламп —
краешек московского проспекта.
В этой жизни, кто душой богат,
совершает для себя открытия.
Снова парни из ночных бригад
хлопают дверями общежития...
Мы характер проверяли здесь
делом, песней — в праздники и будни.
Десять лет и зим Хантайской ГЭС
стали правдой о рабочих людях.
А шаги скрипят, скрипят, скрипят...
Пряча от крутой метели лица,
снова мы уходим в снегопад.
Пусть любимым в полночь крепче спится!

Юрий КАПЛУНОВ
г. Каменск-Уральский

В АРМИЮ

Перрон, неровный строй ребят,
Все так похоже, так знакомо:
Еще гражданские — стоят
Перед суровым военкомом.
Среди торжественного дня
Он по-отечески невесел.
Уже отхлынула родня,
И ждать настроились невесты.
Двадцатый век — и щит, и меч,
И вот опять в задорной силе
Его бессонницу стеречь

Уходит молодость России.
Гармошка, смех и плач девчат.
Вагоны трогаются плавно.
И молча матери кричат,
На сыновей утратив право.
Россия, выполнят сыны
Твое веление простое!..
И... снова — русское, святое:
«Служите! Не было б войны...»

Борис СМИРНОВ
г. Владимир

ВЕСНА ВО ВЛАДИМИРЕ

Проемы моста рты, как рыбы,
разинули
И льдины глотают —
куски рафинада.
Бунт солнца!
Бунт Клязьмы!
Весна во Владимире —
Моя голубая отрада!
Осада!
Апрельское войско испытано.
Бьют в стены тараны горячего
солнца.
Ручьи — на дыбы, —
Роет землю копытами
Весенняя конница.

Весной мы, как птицы высотные,
В края прилетаем родимые —
Встречаю весну в моем солнечном,
Моем долгожданном Владимире!

Мой город — художник.
Мой город — философ,
Отец мой,
наставник мой,
Ждущий вопросов.

Меня по-отцовски
Он щедро встречает.

На сотни вопросов
Моих отвечает.

...И сколько бы ни было
пройдено,
И как бы виски ни белели,
Владимир мой,
боль моя,
родина,
Во мне твое сердцебиенье.

Георгий ПРЯХИН
г. Ставрополь

* * *

В десяток расторопных топоров
Для погоревшей дом рубили миром.
А миру-то — четырнадцать дворов,
В леса вошедших журавлиным клином.
В воскресный день, трезва на удивленье,
Работала без песен и без мата
Мужская часть моей деревни
Под верховодством плотника Игната.

И принародно, за вершком вершок,
Где голосила голая труба,
Там поднималась, как ржаной пирог, —
Пахуча и проста,
Приземиста и угловата,
Без вензелей замысловатых, —
Для тетки Дарьи
новая
изба.
А тетка Дарья, как чужая,
Не видя собственных детей,
Простоволоса, в нитку губы,
Стояла в изголовье сруба,
Не суетясь, не помогая,
Как будто что-то постигая,
Еще неведомое ей.

Ефим ТИТОВ
г. Суздаль

* * *

Для меня неправда как обвал.
Скорбь моя не скоро отплывает.
Я не верю в маленький обман,
Маленьких обманов не бывает.

Не бывает и не может быть.
Нет той меры — больше или меньше.
Кто готов о верности забыть,
Чтоб завоевать вниманье женщин,
Чтоб себя по службе поднимать,
«Дружески» напакостив кому-то, —
Тот предаст и Родину, и мать
В самую тяжелую минуту.

...Я не верю в маленький обман.
Маленьких обманов не бывает.

Александр ВОЛИН
Москва

* * *

И вот возник Владивосток
В закате золотом,
И прежний радужный восторг
Пронзила мысль о том,
Что все осталось за кормой,
И времени река
Мой путь короткий и прямой
В песке материка
Измерит в недалекий срок...
Печальней и мудрей
Вхожу в родной Владивосток
Из марева морей...

МОЦАРТ

Как трудно после Моцарта
Услышать людный город!
Душа поет, и молится,
И рвется через ворот.
И вдруг услышишь ругань
И злобный визг трамвая.
Душа кричит: «Не трогай!»
Но волшебство прервали —
В затасканных мельканьях,
В автомобильных скрипах
Тоскливо умолкает
Небесный голос скрипок.
Протянуты по горлу
Покинутые струны.
Как трудно слышать город!
И отключиться трудно
Для мелочных эмоций
С бесстрастностью радиста
И знать, что умер Моцарт
И больше не родится!





QUIET
FLOWS
THE DON
静静的顿河
CAMPOS
ROTURADOS
m. šolochov
THE DON
FLOWS HOME
TO THE SEA
CHAIL SJOLOC
TILLE FLY
DON
ТИХИЯТЪ
ДОНЪ
LOCHOV
DON dil IV
SÔNG ĐÔNG
ÊM ĐỀM
Stille flyter Don
ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
ТОВАРИЩ



ИМЕНИ ЛЕНИНА 50

ударники

ПЕРВОЙ БОЕВОЙ военной школой комсомола и рабочей молодежи были октябрьские баррикады. Лучшие сыны рабочего класса рядом с коммунистами с оружием в руках сражались за власть Советов. Около пяти тысяч молодых пролетариев влились в ряды петроградской Красной гвардии, почти половину красногвардейцев Москвы составляла молодежь. Следуя призыву В. И. Ленина, молодежь в дни Октября была на самых трудных участках, принимала участие «во всех важных операциях».

В мае девятьсот девятнадцатого года комсомол провел первую всероссийскую мобилизацию, направив на борьбу с Колчаком тысячи лучших своих сынов. А осенью того же года новые отряды молодых бойцов влились в красноармейские полки, чтобы громить Деникина. И тогда же ушли комсомольцы защищать красный Питер, на который во второй раз повел свои отборные банды Юденич. Потом, в двадцатом, был Западный фронт, и барон Врангель, и десятки разных генералов, атаманов и «батек»... Более двадцати тысяч бойцов дал комсомол Красной Армии! Комсомольцы сражались в боевых частях в прифронтовых районах, становились чекистами, боролись в подпольных и партизанских отрядах...

В ознаменование героизма и боевых заслуг молодежи Советское правительство наградило комсомол орденом Красного Знамени.

После гражданской войны Коммунистический Союз Молодежи продолжал не покладая рук работать над укреплением боевой мощи Красной Армии. Уже III съезд РКСМ обязал всех комсомольцев, в том числе и девушек, пройти допризывную подготовку. Традицией стало комплектование передовой молодежью военных школ и курсов командного и инструкторского состава Красной Армии.

В октябре 1922 года V съезд РКСМ принял решение о шефстве над Красным Военно-Морским Флотом.

«...Недавно, уже в годы мира, когда рабоче-крестьянская молодежь России вновь получила возможность прильнуть к станку и к книге, — говорилось в Обращении съезда к морякам Красного Флота, ко всей трудящейся молодежи РСФСР, — мы все же сумели вывести более 2 тысяч комсомольцев из заводских кузниц и отдать их в ряды борцов за социалистическую республику — в Красный Военный Флот.

Этими комсомольцами, находящимися сейчас на бортах военных кораблей, мы кровно связаны с краснофлотцами».

Комсомольское шефство помогло превратить военный морской флот в крепкий бро-

...ВЗЯВШИСЬ ЗА НАШЕ МИРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, МЫ ПРИЛОЖИМ ВСЕ СИЛЫ, ЧТОБЫ ЕГО ПРОДОЛЖАТЬ БЕСПРЕРЫВНО. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ТОВАРИЩИ, БУДЬТЕ НАЧЕКУ, БЕРЕГИТЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ И НАШЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ, КАК ЗЕНИЦУ ОКА, И ПОМНИТЕ, ЧТО ОСЛАБЛЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ НАШИХ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН И ИХ ЗАВОЕВАНИЙ, МЫ НЕ ВПРАВЕ ДОПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ.

В. И. ЛЕНИН

обороны

нированный кулак в составе вооруженных сил страны.

В июле 1924 года комсомол принял имя великого Ленина. В Манифесте VI съезда РЛКСМ ко всем комсомольцам, ко всей рабочей и крестьянской молодежи подчеркивалось, что одна из главных задач Ленинского Коммунистического Союза Молодежи состоит в том, чтобы «быть всегда готовыми отстоять рабочее государство, созданное Лениным, чтобы укреплять нашу Красную Армию и Красный Флот».

Съезд записал в своих решениях, что комсомол должен стать одним из ближайших помощников партии в решении задач по строительству вооруженных сил.

В годы первой пятилетки началось новое техническое вооружение Красной Армии. В соответствии с этим развертывалась и военная работа комсомола.

21 января 1931 года на торжественном заседании IX съезд ВЛКСМ принял шефство над Военно-Воздушным Флотом страны.

Выполняя намеченную съездом широкую программу, комсомольцы взялись за улучшение системы военного обучения, за реорганизацию и укрепление оборонных обществ. Комсомол становится «душой и сердцем» Осоавиахима, организатором массового стрелкового и авиационного спорта, деятельно руководит допризывной подготовкой, перестраивает работу военных кружков, ставя перед ними новую задачу — овладение современной военной техникой. По всей стране возникают сотни аэроклубов, тысячи планерных и парашютных кружков. Авиация становилась доступной самым широким массам рабочей и колхозной молодежи.

Весной 1934 года комсомол начал ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН. За девять месяцев, в течение которых проходил первый этап экзамена, 1 миллион 200 тысяч комсомольцев, молодых тружеников города и села сдали нормы ГТО, около 700 тысяч стали «ворошиловскими стрелками», около 30 тысяч занимались планерным спортом, почти полмиллиона совершили прыжки с парашютной вышки и с самолета, сотни тысяч девушек сдали нормы на значок «Готов к санитарной обороне».

Молодые рабочие и колхозники изучали военное дело. Ударники труда становились ударниками обороны, овладевали второй профессией — бойца-специалиста, всегда готового встать на защиту Родины.

Советская молодежь успешно решала почетную задачу, поставленную VI съездом ВЛКСМ: не жалея сил и энергии крепила мощь Красной Армии, готовила себя к защите Отечества.

→

ЕСТЬ В ПРОШЛОМ любого из вас такие минуты, часы или дни, которым не потускнеть, не состариться и не забыться.

Январь 1931 года. Хрусткий мороз на улицах. Огонь кумача в зале заседаний IX съезда комсомола.

Громом аплодисментов

СТРАНИЦА БЫЛОГО

встречают делегаты съезда рапорт ростовчан: «Ростсельмаш», первый в стране завод сельскохозяйственного оборудования, первенец первой пятилетки, построен на 12 месяцев раньше срока. Долгим «ура!» встретили делегаты сообщение комсомольцев-ростовчан о том, что к весне 1932 года они выпустят на поля страны первую отечественную сеялку.

Радость на лицах ребят: набирает темпы первая пятилетка, опростоволосились капиталистические пророки, предрекавшие революции скорую смерть. Дух захватывает от одной только мысли о том, что предстоит сделать, и в планах будущего строительства такое большое место отводит страна молодым!

Это был праздник, как бывал праздником каждый комсомольский съезд, потому что он — подведение итогов работы. И это был в первую очередь деловой разговор, потому что ничего не стоит праздник ради себя самого, если он не разработка планов на завтрашнее наступление.

И вот в резолюции съезда, отмечающей проделанную Ленинским комсомолом огромную организаторскую работу, появляются строки:

«Съезд считает размах и содержание военной работы комсомола не соответствующим современным требованиям обороны страны и новому техническому вооружению РККА и требует немедленного осуществления задачи всеобщего обязательного военного обучения комсомольцев, освоения каждым комсомольцем минимума общих и одного из видов специальных, главным образом технических, военных знаний».

Выполняя этот наказ, комсомол стал считать основной формой массовой оборонной работы в 1934—1936 годах проведение Всесоюзного общественного военно-технического экзамена, объявив о нем 28 апреля 1934 года совместным постановлением ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, ЦС Осоавиахима, ЦС Автодора, Исполкома КК и КП и ВСФК при ЦИК СССР.

Итоги первого тура военно-технического экзамена были подведены на Всесоюзном слете молодых ударников обороны страны в феврале 1935 года в Москве.

Тридцать его участников удостоились высокой чести быть принятыми членом Политбюро ЦК партии, народным комиссаром обороны Климентом Ефремовичем Ворошиловым.

Нашу комсомольскую делегацию возглавляли А. В. Косарев, Р. П. Эйдеман, П. С. Горшенин. В числе счастливых тридцати были и мы, два представителя Татарской АССР: студентка Казанского

авиационного института, комсомолка-парашютистка, «ворошиловский стрелок» 2-й ступени Джавида Арсаева и автор этих строк, тогда — заместитель председателя Центрального Совета Осоавиахима Татарии по работе среди молодежи — так именовались в то время секретари обкомов комсомола по военной работе. На прием я попал и как представитель республики — победительницы в военно-техническом экзамене (нас обошли по итогам только московская, киевская и ленинградская организации), и как первый в стране «ворошиловский стрелок» 2-й ступени, первый парашютист и организатор парашютного спорта в Татарии.

...Войдя в зал, Климент Ефремович улыбнулся нам, как старым знакомым; мы поняли: нарком пришел не просто повидаться — поговорить о делах, и настроение наше еще больше поднялось.

Об итогах первого тура общественного военно-технического экзамена комсомольцев и молодежи доложили Гутман (секретарь комитета комсомола ЦАГИ, стрелок и парашютист), Липовка (стрелок и парашютист с ленинградского завода «Промтехника»), Федосова (пилот с бежицкого завода «Красный Профинтерн») и Арсаева (Татария).

Ворошилов внимательно выслушал ребят, задавал много вопросов, подчас и каверзных.

— А сколько останется в стране «ворошиловских стрелков», если их всех снова проверить? Только честно.

Группа делегатов Всесоюзного слета ударников обороны на приеме у К. Е. Ворошилова 20 февраля 1935 года.



Г. СЕРЕБРЯКОВ

Автограф
В ДОНСКОМ НЕБЕ

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ УЧАСТНИКА ВСТРЕЧИ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ С М. А. ШОЛОХОВЫМ

Эти несколько ослепительных от щедрого донского солнца июньских дней 1967 года навсегда останутся в моей памяти. Вместе с группой молодых писателей социалистических стран мы летим в гости к Михаилу Александровичу Шолохову...

И вот наконец пилот объявляет:

— Наш самолет совершает посадку.

Но это только звучит солидно: аэропорт Базковская. А на деле — одинокий домик, возле которого топорщатся полукруглые уши локатора, висит полосатая «колбаса» на шесте, и на все четыре стороны — цветущая степь.

Праздничное возбуждение — за несколько минут до нас здесь приземлились две миниатюрные чешские «моравы», на которых прилетели почетные гости и среди них — Юрий Алексеевич Гагарин...

Вот он стоит в непривычном темном штатском ко-

— Думаю, останется, быть может, и меньше, Климент Ефремович, — смущенно ответил Гутман.

— Вот и надо почаще проверять их, чтобы не прекращали тренировок. А как у вас наряду с оборонной работой обстоит дело с общеобразовательной подготовкой? — поинтересовался нарком. — Как вот эти хорошие ребята, комсомольские активисты, повышают свой культурный уровень, свою грамотность? Обязательно учитесь, товарищи, много и хорошо. Под те специальные военные знания, которые вы получаете, надо подводить прочный фундамент культуры и культурности. Чтобы овладеть по-настоящему техникой, надо по-настоящему овладеть общей грамотностью. Вот это, товарищи, основное, к чему я вас призываю и о чем никогда не следует забывать.

Потом Ворошилов сказал:

— Кое-где еще у нас хорошему стрелку, прыгуну прощают недостаточно добросовестную работу на производстве. Это неправильно. Это вредно. Прежде всего надо быть честным, умелым, добросовестным работником, на какой бы работе ни находился. Первый признак ударника обороны — ударная работа на производстве.

С волнением слушали мы

стюме, крепкий, загорелый, улыбающийся, прижимая к груди огромный ворох цветов. Онемевшая от восторга станичная ребятня — робеют подойти ближе, издали ловят каждое движение и жест первого космонавта. Местный самодеятельный фотограф в надвинутой почти до самой переносицы капроновой шляпе, взмокший от напряжения, от сознания ответственности момента, неутомимо щелкает фотоаппаратом.

— Минуточку, — просит его Гагарин. Оборачивается к ребятам: — Кто хочет со мной фотографироваться — быстрее сюда!

Ребятня шумно окружает космонавта. И каждому хочется оказаться поближе к нему. Он обнимает их за плечи, смеется:

— Рук на всех не хватает...

Шолохова среди встречающих нет. Он, сказали, ждет нас где-то в своем излюбленном месте, на берегу Дона.

Степной проселок белым полотенцем стелется под колеса машин. Проплывают мимо хутора с навалившимся на плетни вишняком. Белая пыль на белой полыни. Колодезные журавли. Молчаливые погосты на взгорьях. Все это кажется давным-давно знакомым. Неброские эти картины перешли к нам в память со страниц «Тихого Дона» и «Поднятой целины»...

Серебряный блеск, ласковая прохлада Дона. Здесь, под раскидистыми вязами, нас встречает Михаил Александрович Шолохов. Подтянутый, бодрый, в легкой походной куртке. Загорелое лицо, радушная улыбка под серебристой скобкой усов. Здоровается со всеми, тепло, по-отцовски, обнимает Гагарина:

— А ну покажись-ка, сынку! Дай поглядеть на звездного богатыря...

Потом обращается ко всем:

— Что, казаки, российские и заморские, притомились

советы одного из ветеранов ленинской гвардии, легендарного пролетарского полководца. И вдруг Климент Ефремович заговорил о совсем тогда для нас неожиданном: о воспитании детей.

— Их ни в коем случае нельзя отдавать под влияние улицы. Это гигантская задача, которую мы обязаны с вами решать и, безусловно, решим. И вы, комсомольцы, должны повседневно думать об этом. Заботьтесь о детях, воспитывайте детей. Ведь они — будущая ваша смена и на трудовом фронте, и на фронте защиты Отечества...

Затем мы все сфотографировались на память. Девушкам одного общего снимка показалось мало, и они уговорили Климента Ефремовича сняться с ними отдельно. В порядке равноправия того же потребовали и мы. Этот снимок — дорогую память о моей комсомольской юности — я и предлагаю сегодня читателям «Молодой гвардии»...

А. БУДРИН,
ветеран комсомола,
член Татарского
республиканского штаба
Всесоюзного похода
комсомольцев и молодежи
по местам революционной,
боевой и трудовой славы
советского народа
г. Казань

с дороги! А ну купаться! — весело командует он. — Только недолго, а то у нас того гляди уха переспеет...

Второго приглашения не потребовалось.

...Гагарин плывет легко и размашисто. За ним устремляется целая группа пловцов. Однако скоро, испытав на себе стремительную силу течения, мы один за другим поворачиваем обратно. Лишь двое или трое продолжают следовать за ним. Он останавливается, машет рукой, поджидает их. Потом вместе они пересекают сверкающую под солнцем стремнину Дона. Когда возвращаются обратно, у одного из них — молодого болгарского поэта — побелевшее как мел лицо, он тяжело и прерывисто дышит.

— Не рассчитал свои силы... — говорит он растерянно. — Если бы не Юрий Гагарин... было бы совсем плохо...

Оказывается, почуяв неладное, Юрий Алексеевич всю обратную дорогу плыл рядом с болгарином, страховал его...

Невесть откуда появляется мяч. На прибрежном песке разгорается волейбольная баталия. Застрельщик игры — Гагарин. Он легко и стреми-



В гостях у М. А. Шолохова.

тельно прыгает, короткими резкими ударами бьет по мячу. Под бронзовой кожей, на которой еще сверкают капли донской воды, играют литые, упругие мускулы. У космонавта № 1 — фигура атлета.

— Юрий Алексеевич, а еще раз в космос не собираетесь! — спрашивает кто-то из ребят.

Лицо Гагарина делается на минуту задумчивым.

— Космос, братцы, — это такая штука... Стоит к нему прикоснуться — и снова тянет. Хочу полететь, конечно...

С ним было легко и просто. А случайные опасности подстерегали его даже на земле. Вот он высоко прыгнул, принимая мяч. И коварно притаившаяся в песке ракушка широким острием вошла в его ступню. Порез был глубоким и наверняка очень болезненным. Но Гагарин обладал удивительной выдержкой. Он по-прежнему улыбался:

— Придется, братцы, в следующий раз доиграть...

— Недоглядел я за тобой, Юра, — сокрушался Шолохов, — вот беда и вышла! Я тебя теперь ни на шаг от себя не отпущу...

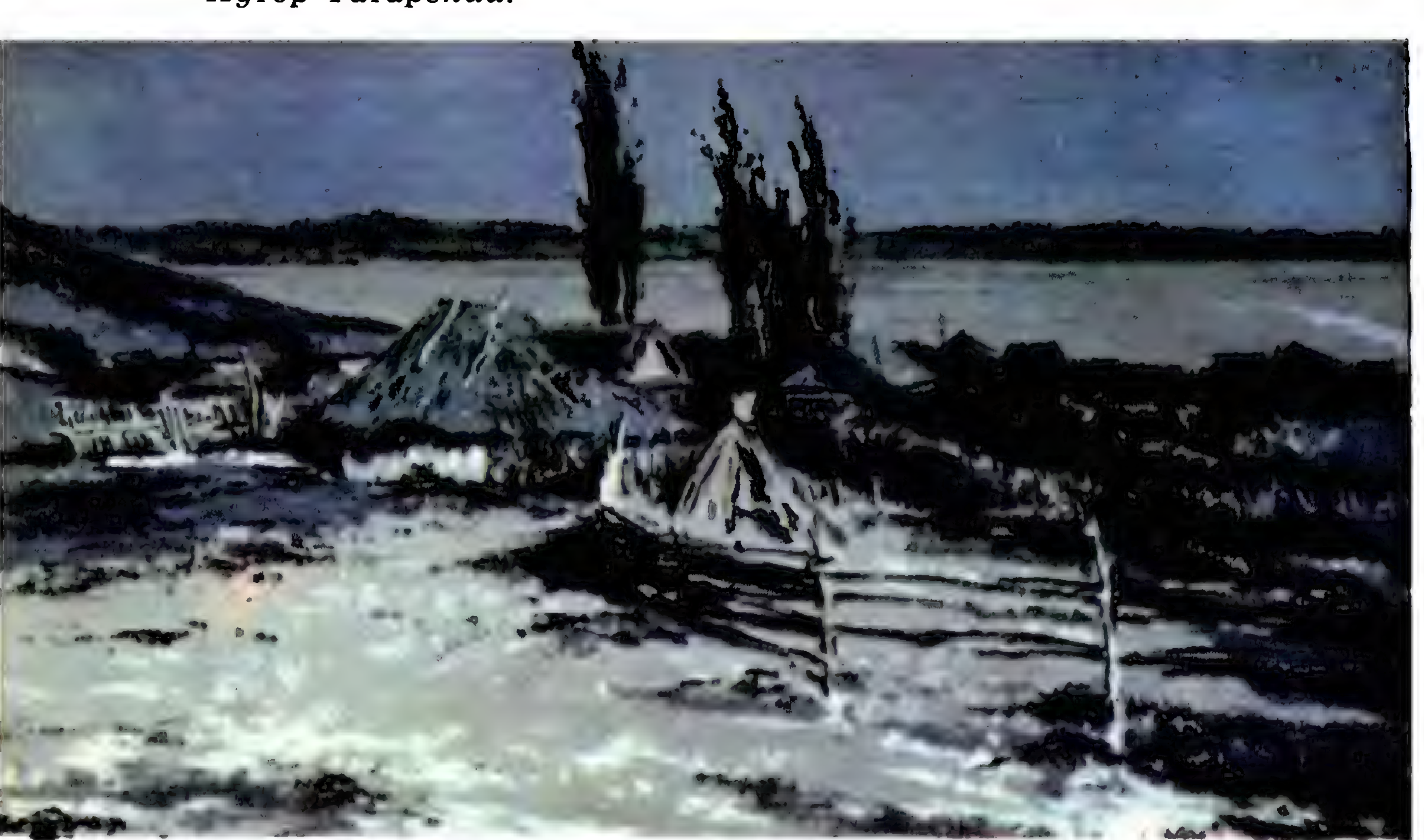
И вправду, все эти дни они



В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ ИЛЛЮСТРАЦИИ Ю. РЕБРОВА К РОМАНУ М. А. ШОЛОХОВА „ТИХИЙ ДОН"

«До хутора Сетранова — места лагерного сбора — шестьдесят верст. Петро Мелехов и Астахов Степан ехали в одной бричке...»

Хутор Татарский. →



постоянно были вместе — открыватель вселенной и открыватель душ человеческих, большой советский писатель. Рядом мы видели их в пропыленном зеленом «газике», когда ездили по соседним хуторам и станицам, и во время дискуссий и бесед о литературе и о жизни, и в хлебосольных застольях. А поздними вечерами они часто подолгу стояли вдвоем на крутояре, где светилась внизу, как казачий клинок, отливая черненым лунным серебром, излучина Дона. О чем говорили они тогда!..

Нога у Гагарина болела. Он едва мог на нее ступать. Из-за толстого слоя бинтов нельзя было надеть ботинок. Михаил Александрович приспособил ему какую-то мягкую домашнюю обувку и раздобыл толстую внушительную трость. Гагарин вначале отшучивался, потом покорился воле хозяина. Однако полежать хотя бы денек наотрез отказался. Отправлялся вместе с нами в дальние и ближние поездки, выступал на митингах и станичных сходах и даже однажды, когда какая-то лихая казачка, закружившись в танце, вызвала космонавта в круг, не зная о его больной



ноге, — он и виду не подал, отдал кому-то трость и сплясал русского...

А потом мы прощались с Михаилом Александровичем. Гагарин улетал раньше нас, его ждали неотложные дела. Провожая космонавта в дорогу, Шолохов снова обнял его, как сына.

— Ты уж побереги себя, Юра... Помни — ты нам очень нужен. Всем нужен.

Уезжая на аэродром, Гагарин шепнул ребятам:

— Я сейчас залечу еще раз. Попрощаться. С летчиком договорюсь, думаю, он мне машину доверит...

Вскоре в небе над Вешенской серебряной стрекозой возникла маленькая «морава». Описав дугу, она развернулась над Доном и, сверкая крыльями, взмыла ввысь над самым домом Шолохова. Вираж, второй, третий, «бочки», перевороты... Все, кто был в доме, выбежали на крыльцо. Вышел и Михаил Александрович.

Маленький самолет покачал крыльями и, сделав последний виток, круто ушел в солнечную синеву.

Это был прощальный автограф Гагарина в донском небе.

ИНТЕРВЬЮ С УЛЫБКОЙ

«Почему я не хожу на стадион?..»

НА ВОПРОСЫ
НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА
ОТВЕЧАЕТ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РСФСР
Юрий НИКУЛИН

СКОЛЬКО УЖЕ БЫЛО с ним интервью... Кажется, нет вопроса, которого журналисты ему не задавали. А мне хотелось обратиться к народному артисту РСФСР Юрию Никулину именно с таким вопросом. Помог случай. На рабочем столе у Юрия Владимировича я увидел рукопись книги. Книги, которую, оказывается, он сейчас пишет для журнала «Молодая гвардия» и которая будет публиковаться в журнале в будущем году. Поэтому сам собой вырвался вопрос:

— *Вы начали заниматься литературной работой?*

— Видимо, все приходит в свое время. Когда я впервые снимался в кино, познакомился с Михаилом Ивановичем Жаровым. Однажды он пригласил меня к себе на дачу и порассказал там много интереснейших историй из своей жизни. Я не удержался: «Михаил Иванович, — говорю, — вам надо книжку написать!» Жаров усмехнулся: «Не такой уж я старый для мемуаров...» Лет через десять я снимался в «Кавказской пленнице». Как-то из-за непогоды был вынужденный простой. Сидели, болтали... Я рассказывал Наташе Варлей разные случаи из жизни, и вдруг она говорит: «Юрий Владимирович, у вас же может книга получиться!» Я отмахнулся: «Ну вот еще, книга...» А Жаров, оказывается, тогда книгу уже писал. Узнав об этом, я тоже стал ждать своего часа. И однажды решился... Я думал, что писать книгу про себя довольно-таки просто: нужно выбрать свободное время, взять стопку хорошей, гладкой бумаги, сесть за стол и вывести первую фразу. Так и сделал. Сел, но найти эту самую



— Я думал, что написать книгу про себя довольно-таки просто... Увы!

первую фразу никак не мог. Раскрыл автобиографические книги, стал читать первые фразы... Хорошие фразы! Но все — чужие, про чужие жизни, а мне-то нужна моя... И тогда я написал: «Я родился 18 декабря 1921 го-

да...» И всплыли в памяти все анкеты, которые мне пришлось заполнять...

— Наверное, в этой книге будет описана вся ваша жизнь — и довоенная, и семь лет в армии, и то, как вас не хотели принимать ни в один театральный институт, и то, как вы пришли в цирк, а потом еще стали артистом кино... Кино принесло вам невероятную популярность — это я знаю как зритель. Скажите по секрету, Юрий Владимирович: приятно быть столь популярным человеком?

— По секрету? По секрету, из-за этой самой популярности я перестал ходить на стадион. Слишком привлекаю к себе внимание. Если забивают гол, то болельщики почему-то поднимаются и смотрят, как я реагирую... Пришел как-то в Ялте на пляж, сразу вокруг собралась толпа. Стал раздеваться — раздались голоса: «Смотри — трусы! В клеточку!» Плюнул я с досады, оделся и ушел...

— В подобной ситуации вы должны успокаивать себя мыслью о том, что признательный зритель создает вам все эти неудобства непреднамеренно, что просто он не знает, как лучше выразить вам свою любовь... Кстати, а сами вы какому зрителю симпатизируете?

— Непосредственному. Была у нас сценка из истории французского Сопротивления. Мы с Мишей Шуйдиным—«полицейские» — гонялись за французским мальчиком, который расклеивал листовки (его играла Т. Никулина). Погоня шла по всему цирку, и дети обычно хватали нас, подставляли ножки, валили на пол... А в Ереване, помню, только вышел на манеж, какой-то мальчишка, увидев мою форму, завопил: «Фашист!» — и залепил в меня маленькой, но крепкой дыней. Я по достоинству оценил этот благородный порыв, хотя и было очень больно... Во время наших гастролей в Австралии одна газета поместила снимок горько плачущей девочки, под которым крупно значилось: «Она не достала билета в Московский цирк». Нам стало жалко ребенка, и на следующий день в газете появилось объявление: «Девочка, которая плакала на снимке, не плачь. Приходи в цирк, мы тебя ждем». Вечером к нам пришли... восемнадцать девочек! Пришлось всех устраивать.

— Недавно, выступая по телевидению, вы передали особый привет выпускникам триста шестой ленинградской школы. Почему?

— О-о... Это целая новелла. Два года назад, когда мне стукнуло пятьдесят, вместе с другими поздравлениями получил я конверт из триста шестой ленинградской школы. Восьмиклассники прислали мне забавное письмо, в котором часть текста была заменена рисунками и фотографиями. В общем, как говорил один из героев Арка-

дия Райкина, это был целый «рекбус, кроксворд»... Разгадав сие послание, я обнаружил в свой адрес много добрых слов. Ответил ребятам. Так завязалась регулярная переписка. Прошло время, и вот мои мальчишки и девчонки стали выпускниками. Однажды получаю от них пригласительный билет: «Ждем на нашем выпускном вечере 26 июня». Посмотрел я в календарь: 26 июня — вторник. В цирке как раз выходной. Почему бы действительно не поехать? Только безо всяких предупреждений, экспромтом. Взял с собой сына Максима (он тоже нынче расстался со школой) — и на поезд. Школьная дверь оказалась запертой — видимо, чтобы не проникли посторонние. Долго ходили мы вокруг закрытого здания, пока нас с третьего этажа не заметили. А потом было все чудесно. Я им пел песни. Веселились до утра...

— Где-то я уже читал, что песен вы знаете великое множество. А чем еще занимаетесь на отдыхе?

— Коллекционирую все связанное с юмором. Вот помню плакат под Ростовом. На плакате изображен шофер, который выворачивает баранку вправо, и крупный призыв: «Водитель, бойся мест, из которых выскакивают дети!» Или объявление в аэропорту: «Пользуйтесь услугами Аэрофлота! Это укоротит ваш путь!..» Сегодня записал такое высказывание Ежи Леца: «Клоун должен белить свое лицо, чтобы его могущественные противники не заметили, как он бледнеет».

— Вероятно, в дружеском застолье вы всегда душа компании?

— Приходится... Знаете, репутация обязывает. Иногда придешь в незнакомую компанию, только еще скажешь «Здравствуйте» — уже хохочут, уже стонут: «Во дает!» Увы, надо отдавать дань. В связи с этим вспоминается один из рассказов Аверченко. Там Аверченко сокрушался как раз по поводу того, что от него, как юмориста, всегда ждут веселых историй. И вот однажды оказался автор в компании, где был генерал. Генерал, только его познакомили, с места в карьер: «Господин юморист, может, вы нам что-нибудь сострите?» —«А вы генерал артиллерии?» — «Да». — «Тогда, может, вы нам что-нибудь выстрелите?» Почти в подобной ситуации мне случается оказываться часто.

— Юрий Владимирович, если бы мы поменялись местами, о чем бы вы на прощание спросили артиста Никулина? О чем вас корреспонденты вообще ни разу не спрашивали?

— Никто еще не спросил: «Как ваше здоровье?» А я бы с удовольствием ответил, что пока все нормально, может, потому, что люблю смех. А в смехе, как утверждает наш цирковой врач, есть витамин С.

Беседу вел Лев СИДОРОВСКИЙ

Н. СМИРНОВ

ВЗЯТО ИЗ

В МОЕЙ БИБЛИОТЕКЕ бережно хранится томик «Поднятой целины» с подписью размашистым почерком автора: «Т. Смирнову Н., охотнику от охотника. М. Шолохов. 28.II.33 г.».

Это память о нескольких встречах с Шолоховым в начале тридцатых годов, когда я работал в редакции журнала «Новый мир» и когда мне, в частности, выпала честь договориться с Шолоховым о публикации в журнале романа.

К этому времени я уже был знаком с Шолоховым. Однажды (если не ошибаюсь, осенью 1931 года) мне позвонил писатель Правдухин, трижды прочитавший, между прочим, первый том «Тихого Дона», и взволнованно сказал:

— Сегодня приходите обязательно: будет Шолохов.

Слово «Шолохов» он как бы пропел, понизив голос до торжественного баса.

Когда я пришел на квартиру Правдухина, Шолохов был уже там: сидел на диване рядом со своим другом — секретарем В. Кудашевым, одетый в традиционную блузу, и на его свежем, юношеском лице играла чуть заметная улыбка, в серо-голубых глазах светился острый и глубокий ум, а короткие, чуть взбитые волосы, оттенявшие высоту лба, хорошо подчеркивали его моложавость.

Мы просидели целый вечер, но содержание беседы в строгом порядке передать невозможно — опасаюсь неточности. Говорили больше всего, разумеется, о литературе, о литературной обстановке.

Шолохов был очень скуп на персональные литературные отзывы и, когда разговор шел о классиках, с огромнейшим уважением отозвался о Пушкине и Толстом, что же касается современников, то сочувственно упомянул о Пермитине и о хозяйке дома Л. Н. Сейфуллиной, жене Правдухина, отметив

М. А. Шолохов. 30-е годы.



в очень сдержанных выражениях ее «Виринею». Восторги Правдухина по поводу «Тихого Дона» Шолохов слушал с опущенными глазами и тактично перевел разговор на «Поднятую

целину», над которой тогда работал, добавив, что пока отложил «Тихий Дон» в сторону: «Надо откликнуться на создание новой деревни — это тема небывалая...»

Литературную беседу прервала степенно и важно вошедшая в комнату охотничья собака — Грайка, красивый, смугло-пятнистый пойнтер, и Шолохов оживился: вдохновенного и уединенно-замкнутого писателя сменил страстный, неутомимый охотник.

Шолохов заговорил с хозяином на охотничьем языке: сколько полей (лет) собаке, как она работает по дичи — «челноком» или «кру́гом», — и разговор целиком перешел на нашу общую страсть: охоту (Сейфуллина, каждое лето сопровождавшая мужа в охотничьих поездках, считала себя «охотником поневоле» и даже писала охотничьи рассказы).

Я спросил Михаила Александровича о его любимых охотах и получил ответ:

— Очень люблю весенний и осенний перелет гусей — это действительно королевская птица! Люблю все степные охоты — на дрофу, стрепета, куропатку, с азартом ищу осенью вальдшнепов на «высыпках», — только уж очень трудна ходьба в осиновой чаще... С удовольствием брожу весь день по пороше, чтобы «вытропить» удалого зайца-русачка...

Шолохов и Правдухин были степняками, только один дончанином, другой уральцем, и стоило Правдухину вспомнить свои долголетние охотничьи скитанья в степи — седой ковыльный простор, запах «полынка», привал и костер в знойный полдень у чистейшего, прозрачного озера, верховую лошадь с притороченным к седлу огромным «дудаком», — как Шолохов стал неузнаваем: он поднялся, зашагал по комнате, ласково оглаживал Грайку, задорно и весело блестел озорными казачьими глазами...

К ТОМУ ВРЕМЕНИ, когда я познакомился с Шолоховым, он уже написал три части «Тихого Дона», но благодатная тяжесть славы нисколько не отразилась на нем: только большим талантам дано выдержать ее искус. Он держался с обаятельной непосредственностью и простодушием, как с «начальством», так и с рядовыми сотрудниками редакции, и с большим вниманием прислушивался к советам и рекомендациям. У него отсутствовало ложно понятое и чрезмерно заостренное авторское самолюбие ради самолюбия, в чем опять-таки сказывался подлинный художник, считающийся с голосом читателя. Все это я наблюдал воочию, общаясь с Шолоховым в «Новом мире», где печаталась (в 1932 году) первая часть «Поднятой целины».

Рукопись «Поднятой целины» была отредактирована Шолоховым, как говорится, «без сучка, без задоринки», но все же в ней (как, впрочем, и в любой рукописи любого, хоть бы и знаменитого, автора) встречались изредка те или иные «соринки», и Шолохов был очень внимателен к ним.

Так, 16 июля он писал в редакцию из станицы Вешенской:

«В двух последних отрывках обнаружил «досадные описки», которые крайне необходимо исправить.

В отрывке для 5 № на стр. 21-й (третья строка сверху) напи-

сано: «На объединенное заседание бюро райкома партии и районной КК к десяти часам утра 28 марта».

Надо: «К десяти часам утра 27 марта».

В последнем отрывке (для 6 №) на странице 26 есть фраза: «Медвяный аромат распускающихся тополей и т. д.» Надо: «Медвяный аромат набухающих почек тополей».

Пожалуйста, исправьте...»

Рукопись «Поднятой целины» трудно было читать «профессионально», по-редакторски: живая, повседневная и вместе с тем исторически значимая жизнь, бившая из каждой строки романа, как бы ослепляла и завораживала, не давала возможности следить за правильностью запятых, абзацев, нерушимой мелодией ритма, и когда однажды я сказал об этом Шолохову, он коротко отозвался:

— Да, все это взято из жизни... Сидя в Москве, вдали от живой действительности, писать по-настоящему трудно.

Но, кроме наблюдений, взятых из бурно кипевшей, стремительно перестраивающейся жизни, Шолохов пользовался и некоторыми побочными материалами. Он рассказал однажды, что И. В. Сталин на одной из встреч с ним цитировал ряд мест из писем колхозников (и положительных и отрицательных), чрезвычайно интересных по фактам. На мой вопрос, как он чувствует себя на беседах со Сталиным, Шолохов, улыбаясь, ответил: «Примерно как на экзамене: вопрос — ответ, вопрос — ответ, но в общем он очень приветлив и словоохотлив».

В Шолохове с первых же встреч, с первой беседы безошибочно угадывалась большая человеческая душа, глубокое чувство товарищества: он всегда готов был оказать любую, зависящую от него помощь, поднять у человека упавший и усталый дух, принести ему успокоение и радость. Сразу же бросалась в глаза и его неумолимая прямота: он в своих отзывах и суждениях никогда не прибегает ни к сахарной пудре, ни к позолоченной пилюле, ни к бархатной перчатке — режет правду-матку.

Вместе с тем он очень внимателен к людям и, в частности непременно отвечает на письма или на книжные посылки.

Как-то (еще в 1934 году) я послал Михаилу Александровичу книгу охотничьих рассказов и вскоре получил от него такое письмо:

«Дорогой тов. Смирнов!

Большое спасибо за книгу. Кое-какие рассказы я читал и до этого, но перечитал их снова, и с большим удовольствием. Эти дни лежал, болел и читал с особым наслаждением, приветствуя каждый удачный выстрел. Рад за то, что охотники будут иметь свой орган, да еще с таким добрым редактором, как Правдухин (передайте ему привет). Что касается рассказа, то пришлю я его непременно, дайте только срок.

«Поднятую целину», как и договаривались мы, буду печатать в 1935 г., вероятнее всего во второй половине. Поклон всему коллективу «Нового мира».*

---

* Речь шла о второй части романа.

Сейчас работаю, стреляю мало. В этом году не по чем. А выводки уже есть, одиночки. И еще: на редкость рано полетели гуси. Ранняя зима будет.

Всего доброго Вам. Охотничьих и прочих удач!

Жму руку.

М. Шолохов

25/IX 34 г.

ст. Вешенская».

Охотничий орган (предполагавшийся «толстый» журнал «Природа и охота») создать тогда не удалось. Он был создан гораздо позднее, в 1949 году, под названием «Охотничьи просторы» и долгое время редактировался Е. Н. Пермитиным (я был его заместителем). Шолохов по просьбе Правдухина, с которым был близок и дружен, дал согласие войти в состав редколлегии. Как мне неоднократно говорил Пермитин, Михаил Александрович, вообще большой поклонник и неизменный читатель охотничьей литературы, внимательно следил за «Охотничьими просторами», особенно выделяя раздел «Охотник-библиофил», где его, в частности, заинтересовали отрывки из повести неизвестного автора «Четыре дня в деревне псового охотника» и отрывки из книги Н. Н. Толстого, старшего брата Льва Николаевича, — «Охота на Кавказе». Как подчеркивал Пермитин, Шолохов не раз передавал ему пожелание — печатать больше глубоких и обстоятельных статей об охране природы, о разумном использовании ее богатств и монографии о животных, добавляя при этом:

— Мы и в этом случае должны оставить весомое литературное наследие.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧ в 1934 году я не видел Шолохова довольно долго, — находился в путешествиях, действительно открывая «за далью даль», и встретился с ним лишь зимой 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны. Поднимаясь по лестнице Гослитиздата, я неожиданно столкнулся с Михаилом Александровичем. На нем был армейский полушубок с полковничьими погонами, серая барашковая папаха, начищенные сапоги: он еще не сменил военную форму на «штатский» костюм. Лицо его было уже далеко не таким, как в юности: годы оставили на нем свой неумолимый отпечаток — мужественности, серьезности, углубленности, но умные и зоркие глаза светились прежним блеском — живым, несколько лукавым и добродушным блеском неистощимой молодости сердца.

Я был в солдатской шинели, но без погон, демобилизовался еще летом, и все же взял «под козырек», вытянулся по стойке «смирно» — Шолохов тоже принял полагающуюся позу — и спросил его:

— Узнаете, Михаил Александрович?

Он отвел меня к окну, к свету — и тут же воскликнул:

— Ба, ба, ба, никак Николай Смирнов? — И, крепко встряхивая мне руку, мягко сказал: — Жив, охотник?..

Мы присели на диван, Михаил Александрович расспросил меня о моих скитаниях, о фронте, где и в качестве кого воевал, рассказал, что будет работать над романом о войне — «Они



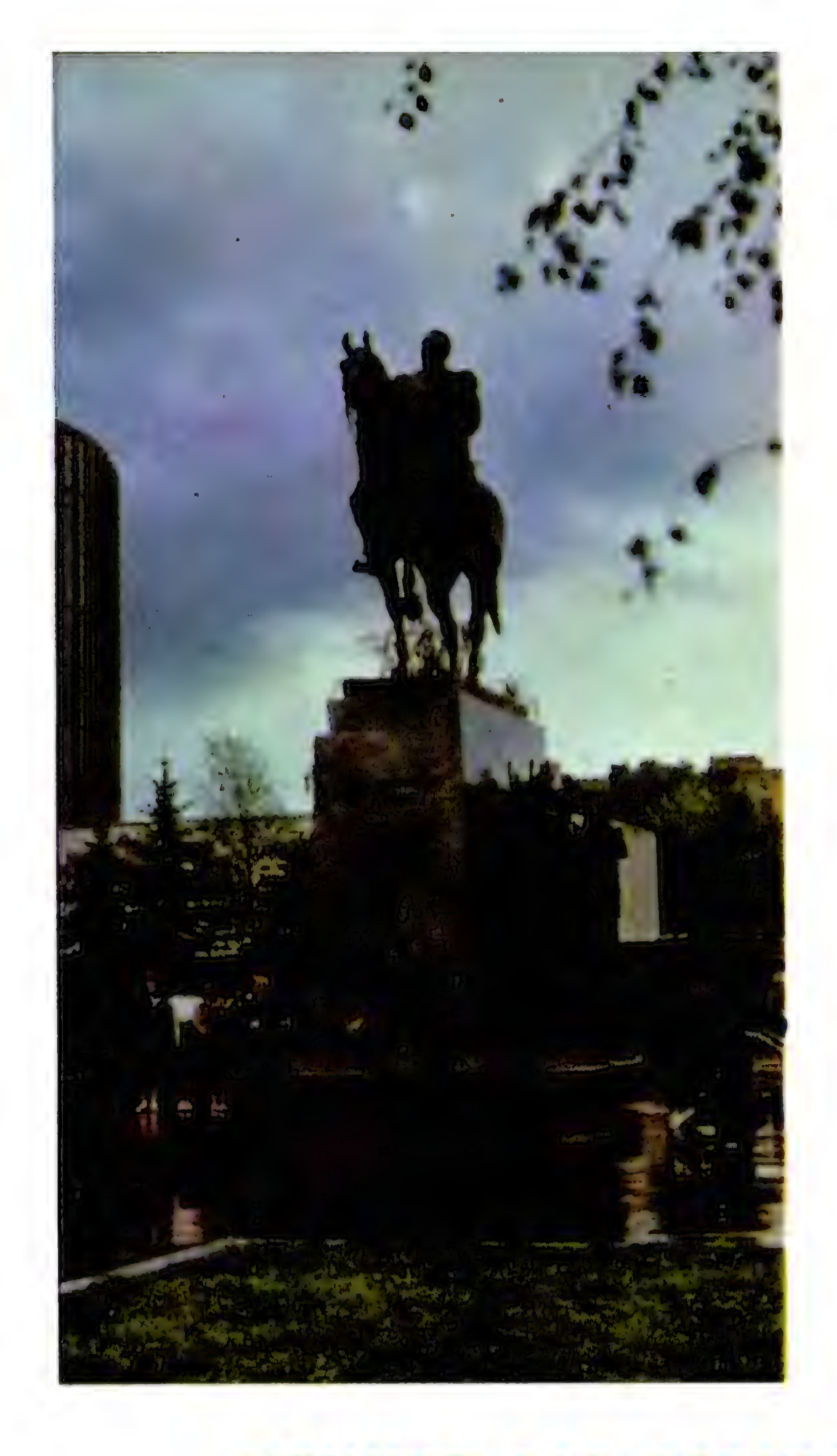
«Неделю отдыхал Мишка, целые дни проводя в седле. Степь его покоряла, властно принуждала жить первобытной, растительной жизнью».

сражались за Родину» и что по-прежнему охотится: «Это дело непреходящее...» В заключение он спросил:

— Если вам нужно что-нибудь в Союзе писателей, говорите прямо и без затей — я съезжу туда и поговорю с начальством, чтобы для вас сделали то или иное...

Я от души поблагодарил: «Спасибо, пока ничего не нужно» — и внутренне был, конечно, очень растроган: подобное участие не забывается...

Прощаясь, я сказал Шолохову, что его замечательная «Наука ненависти» была для нас, солдат, не только боевым пропагандистским мечом, но и призывом к действию и что мы сравнивали ее с грозной «катюшей», облеченной в могучее Слово. Пожелал я ему и удачной работы над романом.



«ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ...»

6 июля 1973 года в Москве состоялось торжественное открытие памятника великому русскому полководцу, фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Кутузову.

Памятник поставлен рядом с Триумфальной аркой в честь побед 1812 года и Музеем-панорамой Бородинского сражения — там, где проспект Кутузова устремляется на запад Подмосковья, на Можайск, на Бородинское поле. Скульптурная композиция сооружена не только в честь выдающегося полководца, но и в честь талантливых русских генералов, самоотверженных солдат и народных мстителей — партизан. Об этом говорит надпись, начертанная на постаменте:

МИХАИЛУ ИЛЛАРИОНОВИЧУ КУТУЗОВУ
и чуть ниже —
СЛАВНЫМ СЫНАМ РУССКОГО НАРОДА, ОДЕРЖАВШИМ ПОБЕДУ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Автор монумента — скульптор, народный художник СССР Герой Социалистического Труда Н. В. Томский, архитектор — Л. Г. Голубовский.

— Работу над памятником Кутузову я начал давно, в 1944 году, — рассказывает Николай Васильевич Томский. — Это был знаменательный год. Советские войска изгнали фашистов с нашей земли и начали бить врага в Восточной Пруссии. Победа над гитлеровской Германией была близка. Страна начала поднимать из руин разрушенное войной народное хозяйство, восстанавливать изуродованные или вовсе уничтоженные гитлеровскими варварами историко-культурные памятники. В их числе был и историко-архитектурный ансамбль Бородинского поля.

По заданию Министерства культуры я приступил к работе сразу над двумя скульптурами — Кутузову и Нахимову. Памятник великому русскому флотоводцу впоследствии был установлен в Севастополе. Памятник Кутузову, представлявший собой однофигурную композицию, предполагалось установить на Бородинском поле. Однако авторитетная комиссия, принимавшая скульптуру, рекомендовала соорудить монумент в Москве.

Для Москвы мне хотелось найти другое решение — дать образ Кутузова как героя многих войн и сражений, показать его вместе с народом. Монумент должен был представлять собой не только скульптурный портрет великого полководца, но и выполненные в бронзе портреты ближайших соратников Кутузова — генералов его армии, воинов, партизан. Так появилась идея трех горельефов, органически связанных, переходящих один в другой.

Намечалось установить памятник на развилке проспекта Кутузова, но установлен он там не был... Дело в том, что некоторые историки утверждали, будто Кутузов в том возрасте, в каком он был в войну 1812 года, не мог сесть на коня, так как был слишком стар, и такое его изображение противоречит исторической правде. Но я хотел показать Кутузова-полководца, героя не только Отечественной войны, дать его собирательный образ — образ талантливого воина, народного героя. Этот вариант монумента нашел поддержку у советской общественности. Вновь к прерванной было работе над памятником я вернулся в 1970 году.

Место, где установлен ныне памятник, выбрано очень удачно. Монумент композиционно вписывается в архитектурный ансамбль, посвященный Отечественной войне 1812 года. В этом большая заслуга архитектора Л. Г. Голубовского.

Шестиметровая бронзовая конная статуя Кутузова установлена на постаменте из серого гранита. По сторонам его распо-



«Изо дня в день внедрял он в ум Григория доселе неизвестные ему истины, разоблачал подлинные причины возникновения войны, едко высмеивал самодержавную власть. Григорий пробовал возражать, но Гаранжа забивал его в тупик простыми, убийственно простыми вопросами, и Григорий вынужден был соглашаться».

ложены горельефы. На одном из них, по левую руку от Кутузова, портреты генералов — тех, кто не только выполнял приказы фельдмаршала, но и своим оперативным вмешательством, а нередко и личным примером изменял ход боя против армии Наполеона: Багратион, Барклай де Толли, Платов, Дохтуров, Тучков, Раевский, Кутайсов, Ермолов, Неверовский, Лихачев, Коновницин. На другом горельефе — фигуры воинов, легендарных русских солдат — барабанщика Михайлова, знаменосца Коренного, рядовых Ручкина, Алексеева, Золотова, Павлова, Матвеева. На тыльном горельефе скульптуры организаторов и руководителей партизанских отрядов — Александра Фигнера, Герасима Курина, Дениса Давыдова, Василисы Кожиной...



«Всю жизнь вбивала в детей, стала неряшливой к себе, все время, свободное от работы по домашности, тратила на них: мыла, стирала, вязала, штопала и часто, примостившись боком к кровати, свесив ногу, брала из люльки двойнят и, движением плеч высвобождая из просторной рубахи туго налитые, большие бело-желтые, как дыни, груди, кормила сразу двоих».

Во время работы над памятником большую помощь скульптору оказали работники Исторического музея — они как бы «оживили» события, действующих лиц, помогли «воссоздать» военную форму того времени. Трудную работу выполнили отливавшие монумент мастера Мытищинского завода художественного литья, особенно бригады литейщиков, возглавляемые В. Афанасьевым и Г. Махматуллиным, а также чеканщики, руководимые мастером Н. Кузнецовым.

Трудом многих людей был создан монумент в честь героев, чьи имена до сих пор «помнит вся Россия»...

В. ЧУДАКОВ



Бор. ЛЕОНОВ

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ около двадцати лет назад.

Николай Кочнев, бывший фронтовой фотокорреспондент (считавший себя тогда больше, пожалуй, любителем, чем профессионалом), сотрудник одной из фотолабораторий Художественного фонда, шел однажды по улице Горького мимо Дома детской книги. Теперь уж не припомнить, по какому именно поводу, но была тогда развернута в витринах Дома фотовыставка портретов советских детских писателей.

Кочнев позавидовал авторам этих работ. Позавидовал и тому, что они знали этих известных всей нашей детворе людей, и высокопрофессиональному уровню исполнения портретов. Каждый из них был как бы моментальным слепком с характера, за каждым снимком ощутимо вставал живой человек из плоти и крови.

«Попробовать бы и мне», — подумал тогда Кочнев, но тут же прогнал от себя «дерзкую» мысль.

Но мысль эта не давала покоя. Кочнев поделился ею с одним из товарищей-художников.

— А что? — сказал тот. — Попытка не пытка, попробуй, чем черт не шутит?! Если хочешь — давай вместе: ты будешь снимать, я — рисовать...

Первой работой Николая Кочнева стал портрет вдовы В. Я. Брюсова Жанны Матвеевны. Затем портреты А. Твардовского, С. Смирнова, М. Светлова... Твардовский выбрал портрет работы Николая Кочнева для своей книжки, вышедшей в 1956 году в библиотечке «Огонька». Годом позже тот же портрет украсил двухтомник произведений замечательного советского поэта. Это было уже признание Кочнева-мастера: беспощадную требовательность А. Твардовского даже в этих, казалось бы, простых вопросах хорошо знали все, кто был с ним знаком.

С той поры и началась активная работа Николая Георгиевича Кочнева над галереей портретов советских писа-

телей; число портретов на сегодня перевалило уже на третью тысячу...

Это только внешне все просто: пришел — снял. Так снимают ради одного только процесса съемки. «Сверхзадача», которую каждый раз, приступая к новой работе, ставит перед собой Николай Кочнев, огромна: каждый портрет — непременно характер.

Писатель, изучая героя, творя характер, имеет для этого всегда достаточно времени. Фотографу-художнику отпущен на это минимум...

Как у каждого мастера, была у Николая Кочнева своя заветная мечта: выполнить когда-нибудь портрет Михаила Александровича Шолохова. Путь к достижению цели занял во времени солидный отрезок.

Начал Кочнев со скрупулезного «заочного» знакомства с писателем. Перечитывая книги М. А. Шолохова, настойчиво искал в материале черточки и черты характера его творца. Понимал: без этого знания удачи не будет.

Зная, что в «Роман-газете» в 1960 году должна выйти вторая книга «Поднятой целины», позвонил в редакцию.

— Помогите встретиться с Шолоховым.

Однажды ему сказали:

— Приезжайте. В два часа Михаил Александрович будет у нас.

...Когда он, испытывая волнение, так хорошо знакомое каждому, ждущему оценки сделанной им работы, показал готовый, ставший ныне хрестоматийным, портрет Шолохову, Михаил Александрович с уважением мастера к мастеру сказал:

— Здесь я — настоящий казак!

Этот портрет М. А. Шолохова работы Николая Кочнева обошел, должно быть, все страны мира *.

Имя Николая Кочнева можно часто встретить в подписях под фотопортретами писателей в газетах и журналах. Более того — даже без подписи, по самому портрету всегда легко распознаешь кочневскую работу, его собственный, кочневский, творческий почерк. Как у всякого фотомастера, у него есть свое видение человеческого лица, тот «психологический ракурс», который с наибольшей степенью точности передает характер человека, о котором рассказывает своим фотопортретом художник. Есть у него любимые точки съемки и своя манера выполнения фотографии — резкоконтрастная в соотношении фона и предмета изображения и мягкая, с полутонами — в передаче неповторимых черт своего героя.

В 1967 году, накануне IV съезда писателей СССР, в химкинском отделении Художественного фонда была развернута первая персональная выставка работ Николая Кочнева — «Галерея советских писателей». Первыми ее посетителями были художники.

— Это был для меня, пожалуй, самый ответственный экзамен. Ведь выставку «принимали» самые придирчивые и компетентные посетители! — вспоминает Николай Георгиевич. — Когда я прочитал первую запись в книге отзывов — отлегло: художники приняли мою работу.

Николай Кочнев — автор фотовыставки портретов советских писателей, получив-

* Этот снимок публикуется на 2-й странице обложки журнала.



ших почетные звания и премии в период между II и III съездами писателей Российской Федерации. В 1972 году в Центральном Доме литераторов имени А. А. Фадеева успешно прошла фотовыставка его работ «Писатели — лауреаты Ленинской премии».

КОГДА-ТО, всматриваясь в фотографии в витринах Дома детской книги, Николай Кочнев назвал счастливыми людьми их авторов. Сегодня он с полным правом может сказать эти слова о себе. В найденной им главной творческой теме раскрылись призвание и талант мастера художественной фотографии. Уже одно это — счастье. Но сам Николай Кочнев видит его в другом: в понимании нужности своего дела для людей, для истории нашей литературы. Утверждению ее высоких гуманистических идеалов служит своим творчеством этот человек, хотя и остающийся как бы «за кадром» литературы...

Арт БУХВАЛЬД

Препятствия на пути освоения Земли

ФЕЛЬЕТОН

На прошлой неделе планета Венера была охвачена необычайным волнением: ее ученым удалось запустить спутник вокруг Земли и получить сообщение вместе с фотографическими изображениями одного из земных районов, а именно Манхэттена, названного так в честь венерианского астронома, открывшего его 200 тысяч световых лет назад.

В силу благоприятных условий погоды ученым удалось получить ценнейшие сведения в том их виде, в каком они были зафиксированы управляемой тарелкой, высадившейся на Землю. Большая пресс-конференция состоялась в Венерианском государственном технологическом институте.

— Мы пришли к выводу, — заявил руководитель космических исследований профессор Зог, — что на Земле жизни нет!

ВОПРОС: На основании каких данных вы пришли к такому выводу?

ОТВЕТ: Данных достаточно. Во-первых, земная поверхность в районе Манхэттена представляет собой твердый бетон, на котором ничего произрастать не может. Во-вторых, атмосфера там настолько насыщена угарным газом и другими ядовитыми испарениями, что ни одно живое существо не может остаться в живых, вдыхая такой воздух...



ВОПРОС: В какой мере это затрагивает нашу исследовательскую программу в освоении Земли?

ОТВЕТ: Видите ли, потребуется прихватить на Землю

собственный кислород, а это значит, что вес и грузоподъемность наших летательных аппаратов придется увеличить против запланированного.

ВОПРОС: Имеются ли еще какие-нибудь препятствия на пути исследования Земли?

ОТВЕТ: Вот здесь, на фотографии, вы можете увидеть нечто такое, что, по-видимому, должно быть рекой, но полученные нами анализы показывают, что вода в ней совершенно непригодна для питья, поэтому нам придется прихватить с собой и воду.

ВОПРОС: Сэр, а что это за черные точки на фотоснимке?

ОТВЕТ: Точно пока не установлено, но по неполным данным это какие-то металлические предметы, которые движутся с различной скоростью по определенным траекториям. Они непрерывно испускают ядовитые газы, производят неистовый шум и постоянно сталкиваются друг с другом. Их так много, что некуда посадить «летающую тарелку» без опасения, что ее тут же не раздавят.

ВОПРОС: Если все, что вы сейчас сказали, верно, то не задержит ли это нашу программу исследования Земли на несколько лет?

ОТВЕТ: Безусловно, задержит. Но мы все равно будем продолжать нашу работу, как только Октагон выделит нам дополнительные ассигнования.

ВОПРОС: Скажите, профессор Зог, зачем мы изводим миллиардные суммы денег на то, чтобы высадиться на «летающих тарелках» на Землю?

ОТВЕТ: А вот зачем. Если мы, венерианцы, сумеем приспособиться жить на Земле, то мы сможем жить и в любом другом месте.

Перевел с английского
Н. Колпаков

ЯПОНСКИЙ ВРАЧ Теруо Ивамото собрался сделать свой собственный вклад в борьбу за чистоту воздуха в столице. Он законсервировал автомашину в гараже и стал ездить на ра-



боту на пони. Вскоре, однако, ему пришлось отказаться от своей затеи. Дело в том, что овес в стране значительно дороже бензина.

ВО ФРАНЦИИ правила уличного движения женщины-водители нарушают чаще, чем мужчины. Один «галантный» полицейский предложил ввести вместо денежного штрафа новый вид наказания для нарушительниц: помещать их на сутки в комнату, где заранее



положено множество моднейших шляпок, но... нет ни одного зеркала.

ДЕЛЬФИНОВ НАЗЫВАЮТ «интеллигентами моря». Пристальное изучение этих красивых и понятливых животных открыло много нового и неожиданного для биологов. Но долгое время ученые не знали, как и где умирают больные или раненые дельфины. Теперь этот вопрос прояснился. Подтвердились некоторые рассказы рыбаков и китобоев, в том числе и советских. К характеру дельфинов прибавилась еще одна благородная черта. Раненое или больное животное, предчувствуя близкий конец, отделяется от стаи и уходит в открытое море. Там дельфин из последних сил развивает громадную скорость и умирает от полного истощения или от разрыва сердца при невероятном напряжении...

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА группа студентов одного из западногерманских городов по заданию социологов выполняла любопытное домашнее задание: студенты регулярно смотрели телевизионные передачи станций Центральной Европы и делали пометки в блокнотах... Итог просмотра сотен программ таков: за год на экране было показано свыше 5 тысяч убийств, то есть в день демонстрировалось в среднем по 14 трупов.



ВЕСЬМА НЕОБЫЧНАЯ демонстрация состоялась не так давно в Париже. Собравшись в Булонском лесу, примерно триста всадников и всадниц направились к зданию городской префектуры с плакатами, требующими полного запрещения автомобилей в городах страны. «Да здравствуют лошади! — кричали энтузиасты «нового» вида транспорта. — Машины убивают и отравляют нас!» В своей петиции, между прочим, они вполне доказательно утверждали, что выхлопные газы разъедают Эйфелеву башню, губят сады Парижа, вибрация грунта от движения автомобилей разрушает фундаменты архитектурных памятников, шум моторов делает людей неврастениками... Представители властей сделали все от них зависящее, чтобы «не увидеть и не услышать» всадников-демонстрантов.



СОВРЕМЕННЫЕ ЖИТЕЛИ Соломоновых островов называют рояль также одним словом, но при буквальном переводе оно звучит так: «Большой предмет, как-то связанный с музыкой. Если нажать на его зубы, то получится звук».

Рисунки И. Клешко



Ю. Ребров. Из серии «М. Шолохов. «Поднятая целина».

Первая страница обложки «Товарища»: Книги М. Шолохова — полпреды советской литературы за рубежом. Правда, рассказанная писателем о победе диктатуры пролетариата как союза рабочего класса и крестьянства, о социалистических преобразованиях в советской деревне, способствовала росту революционных настроений в странах, куда приходили «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека»... История нашего народа становилась фактом духовной политической жизни других народов и стран: там тоже происходили и происходят родственные исторические процессы. Отсюда — неслыханный успех книг Шолохова не только в коммунистическом лагере, но и в самых широких демократических кругах трудящихся и интеллигенции всего мира. Свидетельством тому — миллионные тиражи его книг на всех континентах.

Б. НАВРОЦКАЯ, Р. ДОНЬСКИЙ



Рис. Ю. КИСЕЛЕВА

ГЛАВА 3

— Прыгай! — крикнул Анджей изменившимся голосом. — Прыгай! Нас заливает. Прыгай, черт побери!

На дне байдарки хлюпала вода, брюки Агнешки промокли насквозь и плотно прилипли к телу.

Уже несколько часов подряд они боролись с волнами. Агнешка потеряла представление о времени, измучилась, замерзла. Руки затекли, спина ныла. Когда байдарка вышла в залив, ветер сразу дал о себе знать — усилился, стал злее. Чем дальше они уходили в море, тем сильнее бушевали волны. Берег давно исчез. Вокруг сплошная водная стихия.

* Окончание. Начало в № 7, 8, 9.

Черная, неприветливая, в любую минуту готовая проглотить их вместе с байдаркой. Ветер и шум волн заглушали слова Анджея, но Агнешка чувствовала у себя за спиной его прерывистое дыхание. Ей показалось, что она ослышалась. Она осторожно обернулась, стараясь не нарушить равновесия байдарки. Глаза ее уже привыкли к темноте, и она отчетливо увидела злое лицо Анджея и блестевшие белки его глаз. Мысли путались, все ее внимание было сосредоточено на борьбе со стихией.

— Прыгать? — крикнула она. — Зачем? Мы не сможем снова забраться в лодку.

Анджей наклонился к ней, почти касаясь холодными губами ее шеи.

— Прыгай, или мы вместе пойдем ко дну! — прорычал он. — Байдарка перегружена.

Лицо его исказилось. Агнешка почувствовала, что у нее замерло сердце, — только сейчас она осознала смысл приказа, и на нее дохнуло смертельным холодом. Страшное предчувствие охватило ее.

Лехоню показалось, что ветер меняет направление. Волны бросали байдарку из стороны в сторону, крутили волчком. Анджей видел, что они все глубже и глубже погружаются. Ему хотелось одного — избавиться от лишнего груза. Руки автоматически орудовали веслом. Он из последних сил стремился поставить байдарку носом к волне. С каждым мгновением делать это становилось все трудней и трудней.

«Надо вычерпать воду», — мелькнуло у него в голове. Девушка занимала всю переднюю часть байдарки и мало что могла сделать. Не оставалось ни кусочка свободного места. Он вытащил рюкзак и швырнул его в море, следом полетела авоська с консервами, потом пиджак.

Когда он схватился за бутылку с содовой, Агнешка запищала: «Нет, нет!» Вцепилась в бутылку и крепко прижала ее к груди. Он видел ее глаза, залитые то ли морской водой, то ли слезами...

— Кретинка! — заорал он. — Где ты будешь пить? На том свете?!

Байдарку продолжало тянуть на дно, хотя все лишнее уже было выброшено.

Пройдут секунды — и над их головой сомкнет свои воды суровое море.

Анджея обуял звериный страх. Утонуть? Погибнуть, наглотавшись соленой воды? Нёт!

Он стиснул весло в левой руке, а правой достал пистолет и приставил его к спине девушки. Агнешка сидела, съежившись, обхватив руками бутылку с пресной водой. В этот миг никакая сила не могла бы сдвинуть ее с места. Она не позволит выкинуть себя из байдарки. Она будет защищаться. Кусаться, царапаться. А если суждено погибнуть, она и его за собой на дно утащит. Этого убийцу. Схватит за шею и не отпустит.

— Прыгай! — услышала опять она. — Прыгай, или я тебя застрелю!

«Ого, у него оружие, — подумала она совсем спокойно, — он меня убьет. Откуда у него пистолет?» Инстинкт подсказал ей, как надо действовать. Слезы высохли.

— Один ты не справишься, — сказала она торопливо, но головы не повернула. Она старалась сидеть неподвижно, чтобы он не выстрелил и она успела договорить. — Тебе ведь надо попасть на корабль. А по-немецки могу только я договориться, — продолжала она, стремясь придать голосу убежденность. — Я буду вычерпывать воду, — она ударила горлышком бутылки о борт, — вот этим.

Дуло пистолета уже не так сильно упиралось в ее спину. Лехонь заколебался.

«А если и правда покажется корабль? — подумал он. — Я ведь на самом деле не смогу договориться с ними».

Он опустил оружие.

Агнешка поняла, что выигрывает. Надо убедить его, вымолить жизнь.

— Как ты мог? — зашептала она. — Как ты мог на такое решиться? Я привела тебя в свой дом. Неужели ты забыл нашу комнатку на чердаке? Я тебе все отдала. Все! Ради тебя я бросила дом, ребенка... Я сделаю все, что ты хочешь, только не убивай меня. Я тебе пригожусь, правда, пригожусь.

Он не слышал ее слов. Он ничего не слышал, кроме того, что ему было нужно. Он уже ни к кому не испытывал сочувствия, кроме себя самого.

«Столько вынести и погибнуть из-за какой-то девки? — думал он. — Но во имя чего? Как надоела эта чушь, которую она несет!»

Агнешка чересчур поспешно принялась вычерпывать воду. Она понимала, что только так может спасти себя. Ей надо доказать, что она нужна. Она знала, что находится на волоске от смерти, что его ничто не удержит от выстрела.

Лехонь вдруг истерически захохотал.

«Идиотка, — думал он, — ведь мы все равно утонем...»

Агнешка, стиснув зубы, продолжала вычерпывать воду. Острым краем разбитой бутылки поранила руку. Резкая боль заставила ее вскрикнуть. Соленая вода смешалась с кровью, и от боли потемнело в глазах.

«Ничего, ничего, — повторяла она, — мне совсем не больно». Она продолжала бороться за свою жизнь и работала, как автомат, стараясь не смотреть на человека, сидящего за спиной. Она понимала, что сейчас нельзя привлекать его внимания, нельзя давать повод для подозрения. Машинально она взглянула на море, словно надеясь, что оттуда придет помощь, придет спасение. И словно кто-то услышал ее призыв: справа от байдарки она увидела силуэт корабля. Черная стена борта надвигалась на них с невероятной быстротой. Лехонь ничего не видел, продолжая упорно налегать на весло.

— Корабль! — крикнула Агнешка. — Справа корабль. Осторожней, он подомнет нас. Он... — Она захлебнулась водой и упала на дно байдарки.

Борт корабля продолжал надвигаться. Волна поднялась высокая, выше человеческого роста. Агнешка закрыла глаза. Сейчас раздастся треск, потом удар — и конец.

— Черт! Они не видят нас! — закричал Лехонь. — Они удаляются.

Байдарку заливало волной. Анджей встал во весь рост, махая руками, выл, кричал, захлебываясь от отчаяния.

— Стреляй! — сказала девушка слабым голосом. — Стреляй! — Собрав все силы, она села, выпрямилась и только тогда открыла глаза. Корабль уходил.

— Стреляй же! — закричала она. — Чего ты ждешь? Ну стреляй же!

Лехонь поднял пистолет и выстрелил в воздух.

— Стреляй, стреляй! — рыдала девушка.

Анджей согнулся и упал на сиденье.

— У меня осталась одна пуля, только одна пуля, — сказал он равнодушно, — для тебя.

Он схватил весло. Море вроде бы начинало постепенно успокаиваться.

«Тебя я утоплю как кошку, — решил Анджей. — А пуля — мне. Это дело решенное. Ты еще потрясешься перед смертью. Где мы сейчас? — думал он. — Наверное, давно уже в нейтральных водах. Надо держаться этого места. Проплыл один корабль, но это наверняка не последний. У всех кораблей приблизительно одни и те же трассы. Слишком мало я знаю о море. Это ошибка. Днем они нас заметили бы».

— Ты прочел название? — слабым голосом спросила девушка.

— Не уверен, — буркнул он сквозь зубы, — кажется, «Ингеборг». Вычерпывай! — крикнул он. Ноги снова по щиколотку погрузились в воду. «Безнадежное занятие», — подумалось ему.

Однако то обстоятельство, что рядом ходят корабли, вселило какую-то слабую надежду на спасение и подтвердило предположения Анджея. Именно это и продлило жизнь Агнешки еще на несколько часов. Девушка сидела тихо, совсем обессилевшая. Вместе с кораблем уплыла и ее последняя надежда. У нее имелся только один шанс остаться в живых, и вот этого шанса уже нет. Впереди ее ожидает смерть.

Но Анджей надеялся на появление другого корабля, и Агнешка пока еще была ему нужна.

ГЛАВА 4

Шкипера вовсе не интересовало, как оказались эти двое на байдарке посреди залива. Девушку он взял на борт, а мужчине велел остаться в байдарке. Однако приказал мотор заглушить.

— Нет, не могу сойти с курса, — сказал он на ломаном немецком языке. — Мы идем в Кошалин.

Агнешка была в отчаянии.

— Мы вам заплатим, хорошо заплатим, — сказала она торопливо.

Девушка едва держалась на ногах. Она была молода. Рыбак почувствовал жалость к ней. Он знал море и знал, как опасно оно для неопытного мореплавателя.

— Помогите мне сойти в байдарку, — умоляюще прошептала она. — Мой муж даст вам денег. Или возьмите его на корабль. Он сам с вами договорится.

Шкипер повернулся к стоявшему рядом моряку и сказал ему что-то. Тот кивнул. Агнешка трепетно следила за ними, хотя почти теряла сознание. Сама она предпочла бы попасть в руки правосудия, но Анджей еще имел большое влияние на нее, и его близость парализовала волю Агнешки. Самое страшное для нее сейчас — остаться снова с ним в море.

— Возьмем его на корабль только тогда, когда он заплатит, — проворчал шкипер. — Я ведь не знаю, кто он такой.

Байдарку било о борт. Лехонь видел снизу, как Агнешка разговаривала с моряками. Переговоры явно затягивались, и Анджей стал опасаться, что девушка договорится с моряками оставить его в море.

«Нет, — подумал он, — даром они ее не повезут».

Он был страшно утомлен, каждая секунда в байдарке казалась ему теперь вечностью. То, что он видел, не предвещало ничего доброго. Девушка оживленно жестикулировала, а шкипер отрицательно качал головой.

«Упрямый черт, — подумал Анджей, — но оставить нас в море ему не позволит морской закон».

Агнешка сошла в байдарку. Схватившись за поручни трапа, она быстрым прерывающимся голосом попросила его дать что-нибудь ценное. Она почти валилась с ног от усталости, и Лехонь видел это.

— Нет, — ответил он, мечтая поскорей покинуть неустойчивую байдарку и почувствовать под ногами палубу корабля. — Пусть они позволят мне подняться на борт.

Шкипер, перегнувшись через поручни, внимательно следил за их разговором.

— Мы дадим вам золотой портсигар и кольцо с бриллиантом! — крикнула ему девушка. — Но он, — она показала на Анджея, — хочет с вами сам говорить!

— Чей это катер? — приглушенно спросил Анджей.

— Датский. Идет из Борнхольма в Кошалин, — ответила она вполголоса.

— Черта с два я дам запереть меня в тюрьму! — процедил сквозь зубы Анджей.

Она пожалела, что сказала ему правду. Агнешка надеялась, что когда Анджей окажется на корабле, то сам не захочет обречь себя на смерть и вернуться в байдарку, даже если нужно будет вернуться на родину.

— Ты их уговоришь, — сказала она быстро. — Они доставят нас к берегам Швеции.

Шкипер дал знак, Анджей уцепился за поручень трапа. Ноги подгибались. Моряки помогли ему взобраться на борт.

— Переводи! — резко сказал Анджей, едва почувствовал под ногами дощатый настил палубы. От его внимания не укрылось, что взгляд девушки стал жестче. Она уже не смотрела на него так преданно, как вчера. Она очень изменилась за эту ночь.

«Ну погоди, я тебе покажу, как нос воротить, — подумал Анджей, — ты у меня еще попрыгаешь, когда окажешься среди чужих людей, без образования, без специальности».

— Мы не можем плыть в Кошалин, — перевела девушка. — Мой муж не может вернуться в Польшу. Нам обязательно нужно попасть в Швецию.

— А мне какое дело? — грубо сказал шкипер. — Меня это

не касается, понятно? Человека в море я не бросил, поступил по закону. Остальное — ваше дело.

Анджей быстро вытащил из кармана приготовленные портсигар и кольцо. Папку он запихнул в носовую часть байдарки. Бриллиант был довольно крупный, около трех каратов.

— Скажи ему, — быстро сказал Анджей, — пусть высадит нас невдалеке от шведского берега. А там мы доплывем на байдарке.

— Гут, — ответил шкипер. — Это можно. Я могу подойти к границе территориальных вод Швеции. А там плывите как знаете.

Анджей кивнул, соглашаясь. В глазах Агнешки мелькнуло презрение. Рыбаки втащили байдарку на корабль. Анджей сел рядом, не сводя глаз с байдарки, в которой спрятал драгоценности. Девушка держалась поблизости, чтобы не вызвать подозрения у моряков. Ведь она выдала Анджея за своего мужа и вынуждена была играть эту роль. Лехонь опять заметил, как она изменилась.

«По крайней мере, я излечил ее от глупости, — подумал он, — урок ей пригодится».

— Видишь, вышло по-моему, — сказал он сухо. — Все-таки мы встретили корабль.

Он понимал, что должен сгладить скверное впечатление от минувшей ночи, но не оставалось сил для этого. Он умолк и стал глядеть на море. Палуба задрожала, судно пришло в движение. Анджей следил, изменился ли курс.

Девушка не поворачивала головы, ее охватила апатия — слишком сильное потрясение пережила она в эту ночь. Рассеченная ладонь ее бессильно лежала на коленях.

«Этого еще не хватало, — подумал Анджей. — Заражение крови, врачи... А мне в Швеции надо сидеть тихо».

Он встал и, не говоря ни слова, взял девушку за плечи. Она не сопротивлялась. Показал ладонь Агнешки моряку, который помог ему взобраться на борт. Датчанин, не задавая лишних вопросов, повел ее в каюту. Анджей с облегчением вздохнул. Агнешка вернулась с забинтованной рукой, пахнущая йодом.

«Надо ее спросить, больно ли ей», — подумал Анджей, но не было сил задавать вопросы, высказывать показное участие. Он понимал двусмысленность своего положения и с тоской думал о том, как ему снова завоевать ее доверие.

«Надо поскорее избавиться от нее, — опять решил Анджей. — Это самый лучший выход. Не будет же она обвинять меня в покушении на убийство! Кто ей поверит?.. У нее нет доказательств. Надо случайно «потерять» ее где-нибудь по дороге. Быть может, в Стокгольме?»

Он не заметил, что Агнешка осторожно из-под ресниц наблюдает за ним. Он был теперь близко к цели — навсегда исчезнуть для людей, которых знал до сих пор. Он мечтал начать новую жизнь. Сменить лицо, характер, привычки.

— Я боюсь снова плыть на байдарке, — вдруг сказала девушка.

— А что еще нам делать? — жестко возразил он. — У нас нет выхода. Надо было искать другой корабль. Почему ты не нашла шведский?

Агнешка заметила, что звук его голоса не успокаивает ее, как раньше.

«В конце концов, он говорит то, что думает, — пришло ей в голову. — Отец мальчика тоже сначала говорил со мной ласково, а потом сразу все изменилось, стоило нам столкнуться с первыми жизненными трудностями».

ГЛАВА 5

Капитана Корту разбудил телефонный звонок. Поручик Лех сообщил, что на газовом заводе нашли труп молодого человека, брошенный в котел с аммиаком. Преднамеренное убийство. Преступник надеялся, что труп растворится. Если бы не авария с газопроводом, то никто бы и не догадался об убийстве. Ремонтная бригада, не найдя места закупорки трубопровода, сняла крышку котла. Рабочие вытащили труп. Убитого еще можно было опознать. На милицейской машине труп перевезли в институт судебной экспертизы.

Капитан Корта приказал сторожу открыть морг. Старик, гремя ключами, пошел открывать дверь. В нос ударил запах хлора с примесью эфира.

«Вот самая неприятная сторона твоей профессии», — подумал Корта.

Шаркая стоптанными туфлями, сторож ушел в глубь коридора. На обитых жестью нарах лежали мертвые тела.

Капитан шел со смутным предчувствием, что труп этот может оказаться останками Хирурга. За спиной Корты со скрипом закрылись двери. Он не обращал внимания на звуки. Ему показалось, что судьба снова решила посмеяться над ним. Сейчас он может оказаться с противником лицом к лицу. Но... с мертвым противником.

Лицо мертвеца обезобразил аммиак, но разглядеть черты было еще можно.

«Нет, — думал капитан, внимательно вглядываясь в лицо. — Нет, это не ты. У Хирурга большой рот и пухлые губы, — рассуждал он, низко наклонившись над нарами. Вздохнул. — А у этого тонкие губы, строение тела несколько астеничное. У Хирурга же спортивная выправка — такие люди очень выносливы. А это тело несильного человека, грудная клетка развита слабовато. Расстояние между глазами слишком мало». Капитан Корта достал из кармана коробочку с очками, на оправе которых красовались три белые стрелки. Приладив очки, убедился, что предположения его верны.

Выйдя из комнаты, он пошел искать умывальник, чтобы вымыть руки.

— Шведский моряк опознал труп, — сказал ему поручик Лех. — В поезде со мной этот человек не ехал.

— А Казимира Майк? — спросил Корта.

— Выкручивается. Говорит, что по такому лицу ничего нельзя узнать. Чепуха, конечно. Тем более что швед в своих пока-

заниях утверждает, что это, безусловно, тот, с кем он пил. Хотя, как вы помните, капитан, раньше швед говорил, что был сильно пьян и не сможет опознать своего собутыльника. Это все-таки «турист». А девушка, ясное дело, выгораживает своего жениха.

— Вы его взяли?

— Да. Он арестован.

— А девушка?

— Пока на свободе. По-моему, это дело рук жениха. Он работает как раз на этом газовом заводе.

— Так. Значит, «турист» отпадает, — подумал Корта вслух. — У убитого обнаружены какие-нибудь документы? — внезапно спросил он.

— К сожалению, нет. Имя пока неизвестно. В ту ночь убитый говорил, что приехал из Варшавы. Надо проверить, нет ли там заявления об исчезновении человека.

— Ага, — сказал капитан. — Пока не трогайте «туриста». Я хочу пригласить кое-кого из Варшавы опознать труп.

Корта с удовольствием слушал по телефону голос Габлера.

— Ну как там у вас дела, капитан? — весело спросил тот.

— Неважно, — ответил Корта. — Тянет в свой кабинет. Морской воздух действует мне на нервы. Я, видно, на всю жизнь останусь сухопутной крысой. Пришлите сюда Зигмунда Краля. Да. Это касается исчезновения Анджея Лехоня. Как можно скорее. Нам надо опознать труп.

— Там был еще один студент, — напомнил Габлер. — Лясковский.

— Если сумеете быстро найти их, пришлите обоих.

— Что нового по делу Хирурга? — спросил Габлер.

— Ничего интересного, — ответил капитан. — Быть может, из этого что-нибудь выйдет. Во Влохах не появлялись подозрительные личности? С девушкой?..

— Нет.

— Ну ладно. До свидания, поручик.

ГЛАВА 6

Возле Анджея и Агнешки постоянно крутился кто-нибудь из команды, за ними следили, хотя старались не показывать этого слишком явно. Анджея слежка моряков не волновала. Лишь бы не трогали байдарку с драгоценностями.

«Даже лицо у него изменилось, — думала Агнешка. — Особенно глаза. Раньше они казались совсем другими. Но, может, я ошибаюсь... Просто я была дурой... не поняла, что он притворяется. А я-то влюбилась. Вели он под поезд кинуться, я бы ни секунды не раздумывала...»

— Ты меня не выбросишь из байдарки в море? — спросила она так спокойно, словно речь шла о чем-то самом обыкновенном.

Лехонь вздрогнул, по его лицу пробежала тень страха.

«Боже мой, неужели я буду бояться до конца жизни? —

подумал он. — Всего бояться! — Он постарался взять себя в руки. — Еще вчера эта девушка с обожанием смотрела мне в глаза, каждое приказание выполняла беспрекословно. Не могла же она сразу так измениться», — повторял он, но знал, что это так и есть.

— Ничего я тебе не сделаю, — ответил он так же искренне, как она его спросила. — Зачем мне это надо?

«Чтобы покончить со всем, что было раньше», — подсказал ему внутренний голос. Он отвернулся.

— Зачем надо было умирать двоим? — пояснил он. — Уж лучше кто-нибудь один.

— Лучше, — спокойно согласилась она. — Но жить-то всем хочется. Даже червяку.

Ее искренность лишала Анджея уверенности в себе. Раньше он думал, что ему все позволено. А тут вдруг впервые почувствовал себя слабее другого человека. И этот человек — Агнешка. Это его разозлило.

— Я тогда потерял голову, понимаешь?..

Было очень трудно говорить с человеком, которого совсем недавно ему хотелось убить. В нем поднималась волна гнева. Лучше бы она кричала, дралась, наконец. Тогда бы и он мог ее ударить. Но Агнешка молча смотрела на море.

Поднималось солнце. Становилось теплее. Вымокшая одежда почти высохла. Постепенно настроение менялось. Агнешка поверила, что Анджей не причинит ей вреда. Да и что она ему сделала плохого? Агнешка вспомнила дом, своего мальчика. Ей показалось, что она слышит ржанье отцовской лошади. Лай собаки. Голоса отца и матери...

«Сейчас июль, — подумала она. — В доме горячка. Скоро жатва». Потом вспомнила, как однажды утром в кухню вошел отец, а перед ней высилась гора очищенной картошки.

«Где Анджей?» — спросил отец.

«В саду, наверное».

«Что у нас тогда вынюхивал милиционер? Кого он искал?» И снова перед ней было море, голубая вода, по которой ей опять придется плыть с совершенно чужим человеком, который совсем недавно казался самым близким в мире. Она боялась неожиданных открытий. Совсем недавно жизнь казалась такой простой. Она любила и верила. А теперь словно пелена спала с глаз. И это самое страшное. Инстинкт подсказывал, что ей надо опять поглупеть, опять поверить, и тогда еще появится шанс спастись.

«Не может быть, — говорила она себе, — что все происшедшее — чистая случайность. Не в первый раз приходил к нам милиционер. Ему Анджей был не нужен. Милиция вечно кого-то разыскивает. Нет, нет, нет!..»

Корабль замедлил ход, но Агнешка не заметила этого.

— Вот мы и приехали, — произнес шкипер. — Там, на берегу, Швеция. — И датчанин показал рукой на еле заметную линию у горизонта. — Море спокойное. С богом!

Агнешка удивилась: как быстро кончилось время среди людей, в безопасности. Тяжело поднялась, бессознательно оттягивая момент отплытия. По морю, наедине с Анджеем... Но вдруг испугалась, что моряки заподозрят неладное, и решитель-

но двинулась к байдарке. Шкипер помог им спуститься и улыбнулся на прощание непрошеным гостям.

— Берег недалеко. До свидания, фройляйн!

Сердце Агнешки тревожно сжалось. Датский шкипер показался ей последним человеком, который еще мог ее защитить.

Корабль отплыл.

ГЛАВА 7

В отличие от своего друга, Кузнечика, Зигмунд Краль был обеспокоен и угнетен вынужденной поездкой.

«Лясковский очень легкомыслен, — подумал Корта. — У него авантюрный склад характера. Краль же, напротив, боится неожиданностей».

— Прошу прощения за это неожиданное путешествие, — сказал капитан, — но помочь милиции гражданский долг каждого.

— Конечно, конечно, — быстро отозвался Лясковский. — Я еще не бывал в Щецине. Очень приятно путешествовать к морю за государственные денежки. Да еще летом! Кому не понравится!

— Гражданин Краль, — спросил вдруг Корта официальным тоном, — вы не встречали нигде девушку Лехоня? Ну как ее там? Катарину?

— Нет, — ответил Зигмунд. — Я прохожу практику на заводе. А там, сами знаете, каково студенту. Мастера, инженеры — все лезут с указаниями. Прямо вздохнуть некогда, не то что встретиться с красивой девушкой.

— Бедненький ты наш, — захихикал Кузнечик.

Корта холодно взглянул на него.

«Сейчас у тебя пропадет охота к шуточкам, — подумал капитан. — Стоит лишь взглянуть на лицо, побывавшее в аммиаке».

— Никто из студентов не видел Лехоня?

— Мы не знаем, — сказал Кузнечик, — может, и видели. Но сейчас каникулы. Все ребята разбежались кто куда. Они начнут собираться только к осени.

— Ясно, — буркнул Корта. — Тогда пошли. Взгляните на труп — и вы свободны. А потом можно и на пляж. Погода как на заказ.

— Жаль, что я не пошел на медицинский, — сказал Кузнечик. — Вот профессия так профессия!..

Зигмунд Краль, едва взглянув на труп, твердо сказал:

— Нет, это не он. — Отошел в сторону и стал ходить по коридору в ожидании товарища.

— Боже мой! — услышал он голос Кузнечика. — Что с ним сделали! Чем можно так изуродовать лицо?!

Корта взглянул на студента.

— Аммиак, — коротко пояснил он.

— Нет, это не Лехонь, — сказал Кузнечик. — И дело даже не в лице. Анджей хорошо сложен. Он занимался спортом.

Шаги в коридоре затихли.

«Видно, Краль слышал, что сказал Кузнечик, — отметил Корта, — и ему это не понравилось. Да, кажется, я уже знаю,

кто Хирург. Габлер правильно все понял, у него прекрасное профессиональное чутье».

— Спасибо, — сказал Корта и вместе со студентами поднялся наверх. — Да, еще один вопрос, — небрежно бросил он у выхода из морга, — еще одна мелочь. Лехонь бывал в местечке Влохи под Варшавой?

— Не знаю, — слишком торопливо ответил Зигмунд Краль.

— А вы? — обратился Корта к Кузнечику.

— Может, и ездил, — ответил тот неохотно. — Некоторые студенты снимают комнаты в пригородах. Не всегда можно найти что-нибудь подходящее в Варшаве. Но что касается Влох, бог его знает.

— Понятно, — улыбнулся Корта, — а кроме вас, он дружил с кем-нибудь на курсе?

— Не думаю, — отозвался Кузнечик. — Обычно приятели бывают из одной группы.

— Короче говоря, никто из вашей группы не живет во Влохах? Да или нет?

— Никто, — ответил Кузнечик.

— Желаю приятно провести время на море, — сказал Корта, улыбаясь. — Солнышко так и припекает.

Потом он позвонил в Варшаву.

— Габлер, — сказал он, — спасибо за Кузнечика-Лясковского. Сделайте обыск у Лехоня. Проверьте, кто из студентов третьего курса живет во Влохах. Допросите, если таковые найдутся, в каких отношениях они с Лехонем, когда его в последний раз видели. Срочно дайте мне ответ.

«Ну, — подумал он, кладя трубку, — скоро мы точно узнаем имя этого таинственного грабителя».

ГЛАВА 8

Капитан Корта внимательно разглядывал замызганный черный чемодан. Внутри, на приклеившейся бумажке, с трудом можно было прочитать: «Складная байдарка». Цена стерта. Огорченный поручик сидел рядом.

«И чему он улыбается? — удивлялся поручик Лех. — Бандит снова выскользнул из рук. Надо же было этому случиться именно в Щецине!»

«Забрать чемодан в Варшаву, — думал Корта, — и присоединить к другим вещественным доказательствам. Можно собираться. Миссия на побережье выполнена. Ключ к Хирургу найдем в Варшаве. В день моего приезда в Щецин Хирург с девушкой поплыл вверх по реке. На шестидесятый километр. Туда, где собака нашла чемодан. Ты ничего не мог сделать. С момента встречи с Лехом в поезде у него было в запасе шестнадцать часов. Благодаря этому он и улизнул».

— Вы были правы, когда приказали наблюдать за берегами Одры, — сказал Лех.

Корта усмехнулся.

— Это нам не помогло. Они затерялись в толпе туристов. К сожалению, мы поздно пошли вверх по реке. В это время он был уже в устье. А собака не берет след на воде, поручик.

Чемодан мы нашли. Благодаря этому знаем то, что нам надо.

— Утонет ведь, дрянь этакая! — воскликнул Лех. — Байдарка и на спокойной воде малоустойчива. Волны их сразу перевернут.

«Может, он и погиб на дне залива, — подумал Корта, — не исключено. Жаль только, что и девушку погубил. Ненужная жертва. Если бы мы его поймали, девушка была бы спасена. Даже если она с ним в сговоре, срок получила бы минимальный. В милиционера стрелял он. Ей могут инкриминировать только попытку нелегального перехода границы».

— Следствие продолжается, поручик, — заметил Корта. — Преступник до тех пор считается живым, пока не появятся прямые доказательства его смерти. Все домыслы не в счет. Почти каждое тело рано или поздно выплывает. Если не через год, то через десять лет. Не забывайте, что вся история с байдаркой на Одре могла быть просто состряпана, чтобы сбить нас со следа...

Лех с уважением взглянул на капитана.

— Но это его чемодан! — поручик стукнул ладонью по вещественному доказательству. — Я опознал. Дело не закрыто, а он наверняка прошел через все заслоны пограничников.

— Таких чемоданов тысячи, поручик! — рассмеялся Корта и подумал, что он еще поговорит с Хирургом, если рыбки в заливе не взяли его воспитание на себя.

«У него нет хитрости профессионального преступника, — размышлял капитан, — он просто отчаянный сорвиголова. Но ничего, и у него когда-нибудь подвернется ножка».

— Их еще может задержать патруль, — сказал он громко, — или какой-нибудь польский корабль. В открытом море невозможно удержаться на байдарке. Через два-три дня все прояснится.

«Может быть, море выкинет байдарку на берег, — подумал Лех. — Только преступника-то мы не увидим».

Зазвонил телефон.

— Сообщение пограничников, — доложил поручик.

Корта напряженно смотрел на него, хотя ничего хорошего и не ожидал. В глубине души он был уверен, что Хирург снова ускользнул.

— Никаких следов байдарки в территориальных водах.

Корта встал, не спеша взял чемодан со стола.

— До свидания, поручик, — сказал он тепло.

ГЛАВА 9

Лехонь видел, как руки девушки потрошили и солили рыбу. Она работала рядом с ним. Уже несколько недель он смотрел на эти руки по восемь часов в день, и ему ни разу не захотелось поднять глаза выше, на ее лицо.

Ночи тоже казались ему нелепыми. Они опять спали вместе. Рано или поздно это должно было случиться. Он не помнил, когда это произошло, — через неделю, через несколько дней с тех пор, как они оказались на шведском берегу... Но это значительно упростило напряженные до предела отношения. Ему

не надо было разговаривать с ней, что-то объяснять. Она снова была зависима, ее чувство ненависти притупилось.

Лехонь понял, что теперь нет нужды разыгрывать фарс — девушка будет послушна.

Он интересовался эмоциональной стороной своей совместной жизни с Агнешкой лишь в той мере, чтобы почувствовать, когда она станет для него опасной. Пока бунта не предвиделось, и можно было не занимать мыслей этим вопросом. Своим равнодушием ему хотелось наказать ее за то, что вынужден торчать с ней в одной комнате, спать в одной постели, на одном столе потрошить рыбу, быть вместе все восемь часов работы, работать не покладая рук, как раб, да еще в глубине души и бояться ее. Слишком многим он поступился ради того, чтобы добыть состояние и свободу. Смириться с судьбой? Покорно вспарывать рыбьи брюха и вынимать оттуда внутренности? Даже если это переходный период, все равно слишком тяжелое испытание. Ему хотелось, наконец, пожить. Есть омаров, пить коньяк, жить в дорогих отелях. Нервное напряжение, которое не оставляло его вот уже два месяца, давало о себе знать. Он страстно желал немного расслабиться. Действительность оказалась ужасной. Отныне, правда, не нужно скрываться, убегать, но он привязан к месту таможенными и паспортными формальностями. Для здешней полиции он человек без имени, без национальности, без места на земле. Вырвавшись из клещей погони, он попал в самую гущу смердящей рыбы. Тело его пропахло рыбой, и он чувствовал эту вонь даже по ночам, когда подкладывал под щеку руку. Разъеденная солью кожа потрескалась. От ножа на руках образовались мозоли, суставы опухли и деформировались, а ладонь стала широкой, негнущейся.

«Я и не знал, — думал он, быстрым привычным движением распарывая треске брюхо, — что физическая работа за такой короткий срок может изменить не только руки человека, но и его мозг. Я глупею, у меня не остается никаких потребностей... Хожу к заливу, сижу на берегу и смотрю в море. Как старый рыбак. И неизвестно, сколько это будет продолжаться. Скоро осень. Еще зиму такой работы, и я не выдержу. Сделает ли когда-нибудь полиция нам удостоверения?..»

Анджей внимательно присматривался к двум местным полицейским. Гораздо внимательнее, чем они к нему. Эти полицейские давно привыкли к чужакам — Лехонь и Агнешка ничем не выделялись. На работу ходили в таких же бумажных комбинезонах, как и местные. Загорели. У девушки голубые глаза и соломенные волосы, как у всех здешних женщин. Парень походил на цыгана, но через некоторое время жители и на это перестали обращать внимание.

Агнешка и Анджей подчинялись правилам и не выходили за границу дозволенной им для передвижения территории, не причиняя, таким образом, лишних хлопот властям.

Лехонь сознательно не нарушал предписанного им запрета. Он знал, что однажды придется нарушить правила, и тогда надо будет действовать уже наверняка. Послушание притупляет внимание властей. Анджей исходил островок вдоль и поперек, изучил каждое углубление в скалах побережья на протяжении километра, где он имел право свободно передвигаться. Гото-

вился к дню, когда они с Агнешкой сбегут от шведской полиции, оказавшейся такой негостеприимной и не сочувствующей беженцам, искавшим политического убежища.

Агнешка сразу же по прибытии предъявила паспорт. Лехонь не успел ей помешать, так как вовсе не предполагал, что она взяла с собой документы. Правда, для него это не имело серьезного значения. Шведскую полицию интересовало в основном одно: явились ли причиной их побега политические мотивы или же они преступники? Полицейские появились сразу, едва байдарка коснулась берега. Лехонь, правда, успел спрятать папку с драгоценностями в расщелине скалы. От злости он выдумал себе имя, которое невозможно произнести иностранцу, — Казимеж Кшэя. Шведы давились этим именем целых три дня. И каждый раз Анджей злорадно смотрел на их брызгающие слюной губы, выговаривающие трудное сочетание звуков.

В душе он проклинал все на свете. И тут, на Западе, он не имел возможности обменять свое состояние на звонкую монету, на деньги, которые помогли бы ему узнать красивую жизнь. Оказалось, что и здесь, в Швеции, он вынужден держать драгоценности под матрацем, как в Выжиске. Он спал с Агнешкой и мог только мечтать о двойнике Ингрид Бергман. Вместо руля «мерседеса» он держал в руках нож для потрошения рыбы. Вместо стриптиза в Стокгольме часами созерцал безбрежное пустынное море, которое возненавидел с той памятной ночи.

Несмотря на растущую ненависть ко всему свету, Анджей притаился и пытался собрать волю в кулак.

— Агнешка, — сказал он однажды, когда возвращались с пристани в домик рыбака, у которого жили, — надо отсюда смываться, пока зима не настала. В октябре на море начнутся шторма.

Анджей говорил больше для себя, чем для нее. К ее мнению он никогда не стал бы прислушиваться, хотя это касалось и ее тоже. Они не расставались, как сиамские близнецы, были обречены на общение друг с другом, потому что не знали местного наречия. Страх оказаться одной на чужбине заставлял девушку держаться Лехоня, и, хотя у нее на многое открылись глаза, Агнешка старалась ни в чем не перечить ему. Она неплохо зарабатывала, но здесь, как и в Выжиске, дни были похожи друг на друга — работой начинались и работой заканчивались.

У Агнешки появился свой философский взгляд на жизнь. Она решила, что другой жизни вообще не бывает, поэтому и нечего искать несуществующее. Больше ей никуда не хотелось двигаться, но тогда нужно расстаться с Лехонем. Однако сил для этого не было. Когда дни оказывались особенно тяжкими, она ворочалась в постели без сна и думала, что скоро из Польши придет подтверждение документов и все узнают, что никаких политических мотивов для эмиграции у нее быть не могло. О бумагах Лехоня она и думать боялась — охватывал такой страх, что рассвет заставал ее с открытыми глазами, а потом она засыпала прямо за разделочным столом. Ее преследовали картины возвращения в Польшу под стражей, тюрьма...

Агнешка верила, что Анджей найдет выход из положения.

Ей не хотелось возвращаться таким образом на родину. Что бы она ни думала об Анджее, что бы ни подозревала, он для нее оставался единственной надеждой на спасение. Потому-то она и мирилась с сожительством, как и с предстоящим побегом. Она была готова сделать все, что бы ни приказал ей этот человек.

«Самое страшное в жизни я пережила. Ужаснее тех часов на море, пока не приплыл корабль, быть не может», — думала она.

— В первую же темную ночь мы должны уплыть на байдарке в залив, — сказал Лехонь через несколько дней после того, как дал понять, что они тут не останутся. — Надо сесть на западногерманское судно, идущее на материк. В ФРГ полиция не будет нас спрашивать, зачем мы приехали. Там мы устроимся.

Агнешка равнодушно кивала. Она не обращала внимания на его обещания. Воздушные замки, которые Анджей рисовал перед ней у дяди в Колобжеге, рухнули, остались пустые слова. Ей вечно что-то обещали, а на деле — сплошное невезение и несчастья.

«Почему именно мне так не везет? — размышляла она с удивлением. — В Польше думают, что на Западе совсем нет полиции. Если бы я могла вернуться... Но я никогда не вернусь: там меня ждет тюрьма. А это равносильно смерти. Лучше снова в залив. Там хоть может оказаться спасительный корабль. А если нет — что ж, придется утонуть с человеком, которого мне послала судьба на вокзале в Гдыне».

Она могла вынести все, но взглянуть в глаза отцу и матери теперь не осмелилась бы.

«Хватит того, что я им мальчика принесла, — с грустью думала она. — А тут вдруг тюрьма, косые взгляды соседей. Жизнь моя перевернулась, с тех пор как я познакомилась с этим негодяем, отцом мальчика».

— Ты хоть байдарку почини, — сварливо сказала она, — замажь щели смолой. Если уж умирать, то не из-за твоей оплошности.

Лехонь искоса взглянул на нее, пожал плечами.

— Никто не собирается умирать. Ты совсем поглупела. И всегда-то была идиоткой, а в Швеции вовсе голову потеряла. Увидишь, какая жизнь нас ждет в ФРГ. Неоновые рекламы, машины, рестораны... Ты научишься одеваться, краситься, разговаривать с людьми. Там настоящая Европа.

Ей было всего двадцать лет. Она видела эту «красивую жизнь» только в кино. Перед глазами всплыли полузабытые образы киногероев, и она еще раз почти поверила, что когда-нибудь сядет в автомобиль, скользящий по залитым неоновым светом улицам, что на ней будет шуба, в руках маленькая экзотическая собачка, а на голове — розовый нейлоновый парик... В эту ночь она заснула спокойно, поверив в прекрасную мечту.

ГЛАВА 10

След Хирурга обрывался на побережье. Телефонограммы, регулярно приходящие от поручика Леха, не содержали ничего

нового. Ни один из продавцов спортивных товаров в щецинских магазинах не заметил человека с приметами Хирурга. Правда, на это Корта особенно и не рассчитывал. На побережье вряд ли кто обратит внимание на покупающего байдарку человека.

Экспертиза чемодана, найденного в кустах возле Одры на шестидесятом километре, закончилась полным фиаско. Эксперт исследовал его внутри и снаружи сантиметр за сантиметром. Промокший и размякший дерматин не сообщил ничего о своем владельце.

Во время допроса Зенона Новацкого, которого разыскал сержант Кирилко во Влохах, на улице Гречаной, Корта убедился, что Краль и Лясковский не сказали всего, что знали о Лехоне. Капитан, однако, собирался до поры до времени оставить студентов в покое и не вызывать в управление. Оба парня не меняли места жительства и продолжали вести прежний образ жизни. Одним словом, в их поведении не было ничего подозрительного.

«Нет, — думал Корта, — эти парни, по-моему, не причастны к преступлению, но все же что-то скрывают от нас».

Из человека, который не совершал преступления, очень трудно что-либо вытянуть, если он не хочет говорить. Корта взял студентов под наблюдение, полагая, что Лехонь может попытаться установить с ними связь.

Зенон Новацкий на допросе выгодно отличался от своих приятелей, пытался вспомнить мельчайшие подробности, которые могли бы помочь милиции. Было очевидно, что он встревожен и напуган неожиданным исчезновением Лехоня.

— Анджей был талантливее многих из нас, — говорил Новацкий, — и у него были все данные сделать хорошую карьеру в жизни.

Капитан знал, что такие прогнозы жизнь очень часто опрокидывает, но сейчас не время да и не место разубеждать Новацкого.

Характеристики, которые даются одному и тому же человеку разными людьми, всегда имеют огромное значение для следствия.

Для Краля и Лясковского Лехонь прежде всего близкий приятель, и они воспринимали эмоциональное начало его натуры, которое в нем преобладало. Потому и были так сдержанны в своих показаниях, тогда как Новацкий восторженно говорил о проявлении характера Лехоня совсем в другой области.

Родители Новацкого тоже хорошо отзывались об Анджее, говорили о его тяге к семье. Новацкий не знал Катарину и никогда не слышал о ней от Анджея. Он утверждал, что помнит всех знакомых девушек Лехоня. И если бы Анджей встречался с какой-нибудь Катариной, то наверняка бы привез ее во Влохи, потому что всегда проводил там воскресенья.

— Не было ни одной девушки, которую он не показал бы моей матери, — говорил Новацкий. — Вас ввели в заблуждение.

«Значит, он познакомился с этой Катариной перед своим исчезновением, — подумал Корта. — Интересно, ее он утопил в заливе?..»

Через две недели после предполагаемого отплытия Хирурга море выбросило на берег хлопчатобумажную куртку. Поручик Лех утверждал, правда, что Хирург был одет иначе, но у него наверняка был не один костюм. С другой стороны, куртку мог потерять любой отдыхающий на побережье... Карманы куртки оказались совершенно пустыми, даже носового платка не было.

Новацкий в отличие от Краля и Лясковского часто сам звонил и заходил в управление, справляясь о Лехоне. Он написал очень деликатные и осторожные письма его родителям и тетке в Краков, стараясь не вызвать никакого беспокойства у близких Анджея.

На одной из таких встреч, состоявшейся по инициативе Новацкого, Корта показал словесный портрет Хирурга среди нескольких других фотографий.

Молодой человек бегло просмотрел все предложенные ему снимки и несколько дольше задержался взглядом на изображении Хирурга, но в конце концов и его отложил в сторону. В следующий раз Новацкий принес Корте любительский снимок Лехоня. Корта мысленно сравнил снимок со словесным портретом Хирурга. Любительский снимок изображал веселого стройного парня, загорелого, широкоплечего. Большой, хорошо очерченный рот открывал в улыбке ряд крепких белоснежных зубов. Корта положил словесный портрет Хирурга рядом с этой фотографией.

Новацкий удивился, когда капитан спросил его, как выглядели руки Лехоня.

— Знаете, я как-то не обращал внимания. По-моему, такие подробности скорее девушки замечают, — он рассмеялся. — Но у него вроде бы и вправду были красивые руки. Длинные пальцы, узкая ладонь.

Парень на снимке одной рукой опирался на пень. Корта вытащил из ящика увеличительное стекло.

Действительно, у парня красивые руки. Если бы Зенон Новацкий еще вспомнил, какие солнцезащитные очки носил его приятель...

К сожалению, молодой Новацкий оказался не очень наблюдательным. Корта послал Кирилко с этими очками к матери Новацкого, надеясь на то, что женщины уделяют больше внимания подобным мелочам. Но его расчет не оправдался.

Капитан приказал сделать копии со всех снимков Лехоня, которые приложили к делу, дополнив их бородкой, очками и мягкой шляпой с широкими полями.

Фотомонтаж произвел потрясающее впечатление на продавщиц ювелирного магазина. Они в один голос утверждали, что это снимок бандита, который их так напугал. Поручик Лех по фотографии узнал в Анджее Лехоне своего попутчика, владельца черного чемодана.

Корту теперь интересовало только одно: где же все-таки находится преступник? На территории Польши, на дне морского залива или уже наслаждается где-нибудь нейлоновой цивилизацией? Он разослал сообщение главного управления о розыске опасного преступника Анджея Лехоня, бывшего студента Варшавского университета.

ГЛАВА 11

Байдарка бесшумно соскользнула в воду. Маленькое углубление в скалах надежно скрывало ее от любопытных взглядов с берега. Лехонь знал, что хромоногий пес из охраны не придет сюда. Анджей слишком долго наблюдал за обитателями острова. Даже влюбленные не ходили по вечерам к морю. Только он в одиночестве появлялся каждый вечер на морском берегу, изучал окрестности.

Бережно положил Анджей папку с драгоценностями рядом со своим сиденьем. Больше они ничего с собой не взяли. Опыт научил их. Он нащупал в кармане последний портсигар, который предполагал предложить в уплату за доставку их в ФРГ — не хотел на глазах у Агнешки рыться в папке и привлекать внимание чужих к своему багажу. Пистолет с единственной пулей переложил во внутренний карман пиджака.

Занятый своими мыслями, Анджей методично работал веслом, и когда оглянулся, то отмель и прибрежные скалы уже пропали из вида. Со всех сторон их снова окружала темная вода. Он уже не ощущал страха одиночества, не боялся волн. Он теперь не новичок в море и гораздо лучше подготовлен к путешествию, чем в первый раз.

Агнешка взяла с собой литровый алюминиевый черпак. К поясу прикрепила фляжку с пресной водой.

«Мы стараемся избежать ошибок прошлого, — думал Лехонь, — но можем ли предвидеть ошибки в будущем?..»

Анджей собирался пересечь территориальные воды, не заплывая слишком далеко в открытое море. Дождаться корабля. Он понимал, что глупо мотаться по заливу при таком сильном волнении: волны наверняка зальют и потопят байдарку. В случае неудачи он решил вернуться, не дожидаясь рассвета, и спрятать байдарку в скалах. А в следующую ночь сделать еще одну попытку пересесть на немецкий корабль. Он повернул байдарку носом к набегающим волнам, зажег спичку и посмотрел на стрелку компаса.

«Мы находимся приблизительно в том месте, где нас в прошлый раз высадил датчанин, — подумал Анджей, — здесь надо остановиться и подождать. Если не появится корабль, вернемся. Хватит сумасбродства. Так можно и без головы остаться».

В полумраке перед собой он видел четкий силуэт девушки. Анджей вдруг понял, что это бесстрастное существо, которое он вот уже столько времени таскал за собой, не возбуждает в нем никаких эмоций, даже ненависти не вызывает... Он не видел избавления в ее смерти, хотя и понимал, что такой свидетель похождений не может оставаться в живых. Теперь он ничего не сделает под влиянием минуты, не подумав. С момента высадки в Швеции Анджей старался как можно трезвее оценивать свое положение.

«Слишком много было грехов на родине. Нельзя таким же манером начинать жизнь за границей. Конечно, надо будет избавиться от девушки, но только не своими руками...»

Он ощутил лежавшую под сиденьем папку с драгоценностями и сразу успокоился: это гарантия его дальнейшей чистой, безупречной жизни.

— Огни! — сказала Агнешка.

Анджей давно их заметил, но не собирался проситься на первый попавшийся корабль лишь потому, что палуба устойчивее байдарки.

Корабль подошел ближе, и прожектор с палубы ярко осветил байдарку и пассажиров. Анджей приподнялся, крикнул. Корабль сбавил ход — их заметили. Кто-то с палубы бросил им канат.

— Осторожно! — крикнул Анджей девушке, встал в полный рост, перехватил канат, и в этот миг байдарка выскользнула у него из-под ног. Анджей рухнул в воду, а когда вынырнул, то услышал протяжный гудок. С палубы в воду летели спасательные круги. Анджей резко мотнул головой, пытаясь откинуть прилипшие пряди мокрых волос. Соленая вода разъедала глаза, но и сквозь пелену слез он разглядел байдарку и плавающую возле нее девушку. Агнешка судорожно хватала ртом воздух и захлебывалась, перебирая по-собачьи руками и ногами; в какой-то миг она сумела ухватиться за один из спасательных кругов.

Потом Лехонь увидел, что байдарка перевернута вверх дном.

«Папка», — мелькнуло в голове, и он как одержимый рванулся к байдарке. Нырнув под нее, стал лихорадочно шарить руками под сиденьем, но там ничего не было. Задыхаясь, он вынырнул из-под байдарки и перевернул ее. Лодка до краев была наполнена водой и не могла держаться на поверхности. Лехонь понял, что уже не сможет спасти байдарку — свое единственное средство передвижения. Рядом плавали бесполезные теперь весла.

«Конечно, такая тяжесть: золото, камни, — с горечью подумал он. — Они сразу пошли на дно».

Анджей нырял еще и еще, но одинаково безрезультатно. Наконец он почувствовал полное изнеможение. Костюм намок и тянул на дно.

«Так ведь и утонуть можно», — подумал он и ощутил безразличие ко всему на свете. Анджей был отличным пловцом — руки и ноги двигались автоматически, удерживая его на поверхности. Моряки вытащили Лехоня на палубу. На корабле его подхватили чьи-то сильные руки и поставили на ноги. Он стряхнул с себя воду, как мокрая собака, и сунул руку в карман, где лежал золотой портсигар. Вынул его и молча отдал шкиперу. Потом неожиданно сел прямо на палубу.

«Оружие намокло, — подумал он. — Все-таки я правильно сделал, что оставил часть драгоценностей в земле. Когда-нибудь вернусь туда и выкопаю их. Пока об этом нечего и думать. Придется браться за работу. А ее выгоню к чертям! Она знает немецкий, ну и пусть устраивается как хочет. Только бы меня оставила в покое».

Немецкий моряк жестами пытался ему объяснить, что надо снять мокрую одежду.

— Ночи очень холодные, — говорил моряк по-немецки, но Анджей не понимал его.

Наконец немец все втолковал потерпевшему и повел его в каюту. Моряк шел впереди, и Анджею удалось незаметно выбросить за борт пистолет. Немец не оглядывался. В каюте сидела Агнешка в широких штанах и тельняшке. Она пила

чай. Не желая с ней разговаривать, Анджей сбросил одежду и остался в чем мать родила. На девушку он не обращал никакого внимания. Им овладело странное равнодушие ко всему на свете. Агнешка опустила глаза. Немец смутился и стал в углу каюты искать одежду для Анджея.

— Он предлагает тебе горячий чай. Что с тобой? — озабоченно спросила девушка. — Ты ударился? Или, быть может, наглотался воды?

— Нет, — буркнул он, — просто у нас ничего не осталось. Все мамины драгоценности лежат на дне морском.

Агнешка огорчилась, но не слишком, потому что не знала, сколько было у него драгоценностей и на какую сумму.

— Что же делать? — сказала она. — Работу мы найдем, как и в Швеции. Жаль только, что погибла память о матери.

Анджей тупо смотрел на нее. «Господи, — думал он, — какая дура! Память о матери!..» Он захохотал, словно сумасшедший, стал размахивать руками, бить себя по голове. Но сразу сильно закашлялся, покраснел, выплевывая остатки соленой морской воды.

— Мы плывем в Гамбург, — сказала Агнешка весело, радуясь, что его больше не огорчает потеря. Ее ведь нельзя за это винить: Анджей сам перевернул байдарку. Но у него никогда ничего не поймешь. Не угадаешь, что он скажет еще, какие новые претензии ей предъявит. Она из-за него чуть не утонула, но Анджей всегда на нее все сваливал. Он злился на нее за то, что их заставляли потрошить рыбу, словно это она уговорила его бежать из Польши, покинуть родину. А сейчас он смеется. Значит, не сердится на нее.

— А все-таки жаль, — повторила она, — всегда можно было бы что-нибудь продать, если придется туго. Но ничего не поделаешь. Папку уже не вернешь. Самое главное, что мы попали на корабль, который довезет нас до ФРГ. Нам повезло.

«Повезло! Повезло! — мысленно злился Анджей. — Это тебе повезло, курица несчастная! А мне...»

Он застегнул пояс чужих брюк и сел на койку, бессмысленно уставившись на свои руки. Анджей не знал, сколько времени так просидел, но вдруг очнулся и сразу не сообразил, в чем дело. Мотор работал с перебоями, а вскоре и вовсе захлебнулся. В каюте стало тихо. Вибрация машины прекратилась. Через секунду на палубе загромыхали сапоги.

«Странно... Почему такая тишина? — подумал Анджей. — Неужели они решили забросить сети?..»

— Выйди, Агнешка, узнай, в чем там дело. — Он не успел договорить, как в дверях каюты появился шкипер.

— Дефект? — удивился Лехонь. Он услышал длинную тираду немца и разобрал лишь одно это слово. — Вся моя жизнь испорчена, — добавил он горько.

Снова надо работать из последних сил. Уж лучше учиться, сдавать экзамены, за гроши выбивать ковры, давать уроки школьникам-тупицам... Невольно он прислушивался к тому, что говорил немец. Тот все время повторял слово «Щецин».

— Что он говорит?! — заорал Анджей. Он не мог сдержаться, несмотря на то, что показывать свои истинные отношения с Аг-

нешкой вовсе не входило в его планы. — Почему он все время повторяет «Щецин»?! Говори сейчас же!

— Они запросили Щецин по радио и попросили помощи, — объяснила девушка, не смея поднять на него глаза. — Оттуда пришлют буксир, который отведет корабль в щецинский порт. Это ближайший пункт. Там можно дешево сделать ремонт.

Анджей рывком повернулся к шкиперу. В первый момент он даже страха не испытал, а только безграничное удивление. Он возвращается туда, откуда бежал, не раз подвергая жизнь смертельной опасности! Его, как быка на веревке, тянут снова на бойню, и он ничего не может сделать. Буксир поведет эту развалину на стальном тросе...

«Тебя нет. Ты умер, — пронеслось у него в голове, — умер, как этот корабль. Ничто уже тебе не поможет. Удача покинула тебя. Ничто отныне не повернет ветер в другую сторону. Шторма не будет».

Он взял протянутую Агнешкой чашку чая. На пальце у девушки блеснул бриллиант, подаренный им еще в Гдыне, в зале ожидания. Хотя Анджей теперь был игрушкой в руках судьбы, в нем еще действовал инстинкт самосохранения. Он сказал:

— Сними кольцо. Сними и спрячь, да так, чтобы ни один таможенник при обыске не смог найти.

Он снова поднес чашку ко рту и прислушался. Корабль тихо покачивался на волнах. Команда успокоилась, ожидая буксира.

Лехонь слышал только тишину. Она впилась в его мозги, в нервы, в тело. Она покорила его окончательно. Он побежден. Ему казалось, что вот-вот нервы не выдержат, что он вскочит, начнет рычать, бить, громить все, что попадется под руку. Он не мог больше сидеть, слушая равномерный шум моря и грозное молчание неба. Он стиснул чашку пальцами так, что она треснула. Это привело его в чувство.

«У меня мало времени, — подумал он, — буксир придет очень скоро. Неизвестно, что произойдет в порту. Я должен ей объяснить, что говорить, если мы вдруг окажемся в руках милиции».

ГЛАВА 12

„Упрямый до предела, — подумал капитан Корта, — добровольно показаний не даст. Нужно найти уязвимое место. Надо подобрать ключик... А не сыграть ли на амбиции парня?..»

Вот уже вторую неделю капитан возился с Лехонем. Анджея вызывали на допрос в десятый раз, но он, как и прежде, вел себя непринужденно — глаз не опускал, не смущался. «Ну и что, — словно говорил он, — покажи мне еще хоть пять таких фотографий. Приделай мне бороду, одень в накидку и позови продавщиц из ювелирного магазина прямо сюда. Пусть весь свет трезвонит, что парень с твоих портретов и фотомонтажей — это я. Где у тебя доказательства? Золото из магазина?

Пистолет, накидка, шляпа, очки? Где у тебя хоть один неоспоримый аргумент?..»

«Если он не признается, — думал Корта, — процесс окажется совсем не убедителен. Будут свидетели, очные ставки, а из вещественных доказательств — только один чемодан. И судьям, и свидетелям, и общественности нужно единственное слово — «да». Если скажет «нет, не виновен» даже убийца, то самый справедливый и объективный приговор ставится под сомнение. Защитник произнесет замечательную речь, и все симпатии будут на стороне обвиняемого».

Капитан знал лишь фрагменты из жизни человека, сидевшего напротив. Только он сам мог помочь Корте заполнить недостающие пробелы. «Где спрятал золото? — размышлял капитан. — Что делал во Влохах? Кто такая Катарина? Какую роль играли в его жизни Лясковский и Краль? Зенон Новацкий? Куда он дел все детали своего грима? Что делал последние две недели?»

— Почему вы бросили учение? — в десятый раз спросил капитан Корта.

Лехонь усмехнулся. Он твердо придерживался придуманной истории.

— Мне надоело, — лениво сказал он.

Настала очередь капитана улыбнуться.

— Но ведь вас считают исключительно способным студентом, — заметил Корта. — У вас были все данные стать хорошим инженером.

— Какое будущее в наше время у простого инженера? — неопределенно пожал плечами Лехонь.

— Хотите чашку кофе? — вежливо спросил капитан. Лехонь снова безразлично пожал плечами. Капитан позвонил и заказал два кофе. Угостил Анджея сигаретой. Анджей взял, потянулся к огоньку капитанской зажигалки. Корта задержал взгляд на руке Лехоня. Нет, руки нельзя назвать красивыми и тонкими. Это руки рабочего человека — с потрескавшейся, обветренной кожей, с мозолями и узловатыми суставами.

— Пришлось крепко потрудиться в последнее время?

— Да уж пришлось, работал на уборке урожая в одном хозяйстве. Жить-то надо!

Щецинская милиция ссадила Лехоня вместе с девушкой с немецкого корабля. Они спрятались в канатном ящике. У рабочего-ремонтника, исправляющего мотор, не хватило ветоши. Идти на берег не хотелось, вот он и решил заглянуть в ящик.

Команда покинула корабль, как того требовали таможенные положения. Лехонь утверждал, что именно в это время они с Агнешкой пробрались на корабль, решив уплыть в Швецию. Им захотелось морских приключений. Шкипер и команда очень удивились, узнав, что на борту корабля притаились «зайцы».

После ремонта они получили разрешение выйти в море. Пограничники не находили оснований для задержания немецкого корабля в Щецине. Показания молодых любителей приключений и команды совпадали. Обе стороны утверждали, что прежде никогда друг друга не видели. Девушка в щецинском

управлении, а потом и в Варшаве придерживалась версии Лехоня, и, хотя поручик Лех легко узнал пару, с которой ехал в поезде, его показания ни на йоту не продвинули дела, так как вовсе не противоречили показаниям молодых людей.

«Это все не то, — думал капитан. — Нам известно, что он познакомился с девушкой на вокзале в Гдыне, что был у ее родителей в Выжиске, что потом они вместе бродили по Польше. Пытались укрыться на корабле... Чушь, абсолютная чушь!»

— А почему вы решили уехать в Швецию? — спросил Корта. — Вам что, на родине плохо живется?

— Нет, почему же, я обожаю свою родину, я истинный польский патриот, но у меня нет двадцати тысяч злотых, чтобы купить туристскую путевку и поехать в кругосветное путешествие, — язвительно ответил Лехонь. — Мне для этого надо вкалывать десять лет. А я ведь не сумасшедший — ждать столько времени. Да и девочка моя этого не захотела бы. Кроме того, я интеллигентный человек. Поэтому я не мог украсть эти деньги. Кроме того, как вы сами изволили заметить, меня ожидает блестящая карьера рядового инженера. Будущий инженер и бывший вор — неувязочка получается.

— Неувязочка, — вздохнул капитан. — Ну ладно, хватит об этом. А все-таки куда вы девали папку, чемодан, рюкзак?

— Знаете, в этом ящике для канатов просто физически не могут уместиться два человека плюс рюкзак, чемодан и папка, — ответил Лехонь с иронией.

— А зачем вы покупали байдарку, если надеялись пробраться на корабль?

— Что вы? У меня никогда не было никакой байдарки.

— Неужели?! — рассмеялся капитан. — Поручик Лех пишет в своих показаниях, что видел вас со складной байдаркой.

— Интересно, как он мог меня видеть с тем, чего у меня никогда не было? — очень спокойно ответил Лехонь. — У нас действительно был черный чемодан с носильными вещами, но вещи пришлось продать на толкучке в Гдыне. Вы же видели: в этот ящик мы еле-еле вдвоем влезли. Ни о каких вещах и речи не могло быть.

— А что вы делали на шестидесятом километре под Щецином в конце июня?

— Я там никогда не был.

Корту стало раздражать упрямство этого сопляка.

«Уже десятый допрос ходим вокруг да около. Надо показать чемодан. Может быть, хоть это немного собьет с него спесь, — подумал капитан. — До чего самоуверен, нахал!»

— Странно, а мы как раз возле шестидесятого километра над Одрой нашли ваш черный чемоданчик, — сказал Корта, потирая руки. — В кустах, возле самого берега.

— Мой чемодан купил какой-то моряк на толкучке, — не моргнув глазом ответил Лехонь.

«Мой чемодан, — подумал он и почувствовал, как у него за-

дергалась правая щека, — я был уверен, что у них нет ни одного вещественного доказательства. — Щеку еще сильнее свел судорожный тик. — Этого только не хватало. — Огромным усилием воли он заставил себя расслабиться и с облегчением вздохнул: — Отпустило... Надолго ли меня хватит?»

Капитан почувствовал это напряжение воли у допрашиваемого, но не понял, почему сообщение так его взволновало.

«Он не боится чемодана, — подумал Корта, — но ничего, подождем. Времени у нас достаточно. Попробуем что-нибудь другое».

— Девушка утверждает, что плыла вместе с вами по Одре в байдарке до Свиноустья, а оттуда до морского залива, — попытался подойти Корта с другой стороны.

«Он пытается поймать меня, — метались лихорадочные мысли. — Агнешка ничего не могла сказать. Пока нас тянул этот проклятый буксир, мы все с ней выучили и отрепетировали. Оговорили каждую мелочь. Я же вбил ей в голову все этапы нашего пути от Выжиска вплоть до проникновения на корабль. Она вызубрила этот маршрут как алфавит. Это исключено, она не могла засыпаться. Тюрьмы она боится больше смерти. Она же понимает, что этим окончательно скомпрометирует себя в глазах родных. Она ни за что не признается в нелегальном переходе границы. Сейчас она защищает собственную шкуру».

Лехонь успокоился. Нервный тик прекратился.

«Через девушку я его не достану, — вздохнул про себя Корта. — Непонятно, почему, но он уверен в ней. Не похоже, что она его так безумно любит, как говорил Лех. Видимо, между ними что-то произошло, что-то такое, что открыло ей глаза и в то же время еще больше к нему привязало».

Лехонь положил руки на стол, и капитан еще раз убедился, что они вовсе не похожи на руки Хирурга, описанные свидетелями. Это уже не улика. И все-таки Корта ни секунды не сомневался, что перед ним именно тот, кого они так долго разыскивали, а Лехонь прекрасно понимал, что у милиции какие-то улики имеются.

Капитан знал, что рано или поздно Лехонь будет сломлен. Своим упорством он только продлевает свои же страдания. В глубине души Корта даже посочувствовал парню.

«Надо кончать. Я уже сыт по горло. Слишком много сил и нервов положил на этого парня. Ты был сильней меня в байдарке, но тут шалишь, брат, тут я сильнее тебя...»

Он открыл ящик стола, вынул продолговатую коробочку и взглянул на Анджея. Тот оставался совершенно спокоен. Его проницательные серо-зеленые глаза встретились с глазами Корты. Лехонь и не предполагал, что сейчас наступит поворотный пункт всего следствия, что Корта нашел уязвимое место, которое искал столько дней.

Лехонь вдруг понял, что ему не уйти от этого человека.

— А этот предмет вам знаком? — спросил капитан и медленно открыл коробку.

Лехонь резко наклонился и увидел очки с тремя белыми стрелками на оправе. На его лице отразилось изумление.

Они неподвижно сидели друг против друга — капитан милиции и бывший студент университета Анджей Лехонь. Казалось, время замерло. Все происходящее походило на внезапно застывший кинокадр.

«Готов», — подумал Корта, но не произнес ни слова. Пауза затянулась.

— Вам ведь знакомы эти очки, правда? — резко спросил капитан и поглядел прямо в глаза Лехоню.

«Они достали очки из выгребной ямы, — со странным облегчением подумал Лехонь. — Кто-то видел меня. Значит, они нашли и все остальное...»

— Да, мне знакомы эти очки, — сказал он, сникнув. Судорога прошла по лицу. — Это мои очки.

Капитан Корта включил магнитофон. Он почувствовал усталость.

— Итак, — произнес он сухо, — как это произошло? Расскажите все с самого начала.

— Сначала? — повторил Лехонь и слегка улыбнулся. — Сначала я познакомился на выпускном балу с девушкой. Звали ее Катарина...

Перевела с польского И. Смирнитская

ЧЕРТЫ ЗРЕЛОСТИ

НИКОЛАЮ ДОРИЗО — 50 ЛЕТ

Имя Николая Доризо хорошо известно нашим читателям, оно давно и прочно вошло в «поэтическую рубрику» советской литературы. Проникновенные лирические стихи поэта снискали себе многочисленных друзей и почитателей среди молодежи.

Широкое признание нашли песни на стихи Николая Доризо. Собственно, с популярной песни военной поры «Дочурка», написанной поэтом-солдатом, когда ему еще не было двадцати лет, и началась его творческая биография. За тридцать лет творческой работы поэт создал немало замечательных стихотворений и поэм о нашей действительности, тепло воспевающих благородные чувства любви и дружбы. А такие песни, как «Помнишь, мама моя?..», «У нас в общежитии свадьба», «Вальс школьников-выпускников», «Огней так много золотых», «Давно не бывал я в Донбассе», «Мужской разговор», «Песня о любви» и другие, на протяжении многих лет волновали и волнуют сердце своей лиричностью и доходчивостью.

Николай Доризо является автором драматических произведений. В театрах страны идут его трагедия в стихах «Место действия — Россия», драма в стихах «Утром после самоубийства», комедия «Конкурс красоты». Недавно в нашем журнале опубликовано новое драматическое произведение поэта — «Две женщины и зависть».

В последнее время Н. Доризо выступил и в жанре прозы: в журнале «Москва» напечатана его остросюжетная повесть «Измена».

Поэт полон творческих замыслов и планов, он много ездит по стране, встречается с рабочими, студентами, солдатами Советской Армии. Одна из его книг так и называется — «Люблю писать в дороге». Это не столько название книги, сколько жизненное и творческое кредо поэта. Недавно Николай Константинович вернулся из одной воинской части, куда он ездил

в длительную творческую командировку, и передал редакции журнала несколько своих новых стихотворений «Из военной тетради».

Предлагая нашим читателям эти стихи, «Молодая гвардия», пользуясь случаем, поздравляет поэта с его 50-летием и желает ему новых творческих успехов, плодотворных путешествий в Страну поэзии.

Николай ДОРИЗО

КРАЙ ГОТОВНОСТИ ПОСТОЯННОЙ

Засекреченный,
Безымянный,
Ты в солдатскую форму одет,
Край готовности постоянной
Верных долгу сердец
И ракет.
Ты в просторах России затерян,
Скрытый в дымном,
метельном снегу,
Каждый винтик снаряда проверен,
Каждый твой автомат начеку.
Я люблю твою гордую
скромность,
Не грозящую миру войной.
Я твою боевую готовность
Ощущаю всегда за спиной.
Я горжусь твоей силой
охранной.
Но не только лишь эта земля,
Край готовности постоянной,
Ты везде,
где Отчизна моя!

* * *

Точеный венчик молочая.
О, как он радует мой глаз.
А мы живем,
не замечая
Того,
что окружает нас.

Незрячая привычка взгляда.
Живое таинство цветка...
Чтобы его увидеть,
надо
Прийти к нему
издалека.



Николай СМЕЛЯКОВ

ТЫЛ СРАЖАЕТСЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

---

6 мая 1941 года И. В. Сталин был назначен Председателем Совета Народных Комиссаров СССР. Авторитет его в то время был непререкаем. Пожалуй, никто в мире не пользовался таким влиянием, как Сталин. Сосредоточение государственной власти и партийного руководства в одних руках само по себе характеризовало начало особого периода. Подобная централизация управления для того времени была оправдана. Для промышленности это был сигнал: будь готов к обороне!

Сразу же за этим назначением последовал ряд решений, которые определяли дальнейшее развертывание промышленного производства оборонной продукции.

Страна перешла на восьмичасовой рабочий день вместо семичасового, семидневную неделю вместо пятидневной. Запрещен самовольный уход рабочих и служащих с предприятий и учреждений (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года). Через две недели после этого был опубликован Указ «Об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов промышленными предприятиями». Вслед за ним, через два месяца, принят закон «О государственных трудовых резервах». Осуществлена реорганизация управления промышленностью. Образованы новые отраслевые наркоматы. Был взят решительный курс на развитие в первую очередь оборонной промышленности.

Н. Н. Смеляков — заместитель министра внешней торговли, автор известной книги «Деловая Америка», написал воспоминания «С чего начинается Родина», которые выйдут в Политиздате. Предлагаем вниманию читателей главы из них.

По всему чувствовалось приближение важных событий. Росла тревога. Печать публиковала сообщения из-за рубежа, которые еще более настораживали. В Соединенных Штатах объявлено национальное чрезвычайное положение. Президент Рузвельт отдал распоряжение об увеличении личного состава армии и военно-морского флота. Американский конгресс пересматривал закон о нейтралитете.

В мае 1941-го президент США подписал законопроект об ассигновании в следующем бюджетном году 3415 миллионов долларов на военные нужды. Почти половина выделенных средств предназначалась для строительства военных кораблей. Остальное шло на усиление авиации, модернизацию существующих кораблей и строительство военно-морских баз. Намечалось создание продовольственных запасов на стратегических базах США, в том числе на Гавайских, Филиппинских островах и в Порто-Рико, на случай военных действий, блокады или затруднений в судоходстве. Палата представителей одобрила законопроект, значительно расширяющий право правительства требовать от промышленности выполнения в первую очередь военных заказов и ограничения использования необходимых материалов для гражданских нужд.

В газетах все чаще привлекали внимание многозначительные заголовки: «Строительство военных предприятий в США», «Потери английского судоходства», «Объединенное совещание представителей японского правительства и верховного командования». 21 мая 1941 года Вашингтон объявил о создании Управления гражданской обороны в США. Америка готовилась к войне.

Все для фронта

Война застала меня в Германии, где я работал в нашем торгпредстве. На Родину попал только в августе 1941 года. И сразу поехал в Коломну, где жил и работал до поездки в Германию. Забежал на несколько минут домой, а затем сразу направился на завод. Не терпелось узнать, какую продукцию теперь он выпускает. До войны Коломенский паровозостроительный завод производил паровозы, дизели, тепловозы, речные суда, компрессоры, тюбинги, проходческие щиты для строительства метрополитена и многое другое. Зашел к директору Е. Э. Рубинчику и к главному инженеру К. К. Яковлеву. Все стало ясно: делаем танки.

Производство броневого листа потребовало переделки термических печей и сооружения ванн к ним, освоения новой технологии. Но это было уже известно, так как еще до получения заказа на танковые корпуса на заводе был построен бронепоезд. Это и дало нам некоторый опыт изготовления брони. Трудности возникли при изготовлении башни. Она состояла из нескольких деталей довольно сложной конфигурации. Чтобы штамповать их, нужен мощный пресс. А наш был слабосилен и тихоходен. Детали приходилось подвергать повторным операциям, а это замедляло процесс работы. Нужен был мощный пресс, который достать было нелегко. Но даже если достанем, то его установка займет очень много времени.

Главный металлург завода Борис Алексеевич Носков обратил

внимание, что к нашему бронепоезду для артиллерийской установки поставлены литые башни из броневой стали. И вот по инициативе Носкова попробовали отлить такую башню для танка.

Толщина стенки литой башни увеличилась более чем в три раза по сравнению со штампованной. Соответственно увеличивался вес. Однако Носков предвидел, что повышение бронестойкости башни, несмотря на увеличение веса, на войне окажется более надежным. Буквально в течение нескольких часов был сделан чертеж башни. Модельщики тут же взялись изготавливать модель и стержневые ящики. А мартеновская печь уже варила броневую плавку.

Дело увенчалось успехом. И когда готовая башня испытывалась на полигоне, заводские конструкторы проверили и доложили, что мотор и ходовая часть вынесут дополнительную нагрузку и танк не потеряет своей маневренности. Вся эта работа была проделана примерно за неделю.

Я еду в Москву. В руках папка с документами и рулон с чертежом литой башни. Сердце колотится. Вдруг скажут «нет», а во дворе завода уже сложен не один десяток танковых корпусов без башен, да к тому же литые башни мы уже запустили на свой страх и риск в серийное производство.

У военных порядок известен. Прежде чем обращаться к генералу, надо подойти к полковнику, но к нему не проберешься, пока не встретишься с майором. А к последнему — только через капитана. К счастью, чина ниже капитана в учреждении, куда я пришел, как мне показалось, не было. Примерно к одиннадцати часам вечера я уже сидел в приемной начальника Главного автобронетанкового управления Я. Н. Федоренко. Сижу час, сижу два. Кажется, никогда не видел такого количества воинских начальников. Из кабинета генерала не все выходили удовлетворенными. А дело объяснялось просто — нужны танки, а их мало.

К трем часам ночи в приемной осталось всего несколько человек. Задаю адъютанту вопрос:

— Примет ли меня товарищ Федоренко?

— Безусловно, примет. Он после этого еще будет докладывать «наверх». Да, между прочим, самого Федоренко нет, он на фронте. Его временно замещает генерал Лелюшенко.

Я спросил имя и отчество, потому что фамилия показалась мне знакомой. Все совпало. Да, тот самый генерал, командовавший 39-й ЛТБ (легкотанковой бригадой), в которой мне довелось служить в действующей армии с сентября 1939 по октябрь 1940 года. Командир бригады Дмитрий Данилович Лелюшенко остался у меня в памяти как энергичный, смелый, находчивый и трудолюбивый человек, ярый противник солдафонства и лени. Взвесив все это, я задал себе вопрос: сможет ли он быстро рассмотреть наше предложение и принять его, несмотря на разногласия в техническом управлении? Если дело затянется, армия наверняка недополучит несколько сот танков.

За этими размышлениями я и не заметил, как приемная опустела. Адъютант пригласил меня в кабинет. Передо мной был тот самый, внешне почти не изменившийся генерал Лелюшенко. Он уже шел навстречу, было видно, что генерал что-то вспоминал.

— Стоп, стоп... Вы товарищ Смеляков?

— Так точно, товарищ генерал!

— Танкист? Служили в 39-й ЛТБ?

— Так точно!

Генерал повеселел, довольный своей памятью. Да и у меня стало легче на душе. Быстро и кратко излагаю суть вопроса. Развертываю чертеж башни, показываю протоколы испытаний, заключение головного завода, обращаю внимание генерала, который, конечно, здорово устал, на то, что есть и отрицательное мнение по этому вопросу.

Он слушает меня, не отрывая глаз от чертежей и расчетов, а рука его уже ищет карандаш. Через минуту Лелюшенко четко выводит на чертеже и протоколе «Утверждаю» и подписывается. Можно уходить: вопрос решен. Однако меня подмывает поговорить, вспомнить о прошлой совместной службе. Но, посмотрев на генерала, я решил, что не следует отнимать у него драгоценное время. Собрав документы и попрощавшись, я вышел из кабинета.

Пожалуй, самым любимым детищем нашего завода в те дни был бронепоезд номер один. Его сооружали с особым подъемом. Слово «бронепоезд» перекликалось с гражданской войной, звучало весомо даже по масштабам нашего завода. Проектировали его заводские конструкторы и технологи по заданию военных. Бронепоезд стал как бы боевым знаменем коллектива. Его строили все. Партийная организация выделила добровольцев в состав его будущей команды. Основным ядром ее были коммунисты. Среди них бригадир крановщиков член партии Лиза Кубышкина, дочь старого кадрового рабочего Коломны. Лиза руководила коллективом не только большим, но и сложным по составу. В ее бригаде было около ста шестидесяти молодых женщин, работающих в литейном цехе крановщиками и вожатыми электрокаров. Так что под началом у Лизы Кубышкиной была не бригада, а целый цех. Сложный комплекс вопросов лежал на плечах худенькой, но боевой девушки.

Как сейчас вижу ее яркие рыжие волосы, лицо, усыпанное веснушками, серо-голубые глаза, энергичные движения.

И вот эта Лиза пошла добровольцем на бронепоезд.

Рабочие и инженеры завода «выхаживали» каждую мелочь на бронепоезде. Тщательно зачищали сварные швы броневого корпуса, окрашивали все как для парада. И когда бронепоезд был готов, его выкатили во двор завода. Внушительные артиллерийские танковые башни, зенитные спаренные крупнокалиберные пулеметы. Бронепоезд получился красивым, складным.

Короткий заводской митинг. Коломенцы провожают своих питомцев на фронт. На митинге выступили секретарь Московского областного комитета партии Б. Н. Черноусов и известный всей планете по дрейфу на льдине Герой Советского Союза И. Д. Папанин. Речь Ивана Дмитриевича была особенно зажигательна. Говоря о смелости, он, между прочим, сказал, что со своими спутниками он дрейфовал, но не дрейфил.

Итак, последний прощальный свисток, и бронепоезд номер один ушел на фронт. Он участвовал в обороне Москвы. И в боях под Можайском «погиб» вместе с большинством своей команды. Погибла и Лиза Кубышкина.

В октябре 1941 года в Москве объявили осадное положение. Противник был рядом со столицей. Началась эвакуация предприя-

тий. Правительственные учреждения выехали в Куйбышев, туда же перебрались иностранные дипломатические представительства. Население Москвы встревожилось. Люди неорганизованно, толпами устремились на восток, в частности, по Горьковскому шоссе. Кто на машинах, а кто и пешком, с тележками, узлами, рюкзаками. Но через два дня в городе был восстановлен обычный порядок. По улицам шагали подтянутые вооруженные солдаты. Чувствовалось: хотя столица в опасности, но она готова к борьбе и ведет ее.

В те осенние дни 1941 года над нашим заводом и железнодорожной станцией иногда появлялись самолеты противника. Они кружили над мостами через Москву-реку и Оку, над поселками, сбрасывали небольшие авиабомбы, но ни одна из них не упала на территорию завода.

Можно было, конечно, предположить, что немецкая разведка располагала данными об эвакуации предприятий из Коломны и поэтому пришла к выводу, что разрушать пустые здания неэффективно. Не исключалось и то обстоятельство, что фашисты рассчитывали в ближайшее время захватить этот район и приспособить завод для обслуживания своей армии.

С ходу Москву врагу взять не удалось. Пришлось перестраиваться и пополнять войска, потери которых были весьма существенны. Немецкое командование решило окружить нашу столицу, блокировать ее, взять в «клещи» с севера и с юга и затем нанести мощный фронтальный удар. На правом крыле вторая танковая армия противника образовала южную сторону «клещей», наступая на Сталиногорск и Коломну, рассчитывая потом соединиться с другими немецкими армиями восточнее Москвы. Одна из мощных фашистских группировок войск действовала на Тульско-Каширском направлении. Создалась непосредственная угроза заводам, расположенным в Коломне. В это время Государственный комитет обороны (ГКО) принимает два важных решения: первое — об организации производства танков Т-60 в Коломне и второе, полученное буквально через несколько дней после первого, — об эвакуации завода на восток страны, в Киров.

Когда на заводе получили второе решение ГКО, в первое мгновение никто не мог себе представить, что гигантский завод, вросший корнями в родную коломенскую землю, можно стронуть с места, да еще в то время, когда продукция завода так нужна фронту. Верилось, что приказ об эвакуации будет отменен. Даже лелеяли надежду, что обстановка на фронте изменится и все останется на своих местах. Однако сомнения длились недолго. Мы отлично понимали, что положение на фронте архитяжелое, к тому же знали уже об эвакуации на восток таких крупных предприятий Ленинграда, как Ижорский и Кировский заводы.

Партийная организация призвала коломенцев в самые короткие сроки демонтировать оборудование, отобрать инструмент, оснастку и, самое главное, отобрать людей, обладающих необходимой квалификацией, и перебросить все это на новое место. В Киров уехали уполномоченные завода для того, чтобы спланировать и подготовить размещение всего огромного хозяйства. В сжатые сроки им предстояло принять нужный комплект оборудования, инструмента, материалов, чтобы обеспечить ту технологическую по-

следовательность, которая необходима для налаживания производства танков. Да, именно так: завод должен делать не просто корпуса, а сами танки.

Как ни больно было расставаться с Коломной, но приказ об эвакуации коломенцы восприняли как боевое задание. И вот уже подан под погрузку первый поезд. Паровоз пустил клубы пара, звякнули, перекликаясь, буфера. Место погрузки — сквер против главной конторы завода, там проходила заводская железнодорожная ветка. По ней до войны торжественно отправлялись на испытание паровозы, уходили готовые локомотивы, перевозилась другая продукция. А сегодня здесь шла отправка на восток людей, которые делали эту продукцию.

Пошли эшелоны с оборудованием, материалами, оснасткой. Главный инженер, некоторые работники парткома и завкома, главный технолог, главный металлург и другие вслед за первой группой «разведчиков» уехали в Киров, чтобы организовать там прием и монтаж оборудования, устройство людей. Вторая группа во главе с директором организовывала в Коломне эвакуацию.

В то время я был заместителем главного металлурга завода. Мне поручили демонтаж и отправку оборудования кузнечного, литейных и модельного цехов, а также всего, что с ними связано. Надо ли говорить о том, как тяжело было разбирать оборудование чугунолитейного цеха и командовать людьми, которые совсем недавно, всего лишь несколько лет назад, все это любовно строили, собирали, испытывали, пускали и осваивали. Цех замер. Не льется расплавленный металл, не стучат формовочные станки, не бегают стремглав по пролетам проворные электрокары, мертво высятся громады металлоконструкций землеприготовительного отделения, сиротливо лежат никому теперь не нужные стержни, из-за которых нередко учинялись споры, если они не подавались на формовку в установленное графиком время...

Жизнь шла в основном вблизи погрузочных площадок. Вагоны загружали в любое время суток. А с вагонами было трудно. Поэтому нередко загружали их даже больше допустимой нормы. Никогда в мирное время так скрупулезно не использовали подвижной состав железных дорог, как в дни эвакуации завода.

Труднее всего было с грузами негабаритными, нестандартными. Это шаботы — фундаментные устройства для кузнечных молотов. Такелажники грузили их с помощью лебедок, домкратов, так как кранов большой грузоподъемности в кузнице не было. Размещение шабота на платформе тоже требовало большого умения. Надо распределить его вес равномерно по всей площади платформы, уложить его на специальных балках и т. п.

Война, выходит дело, проверяет не только как наточена сабля, но и остроту чисто технических знаний. Эвакуация завода и его коллектива явилась экзаменом по организационно-технической зрелости руководящего состава предприятия. Нам, коломенцам, было легче держать этот экзамен, так как к тому времени уже имелся опыт эвакуации подобных заводов из прифронтовой полосы. Разумеется, чужой опыт нужно было не только повторить, но и творчески переработать, углубить, что мы с успехом и сделали. Эвакуация завода подходила к концу. Около пятнадцати тысяч рабочих, инженеров, служащих и членов их семей уже уехали на новое место. К этому времени там выпал снег и ударили морозы.

В трудных условиях, в невиданно сжатые сроки коломенцы начинали производство танков. Трудность прежде всего заключалась в том, что работать приходилось на производственных площадях, которые были вшестеро меньше, чем в Коломне. Но не зря говорится: в тесноте, да не в обиде.

Коломенский завод продолжал жить и на старом месте. На нем трудилось около трех тысяч человек. Меня назначили исполняющим обязанности директора. Партком возглавил Константин Николаевич Слонов, человек государственного отношения к делу, обаятельный, в прошлом комсомольский работник.

В заказах для фронта недостатка не было. Организовывались новые цехи по производству ружейных гранат, сварке так называемых противотанковых «ежей» и многого другого. Мы не ждали заказов, а сами искали место применения своим силам. А силы эти были не такие уж маленькие. Оставались котельная, электростанция, небольшая кислородная станция, сварочное оборудование, металлорежущие станки, молот свободной ковки. Сохранилась одна мартеновская печь из четырех, формовочный пролет с краном.

Время от времени из Кирова поступали запросы: командировать того-то, отгрузить то-то. Происходило это потому, что, хотя эвакуация в основном была закончена, вывезти все сразу не удалось. Естественно, в такой сложной обстановке случались и ошибки, когда отдельные вагоны с оборудованием или материалами уходили не по назначению. Дополнительно отправлялось кое-что из оснастки, документации, оборудования.

Завершив эвакуацию, мы разработали конструкцию и освоили производство в Коломне стальной литой башни (она имела вид колпака) для долговременных огневых точек с амбразурами для оружия и наблюдения. Это была, конечно, не броневая сталь. У нас не осталось ни никеля, ни хрома, чтобы получить ее. Не было также термической обработки. Но и обычная сталь, которая в лобовой части башни достигала толщины около ста миллиметров, представляла для бойца защиту от пулемета или автомата противника, от осколков снарядов, мин, от взрывной волны. Во всяком случае, военные их забирали у нас немедленно. Работники сталелитейного цеха трудились с необычайным воодушевлением. Сутками никто не уходил с завода, хотя специального приказа на этот счет не существовало.

Хочется рассказать об одном эпизоде той давней поры. Рядом с заводом и по сей день находится железнодорожная станция Голутвин. Именно на ней надо сходить, если вы хотите кратчайшим путем попасть на Коломенский завод. В то время начальником станции работал Федор Илларионович Михин. В дни эвакуации завод и станция были единым организмом, усилия которого направлялись на выполнение общей задачи. Железнодорожники работали с максимальным напряжением, четко. Федор Илларионович любил порядок и... оружие. Видимо, любовь эта у него осталась со времен гражданской войны, участником которой он был. Михин собирал самое различное оружие, приобретая его самыми разнообразными путями. Через станцию проходило в день несколько воинских эшелонов. Если они останавливались в Голутвине, то коллекция оружия станционного начальника непременно пополнялась.

Но это не все. У Михина оказались пушки калибра 152 миллиметра. Все восемь штук стояли в тупике на платформах. Они пришли без документов, и уже более двух недель ими никто, к его удивлению, не интересовался. Начальник станции запрашивал Центр, но определенного ответа не последовало. Тогда Михин пригласил меня посмотреть эти пушки и заодно подумать, как их можно приспособить для защиты железнодорожной станции. Он так охранял свою станцию, что категорически отказался демонтировать устройство автоблокировки, несмотря на строгое предписание, сумев доказать, что в случае прихода немцев автоматику вместе со станцией можно вывести из строя в течение нескольких минут. Все было заминировано так же, как и на Коломенском заводе были заминированы мартеновская печь, электростанция и прочие объекты. Все подготовлено к уничтожению по первому сигналу. На нашем заводе действовала команда специалистов-минеров. Они следили за исправностью электрической проводки к запасам взрывчатки. Иногда обнаруживалось, что контрольная лампочка не горит. Значит, сеть неисправна. Естественно, проводка быстро восстанавливалась, а подрывная команда изучала причину повреждения. Обычно обрывы были случайными, связанными с передвижением грузов. Но однажды повреждение оказалось преднамеренным. Задержанный — старый рабочий — спокойно и откровенно сказал:

— Завод нас кормит. Без него мы с голоду подохнем. К тому же малые дети... А немца сюда не пропустят!

После звонка Михина я отправился на станцию и застал там председателя местного комитета обороны, первого секретаря горкома партии М. К. Плужникова. Мы осмотрели пушки. Каждая из них была установлена на вращающемся постаменте. Пушки не новые, но исправные. Видимо, их демонтировали с какой-то крепости. Нашлись и снаряды. Вагоны с ними были на артиллерийском полигоне в пяти-шести километрах от станции, на другом берегу Оки. Начальник станции впрямь оказался предусмотрительным человеком.

Михин предложил приспособить платформы и установить на них пушки, обложив орудия мешками с песком, и приготовиться таким образом к встрече фашистов. Предложение начальника станции было принято. Заводу поручили выполнить всю нужную работу, а команду бойцов, умеющих обращаться с артиллерией, должен был подготовить районный военный комиссар.

Сказано — сделано. Через час-полтора пушки были уже на заводе, и в кабинете директора завершилось составление плана действий. У нас оставалась небольшая группа конструкторов и технологов, которые по разным причинам не могли выехать в Киров. Это были настоящие мастера и энтузиасты своего дела, люди, обладающие огромными знаниями и опытом. Все они встретили задание по устройству артиллерийских платформ с большим интересом. Вместо мешков с песком, естественно, предложили невысокие металлические борта и металлический настил пола платформы на усиленных балках, которых в обычном вагоне нет. Сконструировали захваты в виде мощных клещей, которые должны скрепить платформу с рельсом, иначе платформа при стрельбе опрокинется, а также артиллерийский погреб, то есть металлические ящики, оборудованные гнездами для снарядов. Пример-

но через семь-восемь часов после рождения идеи проект был готов, а рабочие чертежи переданы в цехи. Спустя два дня все было сделано, осмотрено, проверено.

По времени это происходило в момент затишья перед вторым этапом наступления фашистов на Москву — в конце ноября — начале декабря 1941 года. Мы стали улучшать конструкцию артиллерийских платформ, и, более того, появилась мысль соорудить настоящий бронепоезд, подобный бронепоезду номер один. Инициатива завода была одобрена местным комитетом обороны и горкомом ВКП(б). В короткое время завершили проектирование и начали строительство бронепоезда.

Наш заводской, самый лучший паровоз одели в броню. На платформы установили своеобразные башни, из которых смотрели жерла пушек. Между платформами провели телефонную связь. Из Москвы на завод приехали военные. Они заинтересовались самодельным бронепоездом и, осмотрев его, обещали помочь вооружением и укомплектовать командой.

Заводу выделили зенитные крупнокалиберные пулеметы, танковые пулеметы с шаровыми опорами, новые, более совершенные телефоны и средства наблюдения. Наш самодельный бронепоезд превратился, таким образом, в узаконенную боевую единицу. В середине декабря 1941 года на завод приехала военная команда. Бронепоезд был сдан с хорошей оценкой. Короткие проводы — и крепость на колесах ушла на фронт.

По внешнему виду второй бронепоезд, конечно, уступал первому. Второй бронепоезд носил следы спешки, казался угловатым, нескладным. Однако на фронте он показал блестящие результаты. Сказалась его огневая мощь и хорошо обученная команда. Нам рассказывали, что его экипажу было присвоено звание гвардейского. Почти все бойцы и командиры бронепоезда были награждены орденами и медалями.

В ноябре и декабре 1941 года на новом месте, в Кирове, монтировалось оборудование, готовилось производство танков. Хотя корпус и башня были освоены в Коломне, дело для кировчан нисколько не упрощалось. Серийное производство танков — очень сложная задача даже на действующем заводе, а на таком, который еще даже не сформировался, тем более. Однако уже в январе 1942 года были выпущены первые пять танков. В феврале завод перевыполнил план. В марте удвоил выпуск танков по сравнению с февралем. Таким образом, оба завода в разных местах жили одними целями, одними задачами.

В глубоком тылу

Испытания первого периода войны были самыми жестокими, самыми суровыми для Советского государства в целом и для каждого советского человека в отдельности. Этому испытанию подверглась вся наша промышленность.

Фашистская Германия в этом отношении находилась в несравнимом положении. Если вследствие быстрого продвижения немецких войск Советский Союз потерял много своих промышленных

предприятий, то фашистская Германия обрела новые возможности для повышения военно-экономического потенциала.

Если в восточные районы страны в течение июля — ноября 1941 года было перебазировано 1523 промышленных предприятия, в том числе 1360 крупных военных, что практически выводило их на какое-то время из строя, то к немецкой промышленности добавлялись заводы завоеванных европейских стран. «Военная продукция только одних чехословацких предприятий «Шкода» могла снабдить многими видами вооружения около 40—45 немецких дивизий. Гитлеровская Германия использовала в Италии и оккупированных странах производственную мощность автомобильной промышленности, которая составляла около 600 тысяч автомобилей в год», — писал Н. Вознесенский в книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны». И это лишь два сателлита. А были и другие. Например, Финляндия в довольно больших количествах делала самолеты по немецким чертежам.

Нужно ли еще приводить подобные примеры? Доказательств вполне достаточно, чтобы представить себе необычайно тяжелое положение советской промышленности.

После разгрома немецких войск под Москвой Коломенский завод продолжал работать в не менее трудных условиях, чем в период наступления фашистской армии. Запасы топлива истощались, не хватало электроэнергии, металла и многих материалов. Вскоре завод, расположенный в Коломне, перешел в подчинение Наркомата тяжелого машиностроения, а тот, что эвакуировался в Киров, закрепили за вновь созданным Наркоматом танковой промышленности. Главная задача нового наркомата — дать столько танков, сколько требует армия, причем современных, с более мощным вооружением, броней, мотором и т. д.

Возглавлял этот наркомат хорошо известный коломенцам Вячеслав Александрович Малышев, одновременно являвшийся заместителем Председателя Совнаркома СССР. Когда-то В. А. Малышев работал на Коломенском заводе сначала в конструкторском отделе, затем начальником крупнейшего дизельного цеха, главным инженером и, наконец, директором завода. В 1937 году Вячеслав Александрович был избран депутатом Верховного Совета СССР по Коломенскому избирательному округу. В 1939 году его выдвинули на пост народного комиссара тяжелого машиностроения, а через небольшой промежуток времени, в 1940 году, В. А. Малышев назначается заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Многое можно сказать об этом человеке, о том, где он работал, что он сделал. Меня в нем всегда поражала его смелость и решительность. Редко кто из руководителей вступал в спор со Сталиным, а Малышев это делал неоднократно. Высказывая свое мнение, иногда прямо противоположное мнению Иосифа Виссарионовича, он проявлял не только смелость, но и мужество зрелого руководителя-большевика. Сталин высоко ценил эти качества в Вячеславе Александровиче.

Достойна подражания тщательная подготовка Малышева к заседаниям коллегии наркомата. Выходя на место докладчика, я всякий раз опасался неточно изложить материал, ибо нарком превосходно знал предмет и легко схватывал самую суть дела. Но, с другой стороны, можно было не опасаться, что по недостаточной информированности руководителя будет принято непра-

вильное решение — явление, как известно, более вредное и, к сожалению, нередко встречающееся. Могу добавить, что в любом случае докладчикам, как говорится, доставалось на орехи, так как Вячеслав Александрович немедленно находил слабые места, недостатки и обрушивался не только на того, кто отчитывался, но и на службы наркомата, в сферу деятельности которых входил завод.

Когда Вячеслав Александрович стал наркомом танковой промышленности, на Коломенском заводе были твердо уверены, что дело танкового производства от этого, несомненно, выиграет. В известной мере это же соображение способствовало и моему безоговорочному согласию отправиться в Киров.

По прибытии на Кировский завод я в первый же день обошел цехи и удивился гигантской работе, которую проделали мои товарищи. Маленький завод в Кирове принял гиганта и сделал все, чтобы скорее пошли на фронт танки. Коломенцы построили и реконструировали несколько цехов. Станки и другое оборудование пришлось ставить, теснясь на малых площадях, с нарушением всех норм мирного времени.

Не могу забыть, как главный металлург завода Борис Алексеевич Носков мудрил с установкой небольшой мартеновской печи, которой в Кирове и в помине не было, она нужна была нам, как говорят, позарез: без броневого литья делать танки нельзя. Постройке же даже маленькой мартеновской печи мешали близко расположенные подпочвенные воды, а высота подкрановых путей цеха не позволяла установить мартен без углубления. Тогда главный металлург обратился за советом к строителям. Мартеновская печь была возведена на кессонах особой конструкции. Получился как бы плавающий мартен. Трудно было решиться на это, но Борис Алексеевич сам контролировал строительство и монтаж, сам же провел первую плавку. Плавка прошла удачно. Таким образом, была получена не просто броневая сталь, но первая мартеновская сталь в Кирове.

Через четыре месяца после выпуска первого танка Т-60 коломенцы-кировчане организовали изготовление модернизированного танка Т-70 с более мощной броней и вооружением. В связи с утяжелением машины были установлены вместо одного два автомобильных мотора. Несмотря на значительные изменения в конструкции и технологии, выпуск новых танков постоянно увеличивался.

Наиболее ярким моментом той поры для нас явилось награждение Коломенского завода в Кирове орденом Трудового Красного Знамени. Было это 5 июня 1942 года.

За танком Т-70 последовало создание новой боевой машины — самоходной установки САУ-76. Она конструировалась на базе танков, и это позволяло унифицировать производство, особенно ходовой части и моторной группы, что, в свою очередь, ускоряло их выпуск и освоение. Следует упомянуть, что проектирование велось силами заводских конструкторов, возглавляемых М. Н. Щукиным.

Вскоре мне пришлось расстаться с заводом в Кирове. Я был назначен заместителем главного металлурга завода «Красное Сормово» в Горьком.

Сормовская тридцатьчетверка

Поезд идет из Кирова в Горький. Думаю о заводе «Красное Сормово». Завод знаком мне лишь по литературе и рассказам товарищей. Сормово было связано когда-то с Коломенским машиностроительным заводом. В годы первой мировой войны эти два гиганта России входили в единый концерн «Коломна — Сормово». Сормовский завод старше Коломенского на девятнадцать лет. Построен он в 1849 году. Заводы роднило многое: сходство условий производства и быта рабочих, рост их классового самосознания, революционные выступления против самодержавия.

Продукция, которую они выпускали, тоже во многом похожа: паровозы, суда, дизели. В отличие от Коломенского на сормовском вырабатывали стальной прокат. Здесь в 1870 году инженером А. А. Износковым впервые в России установлена мартеновская печь. С той поры началось отечественное сталеварение. Мартеновская печь позволила сормовскому заводу стать во главе прогресса техники в этой области. В свое время по заданию В. И. Ленина сормовичи сделали танк по типу французского «рено». Мне также было известно, что в данный момент, летом 1942 года, на Сормове делают танки Т-34. Это довольно сложное производство: стальное броневое литье, высокомарганцовистая сталь, точные штамповки, легированные металлы, сложная термическая обработка и многое другое.

Обход завода мне посоветовали начать со сборочного танкового цеха. Так вот он каков, легендарный Т-34! Теперь я его вижу и снаружи и внутри. Внушительная броня и вооружение, широкие гусеницы, мощный мотор, ладно сделанная башня.

Да, танк Т-34 — не просто соединение нескольких тысяч узлов и деталей. Это скорее сгусток технической и военной мысли, опыта мирового машиностроения, приборостроения, металлургии, вооружения и танкостроения. Это сплав труда интеллектуального и физического, воли и квалификации, культуры производства всех участников сложного процесса, каким является конструирование и изготовление боевых машин. Когда говорят о весе танка, под этим не подразумевают его сложность в техническом отношении, это скорее характеристика мощности артиллерийского вооружения и брони, относящихся к его тактико-техническим свойствам. Техническую сложность танка характеризует комплекс механизмов, приборов, вооружения, материалов, а также скорость, проходимость, надежность и многое другое. Преодолеть эту сложность непросто. Изготовление таких танков требует специализированного массового производства, высокая культура которого — главное требование и главная трудность. Над этим и работал коллектив «Красного Сормова».

Дело осложнялось еще и тем, что сормовский завод почти не знал массового производства.

В производстве танков должны были участвовать абсолютно все: металлурги, судостроители, дизелисты, паровозники. Впрочем, так оно и получилось. На освоение производства танков были брошены главные силы предприятия. Городская партийная орга-

низация умело и деловито организовывала помощь сормовичам. В кооперированных поставках участвовало много заводов города и области: автомобильный, станкостроительный, Кулебакский металлургический, «Красная Этна» и другие.

Сормовский завод располагал замечательными кадрами. Рабочие умели практически делать все, что требовалось для постройки первоклассного судна. Слесарь-сборщик монтировал любой узел, гибщик труб — настоящий виртуоз, из труб он, наверное, мог бы плести кружева. По праву можно назвать искусством работу формовщика в литейном цехе, когда он изготовлял форштевень или паровозный цилиндр, блок цилиндров дизеля или компрессора. Мастера так называемой свободной ковки могли изготовить гребной или коленчатый вал, отковать вагонную ось, паровозное дышло. Да мало ли сложных и ответственных деталей проходило через их золотые руки. Токари, расточники, фрезеровщики обеспечивали завод деталями высокой точности. На заводе имелось самое разнообразное оборудование, в том числе уникальное. Так, громадный станок фирмы «Шисс — Дефриз» занимал целый пролет механического цеха. На этом станке выполнялся комплекс операций: фрезеровка, расточка, строжка, сверловка — настоящий комбинат-уникум. Подобных станков в Советском Союзе в то время было только два. Могу добавить, что загрузка станка планировалась из Москвы.

Технологические службы завода были укомплектованы опытными инженерами и техниками. На заводе работали ученые.

Да, промышленная армия сыграла не меньшую роль, чем действующая. В промышленности были свои солдаты и офицеры, генералы и маршалы. Только совместная деятельность армии и тыла могла обеспечить победу над коварным и сильным врагом. Вот почему так важно сохранить для потомков факты этой совместной деятельности, факты будничных и героических дел тыла.

Трудно сказать, что сложнее: комплектовать действующую военную или промышленную армию? Совершенно правы советские специалисты, которые утверждали, что современная война является состязанием науки и техники, если не касаться таких первостепенных вопросов, как мировоззрение, идеология и политическая направленность. Это было видно на примере сормовского завода.

Работа большого масштаба была начата с первого же дня войны. Проведена уйма мероприятий, как принято говорить о заводской практике, когда речь идет о решении трудной задачи. Отстранялись руководители, которые не обеспечивали выполнения плана в жесточайшие сроки. Война не терпела промедления. Прошлые заслуги в расчет не принимались. Работу надо было делать сейчас, немедленно.

Приверженность к некоторым техническим традициям мешала заводу осваивать массовое изготовление боевых машин: нельзя было скидывать со счетов, что раньше здесь работы в основном исполнялись универсальными умельцами, господствовал принцип индивидуального и мелкосерийного производства на привычных канонах судостроения. Поэтому сложность заключалась больше в перестройке психологии всего коллектива, нежели в перестройке-

реконструкции самого завода. Но на стороне коллектива была сила патриотизма, исключительного трудолюбия, понимание своей роли в происходящих событиях.

Сормовичи шаг за шагом постигали умение строить танки. Завод стал выполнять план. Но трудности не уменьшались, так как потребность в боевых машинах возрастала и план их выпуска постоянно увеличивался.

«Узким местом» стало производство литых башен и звеньев гусениц — траков. От ручной формовки башен надо было переходить к машинной, но машин для этого не было, да если бы они и появились, ставить их все равно негде. Решили отливать башни в металлическую стальную форму — кокиль. Старый рабочий-формовщик коммунист Александр Иванович Храмушев, работавший на башнях, вместе с инженером Н. Ф. Косириковым взялись за проведение опытных работ. До самого конца войны башни отливались именно таким способом.

Другую проблему — производство траков — решить оказалось сложнее. Отливка траков являлась как бы супермассовым производством. На каждый танк шло полторы сотни звеньев, не считая поставляемых в запас. Делались они из стали Гадфильда с содержанием марганца одиннадцать — четырнадцать процентов. Вязкость и износоустойчивость этой стали образуются только после закалки в воде. Производство траков было запроектировано и организовано без учета характера изделий. Пришлось многое переделывать. А тем временем конвейер сборки танков испытывал настоящий голод на траки. Гусеницы определяли объем выпуска машин.

К концу 1942 года цех стал работать ровнее, но напряжение все же не было снято, так как появились новые проблемы. Танк Т-34 все время совершенствовался. Фронтовой опыт являлся импульсом к изменению конструкции машины и технологии производства. Иногда очень мало заметное перемещение линий на чертеже требовало немалой работы, новой оснастки, оборудования, а самое главное — времени. Так случилось и с гусеницей. Известно, что половина звеньев гусеничной цепи имела выступы—так называемые гребни. Конфигурация и размер гребня изменились. Нужно было осваивать новый стержень. Литейные стержни делались вручную, и требовались они в больших количествах. Каждый рабочий должен был делать за одиннадцатичасовую смену по крайней мере двести штук и не менее, а пока что более сотни редко кто изготавливал.

Я вспомнил, что на Сормове работает несколько бригад формовщиков и стерженщиков, эвакуированных с Коломенского завода. Среди них был и мой старый знакомый, стерженщик высокой квалификации Юрий Петрович Рожков. Он работал в старом сталелитейном цехе. К нему-то я и пошел в обеденный перерыв. Предложил, чтобы он в нашем цехе показал свои приемы работы. Объяснил, зачем это нужно.

Юрий Петрович задумался.

— Дайте, — говорит, — время, обмозговать нужно. Тут ведь не в театре, проваливаться негоже.

Целую неделю он готовился к демонстрации. Сделал дополнительный инструмент, потренировался на набивке стержня и только потом дал согласие.

Настало время показа. Юрий Петрович, высокий, худощавый,

чисто выбритый, с умными насмешливыми глазами, встал за обычный стержневой верстак. Там уже была припасена стержневая смесь, стержневой ящик и инструмент, которым обычно пользовались все рабочие участка. Мастер стержневого отделения точно выполнил мое приказание: не создавать каких-либо особых условий для работы. Все должно быть обычным. А то ведь как нередко бывает: для рекорда организуются прямо тепличные условия. И конечно, из такого опыта никакого практического результата выйти не может.

Юрий Петрович снял темный, аккуратно залатанный пиджак, надел фартук, в котором он всегда работал. Достал свой дополнительный немудреный инструмент. Взял стержневой ящик, проверил его исправность, разложил инструмент в привычном для себя порядке. Делал это не торопясь и не волнуясь. Когда все было готово, он спросил разрешения приступить к делу.

Юрий Петрович работал как бы не спеша. Его тонкие длинные пальцы быстро завершали одну операцию за другой. Сушильные плиты на глазах заполнялись готовыми стержнями. Казалось, инструмент, стержневой ящик, наконец, сам готовый стержень в руках рабочего невесомы. Никакого видимого напряжения. Четкий ритм.

— Споро работает, — бросил кто-то из присутствующих.

— Мужику-то можно так работать, — добавила женщина, стоявшая рядом со мной.

Незаметно прошел час. Сделано сорок стержней. Цифру вслух никто не произносит. Считают молча. Чувствуется, что ведет счет и сам демонстрант. Дело простое, на каждой плите десять готовых стержней.

Незаметно прошел и второй час работы. Сделано еще пятьдесят стержней.

Прошло пять часов. Счет точный: триста стержней.

Юрий Петрович сделал короткую передышку, впервые посмотрел на обступивших его рабочих и спросил меня: нужно ли еще делать стержни?

Я поблагодарил его и ответил, что достаточно. Всем и так ясно: сделать двести стержней за одиннадцатичасовую смену можно. Можно и больше.

Юрий Петрович снял и аккуратно сложил фартук, положил его в мешочек, надел пиджак. Свой инструмент оставил на верстаке, сказав:

— Может быть, кому-нибудь пригодится.

На другой день послали ему премию — рабочие ботинки.

Каждый, разумеется, понимал, что такое количество стержней может делать далеко не всякий рабочий-мужчина, даже высокой квалификации. А в стержневом отделении работали почти одни женщины. Но проблема была решена. Мы форсировали Рубикон. Вскоре был изготовлен несложный инструмент конструкции Рожкова и вручен каждому рабочему. Норма двести пятьдесят стержней стала обычной. Лучшие стерженщицы делали по триста, а иногда и более штук в смену.

Война испытывает и закаляет человека, проверяет, как он преодолевает самые разнообразные трудности. Только преодолели одни, как на смену пришли новые.

У литейщиков начались перебои с ферромарганцем, без которого не сваришь нужной стали. Применяли все, что можно было

достать, чтобы получить сталь Гадфильда. Одно время пробовали даже марганцевую руду.

Работники отдела снабжения завода делали все возможное, лишь бы не оставить цех без сырья. Однажды С. П. Кузнецов, начальник отдела снабжения металлом, и С. П. Русинов, заместитель директора завода по финансам и материально-техническому снабжению, пригласили меня съездить посмотреть обнаруженные залежи ферромарганца. Склад принадлежал государственным резервам. Различные металлы, в том числе и ферросплавы, говорил один из моих спутников, валяются под открытым небом. По их словам получалось: приезжай и бери. И впрямь мы обнаружили нужный до зарезу материал в полузаброшенном железнодорожном тупике. Металл был в полном беспорядке, перепутан по маркам, без каких-либо документов. Это была настоящая находка. Мы немедленно организовали сортировку и сдачу металла на химический анализ. Цех был обеспечен по крайней мере на месяц бесперебойной работы.

Вслед за ферромарганцем проблемой стали огнеупоры. Нужны были первоклассные огнеупорные пробки и стаканы. Без них не разольешь плавку, на которую уже затрачен труд и которую ждут готовые формы. Хорошие, привозные стаканы кончились, пришлось делать их в цехе огнеупоров, принадлежавшем сормовскому заводу.

Поток трудностей, подобно неожиданному наводнению, не покидал ни цех, ни завод. Приходилось обращаться за помощью к соседям и даже в другие города. Как правило, в большинстве случаев находились приемлемые решения. Часто это делалось в такие сжатые сроки, которые вряд ли достижимы при самом мощном давлении «сверху».

Советские люди наращивали темпы поставки всего необходимого для фронта. Война продолжала свое страшное шествие. Враг, получивший отпор под Москвой, предпринял атаки на Кавказ, Украину, Крым. Под ударом оказалась группа заводов на Волге в том числе Сталинградский тракторный, который тоже делал танки Т-34, завод «Баррикады», «Красный Октябрь» и другие.

Еще совсем недавно наш снабженец, изобретательный и энергичный Д. В. Приезжев, зная трудное положение с траками на Сормове, вывозил их со Сталинградского тракторного, буквально выхватывая под огнем противника. А в сентябре бои шли уже в самом городе. Завод был почти полностью разрушен. И то, что делал он раньше, должны были восполнить другие танковые заводы, в том числе и сормовский. Мы обязались выпустить пятьдесят танков сверх плана.

Несмотря на потерю двух крупнейших танковых заводов — Харьковского и Сталинградского, производство танков увеличивалось. В 1942 году Красная Армия получила свыше 24 тысяч танков, более половины из них были Т-34.

В ноябре 1942 года началось наступление войск Юго-Западного и Донского фронтов. Мы в то время мало знали об этом наступлении. Советское Информбюро довольно скупо говорило о битве за Сталинград. Только когда обозначился совершенно ясный результат боев, страна услышала радостную весть: враг окружен...

Ничто не спасло первоклассную фашистскую армию: ни авторитет генералов, ни мощная военная техника, ни страшные названия

дивизий, вроде «Мертвой головы». Не помогла и «генеральная» директива Гитлера своей армии: создать на линии Волга — Архангельск оборонительный рубеж и отбросить Россию в Азию; Уральский промышленный район уничтожить авиацией; разгромить основные силы советских армий посредством глубоких и смелых танковых операций, «чтобы помешать русским прибегнуть к их классическому маневру — отходу в необъятные просторы своей страны»; занять крупные промышленные и сельскохозяйственные районы — Ленинград, Москву, Украину, Донбасс, Кавказ.

В общем, все предусмотрел фюрер. Но, как говорится, гладко было на бумаге...

Тыл сражается

Бомбежка Горьковского автозавода летом 1943 года продолжалась почти неделю. Немцы отлично понимали его значение. Ведь он обеспечивал многие предприятия комплектующими изделиями, не считая того, что поставлял непосредственно на фронт.

Несмотря на мощный заградительный огонь зенитной артиллерии, часть фашистских самолетов все же прорвалась к заводу и сбросила на него бомбы, большей частью зажигательные. Огромные корпуса, в которых работало по нескольку тысяч человек, были разрушены, превращены в руины. Погибли люди, выведено из строя оборудование. Кузнечно-прессовый цех, оставшись без крыши, мог работать лишь в светлое время дня, так как ночью нагревательные печи и освещение демаскировали завод.

Весь город и прежде всего коллективы промышленных предприятий, организованные обкомом и горкомом партии, взялись за восстановление автозавода. Руководителям оставалось только координировать усилия своих коллективов. Нашелся металл, строительные материалы, транспорт. Сормовичи быстро наладили изготовление металлических ферм и подкрановых путей. Предприятия строительной индустрии изготовили кирпич, столярные изделия. На помощь автозаводцам пришли рабочие многих заводов Горьковской области. Катастрофа сплотила людей, повысила ответственность за общее дело. В восстановлении Горьковского автомобильного завода проявились замечательные черты советского человека.

Бывало, в часы воздушных тревог мы с секретарем партийного бюро цеха Г. П. Ометовым заходили прежде всего в стержневое отделение, где работали в большинстве женщины, проверяли качество изделий, задавали вопросы, связанные с выполнением графика, одним словом, делали все то, что считалось обычным в производственной жизни цеха. В воздухе враг, а внизу ни на минуту не прекращается работа. И не просто работа, а деятельность высочайшего накала во имя нашей победы.

В тяжелых и крутых заводских буднях рождались новые герои труда. Помню молодого парнишку Сережу Арефьева, пришедшего на завод из ФЗУ. Был он небольшого роста, с курносым лицом, на котором поблескивали озорные серые глаза. Сережа работал на формовочном станке, а через пару месяцев уже стал бригадиром. Бригада — это четыре человека, два формовочных станка и рольганг. На одном делался низ, на другом верх формы.

Сережа внимательно присматривался к тому, кто как работает. Вскоре он попросил перевести в свою бригаду младшего брата. Мастер это сделал не сразу. Ему показалось, что желание Сережи — простая прихоть, не все ли равно, с кем работать? Затем бригадир попросил заменить еще одного рабочего. Старший Арефьев подбирал товарищей по своей мерке, по своему темпу и качеству работы. Скоро молодежная бригада Сережи Арефьева стала давать столько форм, сколько две-три соседние.

Все цеховые службы были вынуждены перестроить темп своей работы, равняясь на его бригаду. Землеприготовительное отделение, или, как его звали в обиходе, земледелка, поставило дополнительное оборудование. Ремонтники модернизировали редукторы на смесителях, увеличили мощность моторов. На выбивной решетке тоже увеличили мощность вибраторов, прибавили пропускную мощность элеваторов.

Темп работы бригады Сережи Арефьева заставил преодолеть отставание плавильного отделения, хотя никаких капитальных работ в нем не было проведено. Просто Иван Васильевич Карев — сталевар электроплавильной печи — видел, как заполнялись рольганги готовыми формами. Металл нужен был по часовому графику. Это требование конвейера, подчинение ритму явились для сталевара делом само собой разумеющимся. За тридцать лет своей жизни Иван Васильевич успел научиться варить разные марки стали, быстрыми и энергичными движениями заправлять подину печи, дирижировать крановщиками, когда выпускается плавка, незаметно для других кивком головы подать знак работнику пульта, одним взглядом оценить состояние подготовки ковша не только к очередной, но и к будущей плавке. Иван Карев не очень-то отличался обликом от многих сталеваров. Тот же подожженный нос и красноватые вершины щек, прожженные брызгами металла брюки, куртка, затвердевшая на спине от пота. Он не любил плохо сделанного инструмента, сам прилаживал ручку к лопате, с большим изяществом прикреплял синие очки к старой кепке.

Помню, в начале 1943 года мы с Иваном Васильевичем впервые распаковывали графитовые электроды, прибывшие из далекой Америки. По сравнению с самодельными, которые мы вынуждены были производить, они казались просто чудом. К нам подошли сталевары с других печей.

— Так вот он, этот самый ленд-лиз, — произнес кто-то из присутствующих.

— Наконец-то он докатился до нас! А то ведь получается вроде второго фронта: про него говорят, говорят, а не открывают, — добавил Карев.

За время войны мы уже отвыкли от хорошей упаковки. У американских — винты, или, как их называют — ниппеля, для соединения электродов были уложены в отдельные коробки. Каждый ниппель обернут гофрированным картоном. В одном ящике мы обнаружили бумажку, на ней была изображена пятиконечная красная звезда и надпись, насколько помню, примерно такого содержания: народ Америки приветствует борющуюся Россию. Эти слова, написанные на русском языке, взволновали присутствующих. Правда, позднее в некоторых упаковках мы находили ярлычки с малоприятными, язвительными словами, от которых веяло чисто американским фашизмом.

Электроды оказались хорошего качества. При работе на них легко поддерживался устойчивый режим, повысилась производительность печи. Теперь и формовщики стали изготовлять в два раза больше форм. Нужны были свои Сережи Арефьевы на всех станках. И они появились.

Прошло время, когда завод испытывал нужду в гусеницах, из-за которых в свое время сдерживался выпуск боевых машин. Количество сормовских танков с каждым днем увеличивалось. Наши тридцатьчетверки участвовали во многих сражениях и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Прибывающие на завод за боевыми машинами танкисты говорили нам, что они верят в сормовские танки и смело воюют на них. Это было дороже любой награды.

Слава о танках Т-34 живет по сей день и будет долго жить не только у нас в стране, но и за рубежом. В 1972 году на выставке в Амстердаме, где участвовал и Советский Союз, об этом танке вспомнил один из голландских журналистов: «...В войну, находясь в Берлине, мы каждый день получали известия об успехах «простых» русских танков типа Т-34, которые, хотя немцы этого никогда не признавали, оказались лучшими в боевой мощи, чем утонченные, снабженные прекрасным оптическим оборудованием нацистские танки «тигр» и «леопард». Ходила такая шутка: «Правда, в русских танках ранишь пальцы о неотшлифованные сварные швы, но пушки на них такие хорошие, что из них все немецкие танки расстреляешь...» Пушки русских танков действительно были важнее отшлифованных швов. В Советском Союзе все еще придерживаются принципа, что конструктивная простота, легкое обслуживание и надежность имеют преимущество над сложными конструкциями, модными прихотями и блестящей наружностью.

После победы на Волге, прорыва блокады под Ленинградом зима 1943 года для промышленности являлась временем подготовки к новым испытаниям. Производство вооружения, в том числе танков, возрастало. Это придавало бодрость работникам промышленности. Выковывалась уверенность в победе над врагом. Вместе с тем каждому было понятно, что силы фашистской коалиции не исчерпаны. Фашисты умело использовали все возможности, в том числе военнопленных и рабочую силу порабощенных стран, мощности промышленности и сельского хозяйства. Германия продолжала увеличивать выпуск самолетов, орудий, минометов и другого вооружения. Особым вниманием пользовались танки.

Нам стало известно о появлении новых танков типа «тигр», «пантера», штурмовых самоходных орудий «фердинанд». Они отличались броневой защитой и огневой мощью. Немцы не теряли зимнего времени и к лету 1943 года, по данным наших специалистов, представляли вновь значительную боевую силу.

В июле 1943 года началась битва на Курской дуге. Эшелоны танков один за другим отправлялись с подъездных путей завода к местам боев. Рабочие и инженеры «Красного Сормова» к тому времени превратились в зрелых танкостроителей. Коллектив обрел умение, которое со всем основанием можно назвать мастерством.

Наши тридцатьчетверки вновь заслужили похвалу советских танкистов и вызвали тревогу в стане врага. Матерый гитлеровец Гудериан во всеуслышание признал превосходство нашей три-

дцатьчетверки над немецкими машинами и потребовал модернизации и германских танков, в том числе усиления броневой защиты.

Вскоре после сражения на Курской дуге на соседний полигон приехали для осмотра и изучения новых немецких танков, захваченных в последних боях, известные специалисты, и среди них Жозеф Яковлевич Котин, главный конструктор тяжелых танков «КВ» и «ИС», известных своими превосходными боевыми качествами. Присутствовали тут и видные военные специалисты. Нужно было разобраться в сильных и слабых сторонах фашистской боевой техники.

При осмотре я как инженер и танкист более всего заинтересовался усовершенствованными прицельными устройствами, которые давали возможность сохранить вертикальную наводку при любых колебаниях танка. Я невольно вспомнил стрельбу из движущегося танка, когда видишь вместо цели то землю, то небо. Практически получалось, что на ходу вести прицельный огонь было почти невозможно, и машину приходилось останавливать. А неподвижный танк очень удобная мишень для пушки. Тут было над чем задуматься.

Война потребовала не только модернизации наших танков, но и создания новых. На тридцатьчетверку поставили другую пушку — бо́льшего калибра и со значительно увеличенной начальной скоростью снаряда. Появился тяжелый танк «ИС». Красная Армия получила боевую машину, броневая защита которой в полтора раза выше тяжелого немецкого «тигра» и в два раза — «пантеры». Огневая мощь ее была также выше.

Год 1943-й... Чем его вспомнить бывшему начальнику литейного цеха «Красного Сормова»? Да, безусловно, мы жили стремлением непрерывно увеличивать выпуск продукции самого высокого качества. Все было подчинено этому. Разумеется, праздники никто не отменял: шелестел кумач в дни Первомая и 7 ноября, звучали песни на вечеринках, игрались даже торопливые военные свадьбы, рождались дети. Жизнь брала свое.

Особо хочется сказать о наших славных женщинах.

Истории было угодно возложить на плечи матерей, жен и сестер небывалые обязанности. Их работа в сельском хозяйстве, в промышленности благородна и единственна в своем роде. Тяжелейшая физическая нагрузка — труд всех профессий, особые обязанности, связанные с материнством. Никто не пережил столько трагических минут и с такой силой, как женщины, когда приходило известие о гибели сына, мужа или отца. Вспоминая деятельность женщин в промышленности в годы войны, я прихожу к выводу, что самую тяжелую, часто непривычную работу выполняли именно они.

...Перед моими глазами молодая бледная и худощавая женщина. Фамилия ее Васягина. Пусть она простит мне, что я не помню ее имени. Женщина тяжело дышит. Работа на формовочном станке нелегкая. Но она не жалуется. Война и труд изнурили и состарили ее, мне говорили, что всего два года назад была она стройной, высокой и красивой. А вот стерженщица Кочуро. Пожилая, тихая, аккуратно и чисто одетая. Отработав одиннадцать часов в литейном цехе, она спешит в тесную комнатку, чтобы позаботиться о семье. И так каждый день.

Девчата литейного цеха. Они работают в помещении, где вен-

тиляция практически отсутствует. Пыль, газ, жара в соседстве с пронизывающим холодом. Никогда я не слышал от них даже намека на жалобу. Ни одна не просила перевести на легкую работу.

Во время войны много женщин трудилось не только на машиностроительных заводах, но и на металлургических и других предприятиях. Женщина — машинист паровоза, женщина — кочегар паровозного котла, женщина — токарь по металлу, женщина-сварщик, женщина-формовщик, женщина — кузнец и штамповщик, женщина-грузчик. Да разве все перечислишь? Не было такой профессии, где бы не встречались женщины.

В сталелитейном цехе завода «Красное Сормово» из десяти стерженщиков девять были женщины. Половину формовщиков на машинах тоже составляли женщины. Крановожатые, пультовщики на электропечах, на наждачной обточке траков гусеницы — полностью женщины. Они же выполняли почти все подсобные работы. Эти данные внушительны, но недостаточны, чтобы представить себе в полном объеме роль женщин в период войны только в промышленности, в народном хозяйстве, не говоря о непосредственном их участии на фронтах.

Закон жизни «Все для фронта, все для победы» продолжал действовать без колебаний и послаблений. Этот суровый закон проник во все поры народного хозяйства. Он занял в сознании советского человека самое почетное место.

В трудах и заботах прошел 1943 год. Красная Армия наносила все более мощные удары по немецко-фашистским стервятникам. Фашизм откатывался в свое логово.

К весне 1944 года обстановка на фронте сложилась в нашу пользу.

И вот пришел долгожданный день, когда захватчики были изгнаны с территории нашей страны. Началась грандиозная, не имеющая себе равной эпопея восстановления разгромленного фашистскими варварами народного хозяйства. Еще задолго до конца войны эта работа по восстановлению заводов, фабрик, шахт, жилья, железных дорог, электростанций приобрела огромный размах. На заводе «Красное Сормово» в это время конструкторы уже работали над проблемами производства послевоенной мирной продукции. Война еще полыхала, а страна восстанавливала народное хозяйство, готовилась к миру.

■



К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В. Я. ШИШКОВА

В. ЧАЛМАЕВ

ПОДВИГ ХУДОЖНИКА

...Когда великие русские землепроходцы в своем шествии к Тихому океану ступали на берега очередной реки или морского залива, бог весть куда уходящего, они с неподдельным удивлением на крепком мужицком языке отписывали в Москву в очередном рапорте-«сказке»: «А море это, или река, или переуль морская — не знаем... Сия земля корабельными шествиями обретена, но токмо ко единому месту не бывали, которое поддалось к северу и то еще ни от кого не изведано...» И сколько иных речений, узловатых, как корневища, хранит летопись великого движения России через тысячеверстые пространства Сибири!

Когда Вячеслав Шишков после окончания технического училища приехал из родного Бежецка в Сибирь, то после среднерусского, тверского пейзажа с мягкой хрустальной теплынью тихих речек, с радугой над омытыми теплыми дождями сенокосами и Енисей, и Лена, и Обь показались ему, молодому устроителю речных путей, загадочными исполинами. Тут реки то «чешут гриву» о пики утесов, то улыбчиво затягивают путника на такой простор, что сами берега тонут в тумане, кажутся ненадежной крупицей земли среди водных хлябей. «В природе ее — нечто дикое, коварное», — скажет писатель впоследствии о вымышленной «Угрюм-реке», в которой оживут и Витим, и Тунгуска, и, вероятно, Бия. И сам сибирский простор, весь этот край, вплоть до XX века малоосвоенный, был полон для него грозного очарования:

Лег край огромный, непроезжий,
И звезды синие, медвежьи
Угрюмым пламенем горят.



В. Я. ШИШКОВ.
Портрет работы народного художника РСФСР
А. Н. Яр-Кравченко.

Но при всем этом Сибирь рождала в душе молодого инженера не испуг, не мрачное восприятие ее как сплошного «мертвого дома». Было в его душе здоровое, бодрое чувство, роднившее его и с былыми землепроходцами, чьи маршруты он не раз повторил, и с архангельским мужиком академиком Михайлой Ломоносовым, верившим, что «богатства России будут прирастать Сибирью». Вячеслав Шишков, даже замерзая порой где-либо на

Нижней Тунгуске, вдали от жилья, работая среди каторжников, кержаков, бродяг и прочего пестрого люда, выползавшего из тайги «на огонек», сохранял в душе исторически сложившееся чувство любви к реке, к «бегучей воде», как пути Ермака и Хабарова, Пояркова и Дежнева. Еще В. О. Ключевский отмечал эту извечную дружбу русского трудового человека с рекой: «На реке он оживал и жил с ней душа в душу. Он любил свою реку, никакой другой стихии своей страны не говорил он в песне таких ласковых слов, — и было за что. При переселениях река указывала ему путь, при поселении она — его неизменная соседка: он жался к ней, на ее непоемном берегу ставил свое жилье, село или деревню. В продолжение значительной постной части года она и кормила его... Река является даже своего рода воспитательницей чувства порядка... Она и сама любит порядок, закономерность... Река воспитывала дух предприимчивости, привычку к совместному, артельному действию, заставляла размышлять и изловчаться».

Обозревая сейчас всю обширнейшую художественную «вселенную» Вячеслава Шишкова с изменчивыми, неизбежно драматичными человеческими судьбами, с пейзажем, отчетливо видишь, что вся она пронизана широкими лентами рек, движущимися, живущими напряженнейшей жизнью, рождающими светлые мечты или бессильные проклятья. Весь трагизм мрачной судьбы Прохора Громова, вздумавшего ради своей выгоды, в стяжательском безумии осквернить берега Угрюм-реки чудовищным насилием над красотой, человеческим достоинством, едва ли был бы столь рельефен, шекспировски величествен, если бы постоянно как своеобразный лейтмотив не звучала бы тема Угрюм-реки, тема иной, куда более вечной и подлинно созидательной жизни... И совсем в ином смысле звучит тема Волги, хранительницы вольной волюшки, извечного очага бунтарского духа, в «Емельяне Пугачеве», в эпизодах, когда пугачевцы переходят на правый берег, когда тревожные предчувствия уже закрадываются в душу народного вожака: «Все пространство от земли до неба, от края и до края наполнилось сумеречной волнующей печалью. Это — последняя ласка, прощальный привет земле великого небесного светила. Издалека донесло протяжную песню, приглушенный далью благовест, заунывный, узывчатый голос пастушеской свирели с лугов.

И тут ближе, из-за самой реки, взнялась и поплыла бурлацкая песня:

Ты нас укачала, ты нас уваляла,
Эх, нашей-то силушки,
Нашей силушки не стало!»

Сам Вячеслав Шишков, объясняя в статье «Слово» свою любовь к такого рода условно-монументальным образам, как «Угрюм-река», «Пурга», «Тайга», «Алые сугробы», «Пейпус-озеро» (так названы его повести), писал, протестуя против измельчания характеров, мелкотемья, языковой засухи:

«Герой наших дней должен быть показан не чрез самый быт, а, верней, чрез преодоление этого быта. Почему герои Шекспира до сих пор живы, свежи и действенны?.. Это произошло потому, что классовая борьба не растеклась в его трагедиях мокрым пят-

ном повседневного быта, что его герои даны без «бытовщины», что их основные классовые и личные черты сконцентрированы в единство, в сильные и яркие цельные характеры».

...Уже первые рассказы и повести Вяч. Шишкова («Краля», «Ванька Хлюст», «Тайга» и другие), написанные в Сибири, когда ему было уже около сорока лет, полны каким-то трагедийным смыслом, предчувствием революционного обновления всего былого уклада социальной жизни России. Позднейшие романы и созданный в 20-е годы, почти одновременно с горьковским «Делом Артамоновых», роман-трагедия «Угрюм-река», а затем «Емельян Пугачев» несколько заслонили истоки, «окрестности» этих замечательных, подлинных вершин русской прозы. Но как поучительна вся кропотливая, ставшая подвигом работа писателя, выращивавшего в душе из семени давнего впечатления могучее, всеосеняющее дерево...

В предисловии к «Сборнику народных песен», собранных В. Я. Шишковым в 1911 году на реке Нижняя Тунгуска, будущий романист писал:

«...Я встретил на Н. Тунгуске поразительной красоты и силы мелодии (например, в таких песнях, как «Угрюм-река», «Гуленька-голубчик», «Горы Змеевские», «Ай, во те годы, во те прежднизначальные», «Уж ты поле мое, широкое раздольице»).

При очень оригинальном, своеобразном исполнении, с большими слезами в голосе, переходящими в скрытые рыдания, эти песни производят на слушателя чарующее впечатление, они будоражат душу до самых глубин ее, вызывая в памяти давно минувшие времена...»

Но важно не только то, что материал этого плавания ожил лишь много лет спустя. Важно, что Вячеслав Шишков, пережив и империалистическую войну, активно приняв Октябрьскую революцию, использовав затем архивные документы о Ленском расстреле, и через много лет сохранил в огромном романе о Прохоре Громове и сокрушившей его силе народного гнева всю цельность и концентрацию мысли и чувства песни, непостижимое искусство ее творца — народа: видеть человека, героя в масштабе всей судьбы, эпохи, а не в «мокром пятне повседневного быта»...

Чем потрясает доныне этот величественный и мрачный характер, весь страшный круг жизни Прохора Громова — от юношеского восхищения красотой реки до озверения на башне «Гляди в оба»?

Сам Вяч. Шишков в письме к А. М. Горькому подчеркивал близость основной темы своей «Угрюм-реки» и горьковского «Дела Артамоновых». Действительно, в обоих романах мы видим историю дела и личности, семьи творцов и хозяев этого капиталистического дела. Но если у Горького история возвышения и вырождения Артамоновых связана с тремя поколениями хозяев, то у Шишкова все антинародное, деморализующее, что нес с собой капитал, выражено в одном характере и его эволюции — в Прохоре Громове. Получился необычный, сжатый до взрыва трагический характер: он воплощает в себе и красоту и трагедию личности, прекрасное в нем с самого первого дня разъедается преступлением, деловое одухотворение отравлено свирепым, мучительно-сладострастным стяжательством.

В письме к К. Федину от 26 июля 1931 года Шишков писал

о том, как трудно поддерживать в книге это напряжение страстей, мук, радостей героев: «Сила в нас самих... Ведь ты прекрасно знаешь, какие соки вытягивает из нас каждая написанная нами страница... Две последние части «Угрюм-реки» наконец завершил (вчерне). Дьявольски большая вещь, всего лишь вдвое меньше «Клима Самгина». Много вложено в нее души, бумаги и чернил. А печатать, разумеется, ее не будут. Но я, обольщая себя гордыней Люцифера, в человеческой гордыне полагаю, что «Угрюм-река» — та вещь, ради которой я родился. Но над книгой, чтоб она заговорила высоким голосом, надо работать еще долгие месяцы, а то и год. Да и не моей голове. Мне очень трудно стать над этой вещью, как над чуждой и чужой, и властной рукой поставить все на свои места, вдунуть душу. Ау! У каждого свой порок и свой порог, его же не прейдеши».

Эта замечательная «неуверенность» в своей способности написать книгу, достойную того материала, который вовлечен в нее, сомнения и тревоги — черты истинного духовного величия художника. Самодовольна посредственность, блистательна и красноречива душевная пошлость, звóнок, как бубенчик, поэт, занятый одной позерской думой: «Какое бы лицо надеть, чтобы и к месту и к костюму...» А подлинный исполин российской словесности XX века даже в зените своих успехов, ободряемый и А. М. Горьким, и А. Н. Толстым, и К. А. Фединым, все еще сомневается: а хватит ли сил, мастерства, вдохновения для той или иной вещи?

«...Трудновато с Екатериной: она женщина чрезвычайно умная, а надо, чтобы Пугачев был поумней ее», — пишет он К. А. Федину в 1938 году в период создания «Емельяна Пугачева».

«А как показывать Пугачева, этого замечательного вождя восставшего крестьянства, еще не знаю... Ежели показывать его со всеми человеческими слабостями — в свободное время он и винишка любил попить, и бабенками увлекался, — боюсь разгневать критику. Ежели показать его без обычных человеческих «пороков», опять закричат: «Лакировка действительности». Примерно покажу так, как А. Толстой показал Петра», — писал он в том же году в другом письме.

Заглядывая ныне в творческую лабораторию замечательного мастера, улавливая все то духовное напряжение, в котором рождались яркие характеры писателя, следует, бесспорно, видеть во многих его сомнениях черточку постоянной усмешки и над собой, черточку лукавства, озорства, неизменную составную часть таланта. Глаза страшатся, а руки делают. Но и в этих якобы страшащихся глазах то и дело мелькает озорная, «шутейная», бесовская искорка: пугаю себя, а есть еще и силушка в руке, и порох в пороховницах...

Не только в цикле «Шутейных рассказов», созданных в 20-е годы, среди которых есть подлинные шедевры вроде «Спектакля в селе Огрызове», не уступающие по искусству словесного жеста лесковским «сказам», но и во всех произведениях писателя присутствует неистощимый солнечный пласт юмора, свет улыбки, есть комическое заострение тех или иных сторон характера. Илья Сохатых в «Угрюм-реке», этот незадачливый человек, считающий себя любовником Анфисы, спрятанный в подполье на подтекающей кадке с рыжиками, купец-прохиндей из Ржева Долгополов, помчавшийся в стан Пугачева (Петра III) получить дол-

жок за поставки ко двору, — это чудесные цветы шишковской фантазии, резко оттеняющие и трагические и героические стороны жизни. Как затейлива, как «фигурна» действительность, как живописны и сами народные характеры, и их манера изъясняться!

Горьковский путь в литературу... Пришедший в русскую словесность на рубеже Великой Октябрьской революции из самых глубин российского «житья-бытья», Вячеслав Шишков, как и М. М. Пришвин, С. Н. Сергеев-Ценский и другие художники-реалисты, — исключительное по своей поучительной и воспитательной силе явление культуры. Как велика творческая мощь народа, если он выводит на поприще духовного труда такие таланты. Когда в 1925 году Шишкова спросили о традициях, художниках слова, в наибольшей мере влиявших на него, то он, проработавший почти двадцать лет на реках Сибири, в тайге и алтайских «белках», отвечал: «...самое главное влияние я приписываю живой природе: Алтайским горам, рекам, тайге и, конечно, всяческому люду. Я вырастал не в оранжерее, садовников надо мною не было, меня не подстригали, не поливали из лейки, не окуривали от тли, я рос в диком виде, сам по себе, под дождем и солнцем...»

Горьковский путь к художественному слову и в наши дни не просто обогащает материалом, фактами, не просто оставляет в сознании впечатления и голоса, «пестрый сор» подробностей и догадки о жизни, времени. Истинно народный художник не просто много знает — ведь всякое знание относительно, условно, не беспредельно. Иногда карлик, влезший на плечи великана, как иронически заметил Г. Гейне, «знает» больше и даже «видит» дальше великана. Но в карлике «нет биения гигантского сердца», и потому он не может ничем обогатить мир, оживить холодный мир сухой информации. У него нет возможности, мучительной и счастливой, писать каждую строку в состоянии предельной самоотдачи, писать всей жизнью, мыслить и чувствовать в масштабе судеб народных.

Сама продолжающаяся жизнь творений Вяч. Шишкова в сознании, исторической памяти народа — важный фактор воспитания и цельного патриотического чувства, и доверия к возможностям и силе самого художественного слова, доверия к его власти над усложняющимся жизненным процессом.

В недавней статье «Родниковая свежесть», опубликованной в «Правде», замечательный писатель-академик Леонид Леонов вновь поставил вопрос о действенной силе подлинного искусства, об истоках его неослабевающего воздействия на разум и сердце современника. Да, пусть усиливается мощь научного мышления и всех его инструментов познания мироздания и общества. Пусть ярче горит «огонь мысли», уловленной в одежду цифр, формул, в плоть линии и колонки расчетов, пусть математика, как сказал Геккель, и впредь, «как жернов, перемалывает все, что ей подкладывают». От этого не слабеет, а усиливается пламя мужества и героизма, подвига и дерзания, уловленное в магический кристалл слова. И вновь и вновь будет обращаться наш современник, великий творец всех планов созидания, строитель нового мира, к художнической мысли, черпая великую окрыляющую и возвышающую радость и силу и от лирической пейзажной зарисовки, и от романа — зеркала исторических судеб советского

народа, новой исторической общности, сложившейся всецело в новую эпоху.

«Дело было лет тридцать назад, даже побольше, в Третьяковке, перед самым закрытием галереи, зимой, — писал Леонид Леонов. — Нас в опустелом зале оставалось только двое, — рядом со мной — красноармеец, верно, с периферии, совсем молоденький. Перед ним висел небольшой, в размер детской тетрадки, этюд обыкновеннейшей копны сена, занимавшей почти всю площадь произведения... Сперва странная пристальность обозначилась в его лице, сменившаяся затем скользящей полувиноватой улыбкой. Зритель узнавал правду жизни перед собою. Похоже было, что он мысленно коснулся рукою колючих травинок, чуть волглых после недавнего дождя, вдохнул на проверку тончайший из запахов земли и рассеянным взором души проследил не попавшую в поле зрения лохматую тучку, что деловито убегала в смежную волость по должности: она-то одна, а делов пропасть! Когда же общение с родиной через посредничество искусства кончилось, спряталась до будущего раза и улыбка. Сам он, юноша в военной гимнастерке, вряд ли осознал тогда значение только что совершившегося с ним полуминутного преображения. Но можно было бы показать в обстоятельной повести, как тот маленький праздник на исходе пасмурного зимнего денька — после уймы неуловимых психических трансформаций выявился однажды в легендарном подвиге — может быть, даже Сталинградской битвы». И не случайно, что такие вот встречи с искусством, естественные, как целомудренно простые весточки из дому в дни войны, как эти материнские треугольнички, разделяли с воином, с тружеником всю его судьбу. «Их (эти письма. — **В. Ч.**) носят в нагрудном кармашке, над сердцем, — продолжал Леонов, — а в минувшую войну они простреливались вражеской пулей заодно с партбилетом» («Правда», 1973, 27 февраля).

Подлинное искусство и в наши дни не «ошеломляет», не «озадачивает», не раздергивает возбуждающими, пряными, острыми и клоунскими выходками внимание и доверие читателя. Оно идет к читателю, как родниковой свежести влага, особыми неторопливыми путями, продолжает свой путь в его душе, формируя жизненный путь, оттачивая кремень характера.

И книги Вячеслава Шишкова — это частица живой, вечно трудящейся души народа, его нравственная память, его современность и приближенное грядущее, это и «праздник идей», и поле битвы идей, битвы, вселяющей великую уверенность в торжество нового мира и его духовных ценностей.

■



Р. В. ЗАХАРОВ,
профессор,
народный артист СССР

РАЗГОВОР О ПРОДОЛЖЕНИИ

Школа русского классического балета. Как много сделала она для расцвета нашего отечественного искусства танца, для утверждения на сценах всей страны советского классического балета.

Балет — искусство молодости, и отрадно знать, что недавно трем одаренным молодым балеринам Большого театра СССР присуждены премии Ленинского комсомола. Екатерина Максимова, Наталия Бессмертнова и Нина Сорокина, удостоенные высокой награды, — артистки очень разные, непохожие одна на другую. И это радует, так как зрители могут видеть в одних и тех же спектаклях (не очень, пожалуй, богатого балетного репертуара Большого театра) не копирующие друг друга образы.

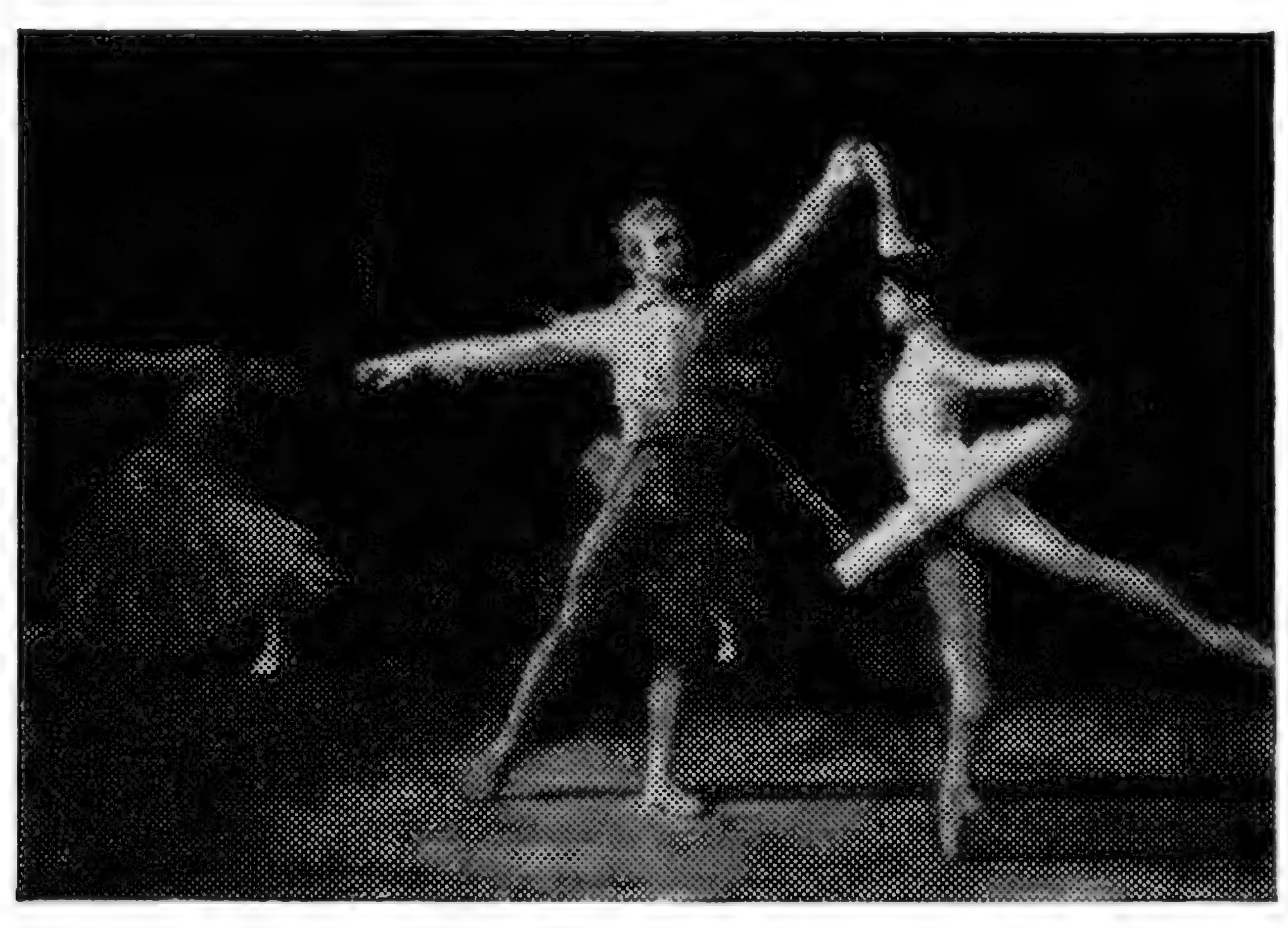
Это молодые артистки высокого танцевального мастерства. Хочется прежде всего припомнить их предшественников и наставников: превосходную балерину начала столетия Елизавету Павловну Гердт, известных всему миру Марину Тимофеевну Семенову и Галину Сергеевну Уланову.

Так, с Максимовой — ученицей Е. П. Гердт — стала работать над ее новыми ролями Г. С. Уланова. И если в первой общей работе — роли Жизели — временами виделась не свойственная индивидуальности Максимовой манера ее педагога, то впоследствии одаренная артистка сумела отойти от прямого подражания своей знаменитой наставнице и стать на сцене самой собой. По природе дарования Максимовой ближе амплуа так называемой инженю; здесь я согласен с Ф. Лопуховым, который писал об этом в своей книге «Хореографические откровенности». Но он не отметил артистического совершенствования нашей балерины, которое позволило ей с успехом исполнять и лирический и драматический репертуар. И надо отдать должное Максимовой, когда она ис-



На верхнем снимке: Нина Сорокина — Фригия (балет «Спартак»). Внизу: сцена из балета «Щелкунчик». Маша — Екатерина Максимова, принц — Владимир Васильев.

Фото Г. Соловьева



полняет не только роль милой, доброй и наивной Золушки, но и пушкинской Марии, веселой и очаровательной поначалу и трагически надломленной потом.

Технически безупречна и заразительно весела Максимова — Китри в балете «Дон-Кихот» со своим бессменным партнером Владимиром Васильевым — одареннейшим из наших танцовщиков и артистов.

Особенно же понравилась мне она в роли Фригии (балет А. Хачатуряна и Ю. Григоровича «Спартак»); здесь мы увидели не только виртуозную балерину, но прежде всего актрису, прекрасную в лирических дуэтах со Спартаком и остро драматичную в заключительной сцене — эпизоде гибели Спартака, где верная его подруга оплакивала и свою любовь, и героя народного восстания. Партия Фригии имеет четкое и последовательное драматургическое развитие; тут чувствуется влияние и помощь Г. С. Улановой.

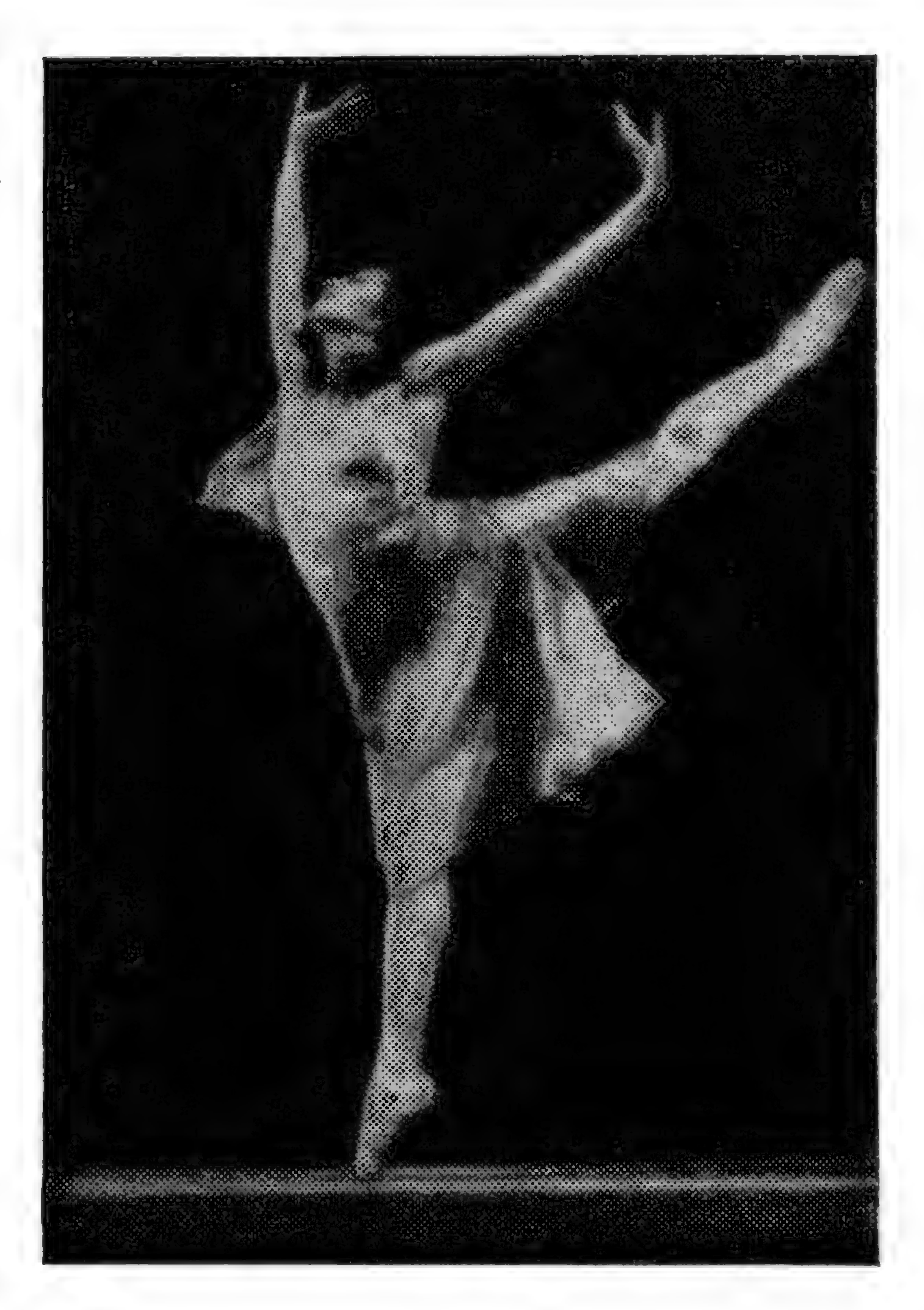
А Нина Сорокина произвела сильное впечатление в дуэте «Диана и Актеон» из постановки А. Я. Вагановой балета «Эсмеральда». Не могу не вспомнить блистательного исполнения этого па-де-де Валентиной Лопухиной (одной из учениц Вагановой), выступавшей с Вахтангом Чабукиани. И вот теперь новая Диана — Сорокина. Смелость и уверенность в каждом движении, стремительность туров, легкость прыжков, чистота классической формы — все это привело молодую балерину к победе на труднейшем творческом соревновании — Всемирном конкурсе артистов балета в Москве в 1969 году. Успех своей ученицы по праву разделила М. Т. Семенова. Она в совершенстве сумела развить технические данные балерины. Для Сорокиной воистину нет трудностей в любой партии классического репертуара. Она в строгой классической форме исполняет, например, принцессу Аврору в «Спящей красавице», но есть у нее и партия, которая требует актерской выразительности, — это роль ее сверстницы в балете на современную тему «Геологи», где она тоже добилась большого успеха.

Наталию Бессмертнову я впервые увидел в балете «Жизель» удивительно легкой, воздушной, почти «неземной». Сразу подумалось: эту танцовщицу ждет большое будущее. И опять не могу не вспомнить о наставнике, который работал с Бессмертновой над ролью Жизели в течение почти целого сезона, — это был Л. М. Лавровский.

Жизель Бессмертновой никого не копировала. А ведь именно индивидуальность мы должны особенно ценить в нашем искусстве, только яркие индивидуальности могут двигать искусство вперед. Балетная труппа — это не просто известное количество одинаково хорошо обученных танцовщиков и танцовщиц. И весьма печально, когда некоторые руководители и педагоги — как в школе, так и в театре — не дают развернуться природным талантам, а «причесывают всех под одну гребенку». Что мы видим тогда на сцене? Все как будто на месте, технически артисты со своими партиями справляются, танцуют ровно, как по линейке, и любая исполнительница как две капли воды похожа на свою дублершу...

Бессмертнова, бесспорно, обладает яркой индивидуальностью. Трогательной и нежной пушкинской Марией является она в балете «Бахчисарайский фонтан»; особенно проникновенно испол-

Балет «Ромео и Джульетта». Наталия Бессмертнова в роли Джульетты.



няет кульминационный третий акт — дуэт с Гиреем, элегию-воспоминание о счастливом прошлом, и диалог с Заремой, который приводит Марию к трагическому концу. Удается Бессмертновой и роль Фригии в балете «Спартак».

Свободно чувствует себя она в «ориентальных» балетах, таких, как «Легенда о любви» и «Лейли и Меджнун». Изломанность линий, необычайно высокий шаг и элегическое настроение танцовщицы органично сочетаются с хореографией в полуклассическом стиле с включением приемов так называемого танца «модерн».

Строго классические же балеты, такие, как «Лебединое озеро» и «Дон-Кихот», как мне кажется, пока не ее стихия. Хотя работа в течение нескольких лет М. Т. Семеновой принесла Бессмертновой пользу в отшлифовке классической формы, окончательное овладение образами в этих балетах у Бессмертновой еще впереди.

Впрочем, у всех трех лауреаток многое еще впереди, и пусть комсомольская награда ободрит их в поисках. Пусть помнят они, что принадлежат к прославленной школе и являются частицей огромного художественного содружества, имя которому — советский балет. И, выбирая в нем пути, пусть не ищут дорог лег-

ких! Совершенствование в искусстве всегда идет через преодоление острых проблем, через решение самых сложных творческих заданий. И чтобы помочь молодым уверенней идти избранной дорогой, хочу на правах старшего дружески поговорить о том круге проблем, без решения которых не может быть истинного движения балетного искусства к новым высотам.

Образ и роль. Оба эти понятия неотрывны от понятий «спектакль», «пьеса», «драматически развивающееся действие», «линия поведения», «характер». Поэтому важно, чтобы молодые танцовщики постоянно расширяли свой диапазон. Возможно это лишь в том случае, когда театр обладает большим репертуаром со множеством разносторонних образов, углубленная работа над которыми может раскрыть полноту их дарований.

Поэтому мне хочется пожелать нашим лауреатам премии Ленинского комсомола, всем способным молодым артистам новых и новых ролей в балетах, сочиненных разными балетмейстерами с учетом их дарований. Готовя свой первый балет «Бахчисарайский фонтан», в партии Марии я предвидел конкретную исполнительницу — молоденькую тогда Галину Уланову. Все танцы Марии, ее отношение к отцу, Вацлаву, Гирею и Зареме я представлял, зная, как поведет себя в этих ситуациях живая Мария — Уланова. Потому-то, видимо, сочиненная мною партия так свободно и органично была ею воспринята.

Для роли бальзаковской Корали в балете Б. В. Асафьева «Утраченные иллюзии» я тоже имел в виду Уланову, но, поработав с ней над ролью Марии (особенно в дуэте с Гиреем, которого превосходно исполнял Михаил Андреевич Дудко), почувствовал какие-то скрытые черты ее артистической индивидуальности, тот темперамент, который ей до тех пор проявлять на сцене не доводилось — Уланова считалась чисто лирической танцовщицей.

И после скромной Жизели, нежной Одетты и тоскующей Марии на сцене появилась вдруг Корали, которая, как разъяренная тигрица, прогоняет своего богатого покровителя Камюзо. Хрупкими ручками швыряла она стул в старого любовника, наступала на него с такой яростью, что тот, пятясь назад, исчезал за дверью. И какая буйная вспышка радости следовала за этим, когда счастливая пара — Корали и Люсьен, оставшись одни, танцевали вдвоем! Наш лирический в ту пору танцовщик Константин Михайлович Сергеев был достойным партнером Улановой; его Люсьен — одна из тончайших актерских работ в балетном театре.

Почему танцевальная партия Золушки в балете на музыку С. Прокофьева так отличается от моих предыдущих работ? Потому что сочинял я ее для жизнерадостной индивидуальности Ольги Васильевны Лепешинской, которая была первой исполнительницей этой роли. Вариации и коды Золушки изобилуют воздушными прыжками и стремительными турами, которые она превосходно исполняла.

Конечно же, не я первый стал сочинять партии на конкретных исполнителей. Вспомним, как Михаил Фокин создал «Шопениану» и «Умирающего лебедя» для Анны Павловой, а затем большинство своих маленьких балетов — имея в виду индивидуальность Тамары Карсавиной. А неумирающая «Жизель» была поставлена Ж. Перро и Ж. Коралли для Гарлотты Гризи.



Екатерина Максимова в балете «Дон-Кихот». Фото Г. Соловьева

И долгой жизни этих балетов ничуть не помешало то, что были они созданы для конкретных балерин, наоборот, отзвуки их жизненных черт оказались близкими и последующим талантливым исполнительницам, которые, развивая найденное предшественницами, внося свои личные, индивидуальные чувства в эти образы, делают их до сих пор достоверными и убедительными.

Да, говоря о необходимости сочинять новые балетные произведения, я хочу напомнить и о том, что мы должны бережно сохранять уже накопленные ценности — старый репертуар. Сюда относятся и балеты классического наследия, и сочинения современных хореографов. К сожалению, приходится констатировать, что мы крайне расточительно относимся к таланту и труду предшественников.

Очень хорошо, что мы сохраняем балет «Жизель», который в режиссерской редакции Л. М. Лавровского восхищает весь мир. Но жаль, что не идут у нас старейший из сохранившихся балетов «Тщетная предосторожность», балеты «Коппелия», «Эсмеральда», «Раймонда», «Пламя Парижа», «Мирандолина», «Аистенок», «Светлана», «Алые паруса», «Фадетта», «Медный всадник», «Кавказский пленник», «Тарас Бульба», «Три толстяка», «Поручик Киже» и другие. Можно обратить внимание на то, что

большинство этих балетов созданы современными композиторами, балетмейстерами, артистами, художниками. Исчезли же они из репертуара вовсе не потому, что утеряли художественную ценность или их не посещали зрители, а, видимо, по случайным причинам.

Год за годом не возобновляется какой-нибудь из названных спектаклей, забываются роли, а вместе с этим упускаются прекрасные возможности для артистов труппы проявлять себя широко и разносторонне.

Почему так выходит?

Вот, по-моему, одна из причин. Однажды у нас появился институт так называемых «главных»: главный режиссер, главный дирижер, главный художник, главный балетмейстер. В истории нашего театра такого не водилось. Был директор, который приглашал на работу тех, кто нужен театру; а режиссер или балетмейстер, дирижер или художник был главным творческим лицом в своих спектаклях. А теперь... если есть главный, то должны быть и второстепенные мастера? Почему? В каждом театре есть директор, управляющие оперной, балетной труппой, оркестром. Вот это и есть лица административные. В художественной же сфере «главных» быть не должно (ведь не говорим же мы, например, «главный писатель», «главный композитор», «главный скульптор»).

Вот и думается, что, когда начали назначать «главных», они стали обращать основное внимание на свои собственные постановки, будь то опера, балет, драма или музкомедия. В эти спектакли привлекаются лучшие артистические силы, для них всегда находится репетиционное время, что позволяет поддерживать спектакль на должном уровне. Весь театр, так сказать, настраивается на работы «главных». Что же касается работ их коллег, служивших в театре ранее или приглашенных на разовую постановку — а ведь молодежь и может рассчитывать именно на такую работу! — то им, как правило, подобного внимания не уделяется.

Все это, конечно, разрушает спектакли. Можно ли допускать такое отношение к репертуару? По-моему, нет. В наших театрах каждый спектакль должен быть праздником для зрителей!

Я убежден в том, что мы не имеем права делить спектакли на главные и второстепенные, сопутствующие, проходящие, но эта чрезвычайно вредная позиция — что греха таить — стала системой.

Такое отношение к делу вредит не только зрителям, оно дурно действует и на труппу, в особенности на молодежь, которая быстро соображает, что в некоторых балетах можно не особенно стараться, танцевать «вполноги», если где-то и напутаешь, никто особенно не пожурит, даже не заметит. Бывшие прежде яркими и выразительными танцы и мизансцены теряют свои качества, так как никто как следует их не показывает, не разъясняет молодым исполнителям.

Мы всегда учились и продолжаем учиться на старых образцах. В этом отношении балеты Мариуса Петипа для развития танцевального мастерства особенно полезны. Хорошо, что у нас сохранились, например, такие его танцевальные массивы, как

«Тени» из «Баядерки» и «Гран-па» из «Пахиты». Плохо только, что каждый балетмейстер, каждый педагог хореографического училища считает себя вправе не только заменять одну вариацию другой, но и менять их танцевальный текст, что при отсутствии записи танца ведет к разрушению и забвению творений великого мастера. Кто из дирижеров или пианистов позволяет себе менять что-либо в партитуре или клавире композитора? Почему же в балете у нас это допускается?

Кроме «Теней», в «Баядерке» было много прекрасных танцев, например танец Никии с цветами, из которых выползала ужалившая ее змея, а также драматические сцены с брамином, Гамзати и др., в которых потрясали зрителей Анна Павлова, а в наше время Марина Семенова, Алла Шелест, Наталия Дудинская. Здесь было где развернуться их драматическим талантам. Незаслуженно забыт и очаровательный балет А. Горского «Конек-горбунок», изобиловавший превосходными танцами. Как и «Баядерка», он нуждался в новой режиссерской редакции. Музыка Ц. Пуни действительно наивна и примитивна, но в этом балете-сказке, который очень любили дети да и взрослые, она казалась не такой уж плохой благодаря талантливейшей работе Горского. Тут присутствовал дух ершовской сказки. Нужно вспомнить танцы старого «Конька», сохранить их и передать молодым исполнителям...

Для нашей молодежи нужно сочинять и большие многоактные балеты с серьезной, полноценной драматургией, и балеты одноактные, и миниатюры для концертного исполнения. Это делается, но медленно и мало. Шире нужно привлекать одаренных композиторов и балетмейстеров, смелее обращаться к молодым. А для этого, как мне кажется, театры должны крепить контакты с консерваториями и с балетмейстерскими вузами.

Сказать по правде, руководство наших театров предпочитает иметь дело с маститыми, считая, что так вернее и спокойнее. Но я не забываю, как в 1933 году композитор Б. В. Асафьев не побоялся поручить мне — совсем молодому, малоопытному хореографу, едва покинувшему студенческую скамью, свой новый балет «Бахчисарайский фонтан»...

Впрочем, это не единственная традиция прошлых десятилетий, которую хотелось бы видеть продолженной сегодня.

Главной традицией советского балета стали спектакли реалистического направления. Не бездумные дивертисменты, а развитые танцевальные представления, в которых действие воплощалось средствами классического и характерного танца.

В последнее же время характерный танец, возникший на основе танца народного, почему-то стал из балета исчезать. Он использовался авторами музыки и хореографии как необходимая характеристика среды, национального колорита той страны, где происходит действие. Кроме того, сочетание классического и народно-характерного танца в спектакле давало контрастные краски, вносило разнообразие.

В новой редакции балета «Лебединое озеро» на сцене Большого театра отменены характерные танцы третьего акта и исполнительницы поставлены на пальцы. Если бы Чайковский имел здесь в виду классические композиции, то и музыку сочинил бы совсем иную; но мазурка, венгерский, испанский, неаполитанский танцы основаны на подлинно народных истоках, это танцы

характерные, так сказать, земные, которые необходимы автору, чтоб лучше оттенить фантастические, сказочные образы лебедей. Эта часть партитуры третьего акта является ведь контрастом лебединым танцам второго и четвертого актов, танцам воздушным, полным задушевности и лиризма...

Вопрос о месте и роли характерного танца в балетном спектакле беспокоит и потому, что вместе с его исчезновением может уйти (и частично уже ушла) значительная по своим художественным качествам сфера творчества артиста балета. Где, как не в нашей стране, где проживает более ста национальностей, найдешь такое богатство народной музыки и хореографии? И как важно, чтобы оно бралось композиторами и балетмейстерами за основу новых хореографических произведений. Это одна из традиций русского классического балета, и она должна получить все условия для дальнейшего развития. Нужно отдать должное деятелям наших национальных республик, которые много и плодотворно работают в этом направлении. Хореографы же некоторых столичных театров, а за ними и ряда других — видимо, под влиянием западного балетного театра, где совершенно отсутствует народно-характерный танец, — сочли его немодным и не включают в свои балеты.

Вместо этого в оборот пустили такие малодоказательные мысли, что поскольку у нас в Советском Союзе возникли ансамбли народного танца разных национальностей страны, то им лишь и надлежит развивать и пропагандировать эту хореографию, а в балете пусть танцуют только на пальцах.

Но исключительные, мирового значения успехи лучших наших ансамблей никак не должны умалять весомости народно-характерных, национальных танцев в классическом балете. Они присутствуют там не как случайный компонент спектакля, они оплодотворяют классический танец, делая его более эмоциональным, выразительным, возникшим в среде определенной национальности, выражающим душу народа, его образ.

Более того, я полагаю, что нужно создавать сюжетные балеты на основе народно-характерного танца. Из истории балета мы знаем: еще в прошлом столетии в России наряду с царившими тогда на императорской сцене сильфидами и нимфами ставились патриотические балеты на основе русского народного танца (например, «Гулянье в Марьиной роще», «Любовь к отечеству», «Праздник в стране союзных армий», показанные в дни победы над наполеоновской армией).

В советских балетах 30—50-х годов характерный танец был неотъемлемой частью. Невозможно себе представить, например, балет «Пламя Парижа» без «танца басков», «танца овернцев» и карманьолы, которую танцевала вся сцена. Образ восставшего французского народа выражался именно через них. В балете «Сердце гор» кульминацией был грузинский народный танец «хоруми». «Бахчисарайский фонтан» не мог быть поставлен без полонеза, краковяка и мазурки, на основе которых сочинены в этом балете и танцы классические, а без татарской пляски вышел бы неполным образ Гирея. Латышский балет «Сакта свободы», литовский «На берегу моря», чувашский «Сарпиге», карельский «Кижская легенда» (и десятки других!) не получились бы без своих национальных танцев. Каждая из наших союз-

ных республик и многие автономные уже создали свой национальный балетный репертуар.

Так можно ли говорить о сближении искусства с жизнью народа, если из балета исчезнет народно-характерный танец? Что же получится: образ народа, о котором идет речь в произведении, не найдет своего отражения в музыкально-хореографическом произведении!

Не понимая, что ли, этого закона нашего реалистического искусства, некоторые балетмейстеры стали заниматься просто формотворчеством, отвлеченным сочинительством. Некие запутанные телодвижения, телосплетения, катание по полу вдвоем и поодиночке... Для чего конструируются такие постановки? Может, назвать их ребусами, но каждый ребус в конце концов расшифруешь, а те произведения, о которых я говорю, никакой расшифровке вроде бы не подлежат.

Впрочем, одна из западных радиостанций призывала наше искусство к «бродвеизации» театра и сексуализации русского балета. Значит, у кого-то есть желание привить нашей многонациональной хореографии несвойственные ей манеру и стиль, чуждый характер, что, увы, уже наблюдается в отдельных работах некоторых балетмейстеров. Наблюдаем мы и грубые, неэстетичные, вульгарные движения, жесты и позы.

Наша школа всегда воспитывала в танцовщиках особую мужественную грацию, сильный, волевой, энергичный характер танца. Всякое же проявление жеманства, женственных манер строго изгонялось. Теперь в некоторых танцевальных композициях у мужчин появились манерность, движения, принятые в женском классическом танце. У некоторых солистов руки стали нежными, расслабленными; как-то не вяжется такое с силовыми подъемами, акробатическими поддержками. А походка на сцене, выходы на поклоны публике с легким покачиванием бедер, разве было это когда-нибудь допустимо в мужском исполнении?

Из-за такого смешения порой трудно понять сразу, где танцует мужчина, а где женщина. Этому способствует и пришедшая к нам западная мода на балетный костюм, вернее, униформу — обтягивающее все тело трико, одинаковое как у мужчин, так и у женщин; перед нами какие-то однополые существа, рожденные волей сочинителей подобных композиций.

Театральный костюм всегда создавался художником. Для балета он, разумеется, делался облегченным, воздушным, чтобы не только не мешал танцу, но и красиво подчеркивал его линии. Детали балетного костюма позволяли видеть, какой национальности и какой эпохе принадлежит по сюжету танец или балет. Некритическое подражание моде и изъятие из балета народно-характерного танца приводит к тому, что зритель если и может узнать географию действия, так только из программы.

Вслед за костюмами и декорации кое-где сведены до минимума. Некоторые художники, как и балетмейстеры, забывают о традициях русской театральной живописи, которая всегда вызывала восхищение зрителей и усиливала впечатление от постановки. Говорят, правда, теперь, что «излишества» в театральном оформлении и в костюмах якобы мешают танцу. Что же это, простите, за танцы, которым мешает их естественная обстановка?

Порой поражаешься, как соглашаются известные, даже народ-

ные, артисты воспроизводить не свойственные нашему советскому понятию реализма танцевальные опусы? Они оправдывают это поисками новых форм, а по существу, скорее боятся отстать от моды, словно не понимая, что поиски формы ради нее самой — это формализм. Защитники и поборники таких явлений свои позиции объясняют тем, что нельзя-де, чтобы искусство развивалось изолированно, без взаимосвязи с тем, что происходит в области искусства в зарубежных странах.

Да, мы развиваем торговые взаимовыгодные экономические связи, заключаем мирные договоры с капиталистическими странами. Но в области идеологии мы вели и будем вести борьбу против упадочнической культуры. Мы за искусство, которое прославляет Человека, чистоту его помыслов, благородство намерений и поступков. На Западе же в силу самого образа жизни перед искусством ставятся совсем другие, чаще противоположные задачи. Там задачей искусства оказывается возбуждение худших инстинктов, показ чего угодно, вплоть до патологических извращений; и балет, разумеется, не является исключением. И как жаль, что некоторые мои коллеги — не только молодые, но и мои сверстники — а я принадлежу к старшему поколению, — говорят, что видят в такого рода приемах «обогащение» школы классического балета. Не обогащение и дальнейшее развитие школы русского и советского классического балета, которая всегда отличалась красотой и целомудрием, принесет эта мода, а, как я убежден, засорение чуждыми приемами. Что ж, это обрадовало бы наших идеологических противников. Но нет! Не будет того. Наш народ здоров и духом и телом. Вызванное «новыми формами» балетных приемов любопытство — временное, оно пройдет, кажущаяся «новизна» неизбежно приведет к тому стандарту, который всегда вызывает скуку и неудовлетворение. Будущее за реалистическим, жизненно правдивым искусством, и так останется навсегда.

Обогащение школы классического танца — процесс необходимый и закономерный, но происходить он должен не путем некритического заимствования танцевальных форм, а через отражение того, что диктуется нашей народной жизнью. (Правда, на Западе есть и прогрессивные деятели хореографии, которые стремятся ориентироваться на достижения советского классического балета и по мере своих возможностей создают содержательные, реалистические балеты, и это приносит им успех.)

Процесс обогащения классического балета, его расцвет я вижу в обращении к современной теме, к истокам народного творчества. Не можем мы игнорировать и спорт, который имеет в нашей стране огромные достижения. Дальнейшее развитие балета тормозит отсутствие полноценной драматургии — основы для сочинения музыки и хореографии балета. Убежден, что среди молодых литераторов нашлись бы люди, способные отразить в своей заявке на хореографическое произведение ту жизнь, что кипит вокруг нас, те высокие устремления советской молодежи, которые так и просятся на балетную сцену.

Еще в двадцатые годы советские балетмейстеры обращались к акробатике как средству обновления классического балета, и это было закономерно. Нам досталось в наследство высокое искусство танца, но манера его исполнения была несколько рафинированной, изнеженной, такой, какая была свойственна при-

дворному театру. Перенести такую манеру в балеты на современную тему, к постановке которых уже тогда стремились наши хореографы, было невозможно. Пришедшему после Октября в театр зрителю персонажи старых балетов казались явившимися из другого мира. Здоровый дух, жизнерадостность советского человека неизбежно должны были повлиять и на балет.

Приемы спорта, акробатики, безусловно, принесли пользу. Но в то время ими пользовались часто неумело, вводя без видимой надобности и без разбора всевозможные «колеса», «кульбиты», «шпагаты», «стойки» на руках, что приводило скорее к формализму, чем к обновлению лексики классического танца, оттого произведения, где механически смешивались приемы классики и акробатики, в репертуаре не удержались, зритель на них не пошел.

Постепенно лишнее само собою отпало, а новая манера, новый стиль исполнения — свобода, смелость, решительность и естественность танцевальных движений, наполнение их глубокими чувствами, радостью бытия пришли в наш балет и даже завоевали ранее консервативно настроенную школу, продвинув вперед ее технику и выразительные возможности.

Тут невозможно не сказать и о том, какое огромное влияние оказал, в свою очередь, классический танец на советский спорт, особенно на фигурное катание и танцы на льду, на акробатику и художественную гимнастику. На моих глазах из ритмических упражнений под музыку, впитав в себя основные элементы классического танца и сочетав их с акробатикой и пластикой, советская художественная гимнастика завоевала всемирное признание; на наших спортсменок равняются теперь все. Глядя на соревнования по художественной гимнастике, невольно ловишь себя на мысли, что ведь это не только спорт, но и искусство: так называемые вольные упражнения с предметами или без них сделаны со вкусом, ощущением художественной формы и даже музыкальностью, музыкальной характерностью. Наши чемпионки исполняют свои упражнения с лентой, мячом или кольцом — и всюду я вижу балетные па: жете, перекидные жете, со-де-баск, вращения в позе арабеска или аттитюда, шене и прочие вращательные движения. У девушек, как правило, огромный шаг, высокий, легкий прыжок, гибкость и грация, которым могут позавидовать профессиональные танцовщицы.

А наш балет на льду, танцы на льду! Возьмем последние, прямо феерические успехи танца на льду, его новой школы. Еще совсем недавно там царила английская школа, а сегодня весь мир покорен мастерством и артистизмом наших танцоров. Возникло это не из ничего, не на пустом месте, а благодаря неустанному труду, таланту и одержимости наших уже прославленных мастеров: тренера Елены Чайковской и четырежды чемпионов мира Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова.

Мало кто знает, что Чайковская задумала создать отечественную школу танца на льду давно. Скромной молодой девушкой пришла она на балетмейстерское отделение ГИТИСа. К тому времени она уже была спортсменкой-фигуристкой, а в институте основательно изучила классический, народный и исторический танец, искусство композиции — в общем, все дисциплины, формирующие хореографа.

В ГИТИСе же обучалась будущая исполнительница замыслов

Чайковской — Людмила Пахомова. В институт она пришла прямо со школьной скамьи. Она тоже решила усовершенствовать танец на льду, которым занималась с детства.

Создавать новые танцевальные композиции они стали вместе — тренер Е. Чайковская и ее воспитанники Л. Пахомова и А. Горшков. Результаты этого содружества всем известны. Чем же объясняется такой успех нашей пары? Тем, что, кроме виртуозной техники и чистоты скольжения, они по-настоящему танцуют. Если звучит русская музыка — мы видим на льду настоящие русские танцы, которые исполняются в национальном характере, живо, задорно, с широтой и достоинством. Если исполняется испанский или латиноамериканский танец — опять же композиция и исполнение не оставляют сомнения в его национальной принадлежности.

Взаимовлияние происходит у нас во всех областях искусства: в драме, кино, в опере и балете. Виды и роды искусства не могут развиваться в отрыве один от другого. Для примера скажу о музыкальной комедии. Разве могли лет тридцать назад ведущие артисты оперетты так танцевать, как они умеют это делать сегодня? Наша талантливая примадонна Татьяна Шмыга — воспитанница ГИТИСа — блестящий пример такой синтетической актрисы, которой в одинаковой степени удаются и пение, и танец, и драматическая игра.

Театр — искусство синтетическое, и балетный театр тут не исключение. Но к высокому понятию **балетный театр** наше искусство пришло не сразу. Кто хоть немного знаком с историей мирового балета, помнит, что до появления великого теоретика балетного искусства Новерра (современника Руссо, Дидро и других французских просветителей) танец во французском театре исполнялся как дивертисмент при опере. Познакомившись с искусством знаменитого английского актера Гаррика, с его изумительным даром пантомимы, Новерр пришел к решительной реформе: он выделил хореографический спектакль как самостоятельный вид театрального искусства. От Новерра мы начинаем историю классического балетного театра.

Один из последователей Новерра, Карл Дидло (расцвет творческой деятельности которого протекал в России), поражал современников своими балетами, которые волновали зрителей до слез. Для того времени Дидло был волшебником театра, и в его произведениях выросли замечательные танцовщицы-актрисы во главе с воспетой Пушкиным Истоминой, Колосовой и другими. Постановки Дидло отмечены богатствами фантазии, то были балеты-феерии, где встречались всевозможные театральные трюки — внезапные исчезновения и превращения, воздушные полеты и прочее, но ставил он и почти полностью пантомимные балеты, где безмолвная игра актеров не уступала по выразительности спектаклю драмы. Вот что сказал в своих примечаниях к «Евгению Онегину» Пушкин: «Балеты Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них более поэзии, чем во всей французской литературе» (под тем писателем Пушкин имел в виду себя).

И вот, помня о том давнем опыте синтетического театра, начинаешь тревожиться, видя хотя бы замену декораций сукнами или какими-то условными конструкциями, костюма — сплошным

трико. Ведь о художественной целостности синтетического спектакля можно говорить лишь тогда, когда все его компоненты уравновешены и все средства работают на одну общую цель — выразить идею произведения, создать высокохудожественный образ.

Сторонники отмены этих традиций — критики в своих статьях и книгах, посвященных балету, и их последователи-практики видят чуть ли не новаторство в экспериментах, разрушающих художественную целостность спектакля. Это подкрепляют такими словами: «Мы ищем новое, философское решение, обобщенные образы». А на деле образ-то оказывается не обобщенным, а отвлеченным. Это не одно и то же. Обобщенный образ уходит корнями в толщу народного искусства, складывается из типичных черт человека, берет из жизни самое важное. Отвлеченный же образ никуда корнями не уходит, потому что и корней-то у него нет. Это просто формотворчество автора танцевальной композиции. Я против таких тенденций по причинам, которые высказал выше. И потому, что верю в торжество и постоянство лучших черт советского балета. Согласен, я мало говорил сегодня о тех огромных достижениях, которые прославили советский балет во всем мире, а больше уделил внимания тем явлениям и тенденциям, которые, если их вовремя не пресечь, могут увести развитие нашего классического балета в сторону от его прямой дороги — дороги большого реалистического искусства.

Такого изобилия возможностей, которые имеются в нашей стране в области музыкального и хореографического искусства, история балета не знала. Вопрос о том, как этими возможностями распорядиться.

Статья моя написана для молодых людей — и для тех, кто смотрит балет, и для тех, кто его исполняет, с доброй целью помочь исполнителям и зрителям лучше разбираться в явлениях, которые наблюдаются в наше время, и вернее пролагать пути в завтрашний день нашего искусства, служащего народу и выражающего его жизнь, его высокие идеалы.

■



ИСКУССТВО В НАСТУПЛЕНИИ

В названии этой книги * «идеология» поставлена на второе место, но правильнее, думается, было бы отдать ей первое. Тем самым был бы точнее обозначен предмет настоящего исследования: значение идеологии для искусства, ее влияние на творчество художника, ее выражение в художественном произведении.

Проблемы все эти достаточно непростые, если не сказать — весьма сложные, особенно в наше время, когда, с одной стороны, сложились новые благоприятные условия для успешного сотрудничества государств с различным общественным строем, а с другой — по-прежнему остро стоит вопрос идейной борьбы, активного утверждения высоких идеалов социалистического и коммунистического общества, развенчания всех и всяческих поборников (как вольных, так и невольных) буржуазного, антидемократического взгляда на действительность. Вот почему каждый новый шаг в разработке теоретических и практических аспектов этих проблем не может не вызывать живого интереса.

Для молодого читателя сборник «Искусство и идеология» представляет особый интерес.

«Есть еще один важный пункт современного идеологического единоборства двух миров — борьба за влияние на молодое поколение, — пишет П. Симуш в открывающей книгу статье «Современный мир: человек, идеология, искусство». — Империалистическая пропаганда именно на молодежь делает свою основную ставку. Этот расчет аргументируется тем, что юноши и девушки не обладают достаточным политическим опытом, а поэтому сравнительно легко влиять на их сознание, прививать им представления, в которых преобладающее место занимали бы индивидуалистические склонности, безразличие к общественным интересам, к идеалам революции и прогресса. При этом особый акцент делается на прославление стандартов буржуазного образа жизни, аполи-

* «Искусство и идеология». Ответственный редактор и составитель Н. М. Федь. М., изд-во «Искусство», 1973.

тичности, общественной индифферентности. Лидеры антикоммунизма стремятся навязать социализму проблему конфликта поколений, придать ему политическую окраску...»

Опасность такого влияния на юную смену не следует преувеличивать, особенно в нашей стране, где партия последовательно и настойчиво укрепляет революционную и патриотическую закалку молодежи, повышает ее политическую зрелость. Однако и преуменьшать ее нельзя тоже, поскольку, как отмечает П. Симуш, остается фактом реальное противоречие: «Жизненный опыт нового поколения не может расти столь быстро, как объем знаний».

Искусство, по своей сути отражающее опыт и знания человечества, способно помочь молодежи сократить этот разрыв. Правда, при этом необходимо, чтобы искусство опиралось на реальную действительность и было оплодотворено передовыми идеями времени, иначе эффект воздействия художественного создания может оказаться отрицательным. В этой связи очевидны важность и насущность изданий, подобных сборнику «Искусство и идеология», выход которого в свет — даже тиражом всего в 8 тысяч экземпляров — надо только приветствовать.

Малый тираж книги означает, что предназначена она прежде всего специалисту, творческому работнику. Значит, широкому читателю далеко не все работы сборника, написанные на стыке философии, литературоведения и искусствознания, будут интересны — что ж, придется подождать, когда появятся книги на ту же тему, но с более широким адресом. Во всяком случае, выпущенный издательством «Искусство» сборник расставляет им отчетливые вехи на этом пути. Хотя делает он это с достаточным и, можно сказать, значительным для нашего столь динамичного времени запаздыванием.

Последнее замечание не касается работ, посвященных вопросам идеологической борьбы и анализирующих попытки буржуазной науки опровергнуть марксистско-ленинскую эстетику «справа» и «слева».

В своем стремлении дискредитировать теорию и практику революционного искусства, социалистического реализма и представители «эстетического марксизма» (Р. Гароди, Э. Фишер), и экзистенциалисты (Ж.-П. Сартр, А. Камю), и «новые левые» (Г. Маркузе и иже с ним), заимствовавшие у первых критику реализма, а у вторых — «революционные» интерпретации модернизма, «теряют лицо» и выступают единым фронтом против «основы основ коммунистического мировоззрения — теории отражения». Поэтому на передней линии огня оказываются статьи А. Дымшица, С. Можнягуна, А. Овчаренко, раскрывающие бесперспективность и несостоятельность этого фронтального наступления.

Отвергая теорию отражения, западные теоретики не могут, однако, предложить ничего нового, кроме перепевов философского субъективизма Канта. И хотя «настойчивая защита активной преобразующей роли искусства, — как пишет В. Бушмин в статье «В. И. Ленин о познании и проблема творческой активности писателя», — подкупающая сто-

рона эстетической концепции Р. Гароди», но, продолжает критик, «возрастание активности творческой личности Р. Гароди считает не следствием углубляющегося процесса познания объекта, а, напротив, следствием «растущего безразличия к объекту». Такое толкование соотношения субъективного и объективного в искусстве, хотя оно и заявлено от имени марксистской эстетики, находится в очевидном разладе с материалистической теорией познания, и оно, это толкование, в принципе ничем не отличается от неокантианского отрицания познавательной роли искусства».

Как видим, попытка «дополнить» теорию отражения теорией самовыражения есть попытка с негодными средствами. Столь же безрезультатны и предпринимаемые современными ревизионистами попытки «развить» теорию отражения.

Сосредоточивая огонь против эстетики субъективизма, материалы сборника, поднимающие теоретические проблемы соотношения идеологии и искусства, оказываются в самых современных, «горячих точках» идеологической борьбы. И в то же время такие работы, как «Жизнеутверждающий пафос искусства» Н. Федя, «Литература в борющемся мире» Л. Скорино, «Эпос революции и субъективистская критика» П. Строкова, «Гражданственность поэзии и мастерство» В. Ступина, в которых анализируются конкретные художественные произведения и процессы нашего искусства и литературы, посвящены созданиям или явлениям, датируемым хорошо если концом, а то и серединой минувшего десятилетия. (Ближайший к нашим дням пример, рассматриваемый в сборнике, — фильм С. Герасимова «У озера» вышел на экраны еще в 1969 году.)

Но стоит ли обращать на это особое внимание? — могут возразить нам. Ведь критический заряд названных работ тоже направлен против тех или иных тенденций или проявлений субъективизма в нашем искусстве. В статье П. Строкова обличается внеисторическая концепция эпоса, и, в частности, внеисторический анализ шолоховской эпопеи, продемонстрированные Б. Емельяновым в предисловии к «Тихому Дону». Н. Федь напоминает о творческой неудаче А. Эфроса, когда чеховские «Три сестры» по воле режиссера предстали спектаклем «о торжествующем мещанстве, сожравшем все светлое, человеческое, о всеобщей бездуховности». Работа Л. Скорино, критикуя концепцию извечности зла, утверждаемую М. Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита» («Зло в самой реальности бытия», — считает Булгаков), другим острием направлена против той интерпретации булгаковского романа, которая лишала его реально-исторической конкретности. В. Ступин обращает наше внимание на издержки субъективизма в стихотворении А. Вознесенского «Неизвестный — реквием в двух шагах, с эпилогом»...

Но ни стихотворение Вознесенского, ни спектакль А. Эфроса не стали крупными явлениями искусства, так что обращение к ним спустя «энный» промежуток времени невольно снижает боевой заряд критики, а острота поднимаемых проблем притупляется. Одно из двух, думает читатель, с трудом возвращаясь по реке

времени: либо проблемы эти утратили свою актуальность для сегодняшнего дня, либо критические стрелы бьют мимо действительной цели.

Иначе говоря, отсутствие свежих примеров сказалось на действенности всего сборника.

В первую очередь сборнику не хватает положительных примеров из опыта современной практики советского искусства, примеров, в которых художественно ярко и убедительно утверждаются самые высокие идеалы социалистического общества.

Между тем, кроме перечисления общепризнанных вершин советской культуры, чаще всего «вложенных» в привычные «обоймы», только в статье Н. Федя можно увидеть заявку на серьезный критический разговор о таких положительных персонажах, как Семен Смирнов из повести И. Петрова «Сенечка» и Анискин — широко известный герой липатовского «Деревенского детектива» и одноименного фильма. В статье В. Ступина стихотворению Вознесенского противопоставлена сделавшаяся классикой поэма А. Твардовского «Василий Теркин». И лишь единственная на весь сборник работа Е. Суркова «Ответственность перед будущим» целиком посвящена одному из недавних созданий советского киноискусства последних лет — фильму С. Герасимова «У озера».

Практика искусства — самый сильный аргумент в идеологической борьбе двух культур, и столь короткий список наших достижений, взятых на вооружение авторами сборника «Искусство и идеология», безусловно, ослабляет его позиции. Не опираясь на живое воплощение того нового, что утверждает советский человек на Земле, сложнее отстаивать активный, наступательный характер советского искусства, который присущ ему как искусству передовому, искусству — разведчику будущего.

Вот почему хочется поговорить о затронутых в книге проблемах на конкретном примере. В связи с этим обратимся к статье Е. Суркова.

Пафос ее заключается, с одной стороны, в защите фильма С. Герасимова от однозначно-утилитарного взгляда как на практическое вмешательство художника в сложный вопрос народнохозяйственного использования Байкала (с вытекающими отсюда оценками фильма «У озера»); с другой — в обосновании и утверждении всеобъемлющей, генеральной идеи картины о «л и ч н о й ответственности за будущее». И то и другое, как нам кажется, критику удалось в полной мере. И остается только присоединиться к его трактовке главных персонажей фильма: отца и дочери Барминых и Василия Черных — начальника строительства, а затем директора того самого химического комбината, против возведения которого на берегах Байкала решительно выступает старший Бармин. Нам представляется совершенно справедливым следующее мнение Е. Суркова, очень важное для правильного понимания строя герасимовской картины: «Хотя Бармин и спорит — яростно и неутомимо — с Черных, симпатии автора принадлежат не кому-нибудь одному из них, а им о б о и м». К решению грандиознейшей и насущнейшей проблемы «человек и природа» оба эти персонажа идут различными, но равно

обнадеживающими путями. И если образом Бармина создатели «У озера» стремятся к тому, «чтобы мы пристальнее, чем прежде, серьезнее, даже тревожнее задумались над практической сложностью их (человека и природы. — Д. И.) отношений», то Василий Черных призван раскрыть решающее на сегодня условие успешного преодоления конфронтации природы и человека. «Необходимо, чтобы у людей, поставленных, подобно Черных, к рычагам управления, во всей свежести и остроте сохранялось ощущение нравственного смысла совершаемого, той высшей цели, которой должна служить их деятельность».

К этому тонкому и глубокому прочтению идейного замысла фильма требуется только одно замечание.

Мы разделяем радость узнавания «наиважнейших черт государственного человека шестидесятых годов», которую, глядя на Черных — Шукшина, испытывает Е. Сурков: «его деловитость, собранность, демократизм и непоказная, глубинная, редко-редко проступающая на поверхность, но вместе с тем железная непреклонность». Мы, однако, не в восторге от того, что черты эти переданы «скупейшими средствами», что «на усталом лице» Черных «явственно приметен» лишь «отблеск жарчайших схваток, которые происходят где-то за кадром». Фильму «У озера», на наш взгляд, определенно недостает действий, конкретных дел его главных героев.

В этом отношении Лена Бармина находится в более выгодном положении. На протяжении почти всей картины для нее д е л о — слово, начиная от фразы-знакомства: «Честь надо иметь свою, а чужую взять невозможно», — вплоть до впечатляющей сцены чтения блоковских «Скифов». И еще для Лены д е л о — ее любовь: и тогда, когда она защищает Черных перед отцом, и тогда, когда она уезжает от своей любви, ибо ответственность — это тоже ее реальное дело, а не просто слова.

Но уже старший Бармин — это, в общем-то, только олицетворение тезиса об ответственности. Вот почему Е. Суркову приходится парировать столь много голосов, не поверивших в жизненную достоверность этого образа.

Не меньше теряет в наших глазах и Черных. Споры героя с бестелесным Ивановым не могут заменить нам реальности, в которой живет Черных, в которой, помимо всяких Ивановых, существуют планы с конкретными цифрами продукции; ведь план — это закон.

А кроме того, что планы эти Черных должен выполнить любой ценой, в действительности все еще существуют десятки других, самых ординарных, повседневных причин, встающих на пути выполнения плана.

Какой же ценой даются Черных его «жарчайшие схватки»? Где он вынужден отступать, где поступается «высшими целями»? В чем находит опору, где ищет поддержку?

Не получая с экрана ответы на эти вопросы, нам становится трудно верить в жизненность позиции героя, в реальность образа. И что еще существеннее, оставляя за кадром о б р а з д е й с т в и й Черных, создатели фильма сместили акценты в сторону проблемы «ч е л о в е к и при-

рода» вместо — «советский человек и природа».

Вспомним еще раз точную характеристику Черных: «деловитость, собранность, демократизм, ...непреклонность». Эти прекрасные качества нашего современника совершенно отчетливо перекликаются с такими определяющими свойствами советского человека, из которых они произрастают, как «революционная целеустремленность, самоотверженная преданность великой цели, могучий творческий энтузиазм, радостная любовь к трудящемуся человеку» (так определяет их в сборнике А. Овчаренко). Да, перекличка несомненна. И все-таки не менее заметно ослабление в характере Черных активного, революционного, преобразующего начала — начала всех начал.

Отмеченные просчеты бесспорно интересного произведения указывают прежде всего на действительную сложность полнокровного идейного и художественного воссоздания современности. Книга «Искусство и идеология» как раз и стремится помочь художнику успешнее преодолевать эту сложность, вернее решать те большие задачи, которые стоят перед нашими искусством и литературой.

Д. ИВАНОВ

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Основное направление таланта В. Распутина заключается в стремлении осмыслить и показать жизнь нашего современника в точном воспроизведении мелочей повседневного быта. Но в чутко подмеченном и выпукло запечатленном пласте действительности имеется грань, за которой открываются широкие художественные обобщения — жизнь современного общества в целом, в его глубине и сути. Перешагнуть эту грань ему пока не удается.

Не каждое, даже и по-настоящему талантливое, произведение может претендовать на такое обобщение, представлять собой «образ мира» в его наиболее существенном сегодняшнем проявлении, а не просто «общий охват жизни», который нередко приводит к типической схеме, когда писатель как бы перестает «видеть за лесом деревья». Боязнь же «общего охвата» часто ведет к обратному: «за деревьями не видно леса».

Повесть «Последний срок» заставила говорить о ее авторе как о талантливом прозаике. Она рисует два последних дня восьмидесятилетней старухи Анны, которой «приспело» помирать. Впервые за много лет собрались в одной избе ее дети. И в эти два дня ожидания во внешне бесхитростном сюжете встают перед нами их судьбы. «Все они, пожив отдельно, теперь мало походили друг на друга». Варвара, живущая в соседней деревне, уже сама походила на старуху, «городской» Люсе

Валентин Распутин, Вниз и вверх по течению. Повести. М., изд-во «Советская Россия», 1972.

«хотя и за сорок, но она еще «не по-здешнему» моложавая... и одета не как попало...». Казалось бы, намечается знакомая тема: деревня — город. Но В. Распутина не привлекает эта схема.

Варвара вошла, еще и матери не увидела — «сразу, как включила себя, заголосила: «Матушка ты мая-а-а!» Люся же «с взволнованной грустью» говорит: «Давно мы вот так вместе не сидели...» Но как-то не о чем говорить им. Родные по крови, они, по существу, чужие. Правда, «мужики» быстро нашли и «общее дело», и «общий язык», уединившись от «баб» в сарае... А мать все не умирает...

Все немудреные разговоры «детей» вертятся, казалось бы, вокруг матери. Но что это за разговоры! «Как там мать-то? Не знаю, Илья, не скажу. Не заходил. Ничего, наверно, а то бы бабы прибежали, сказали». — «Это точно, сказали бы...»

Эти «заботы» о матери искусственны. Им говорить не о чем. Мать — только предлог.

И наконец один из них, Михаил, выговаривает то, что «мучает» всех, но в чем они не решаются признаться даже себе: «А я тебе так скажу... зря она это. Лучше бы она сейчас померла. И нам лучше, и ей тоже...» В конце концов, сколько же сидеть понапрасну. Им ехать нужно, у них работа, дети, свои заботы... Даже «взволнованная», самая «чуткая» из всех — Люся (не в пример Варваре, от чуткости которой «просто с ума сойти можно») чувствует в себе раздражение «и против себя... и против них, и даже против матери, из-за которой ей пришлось напрасно приехать — именно потому, что напрасно». Страшно здесь это слово — «напрасно».

И как разительно отличны чувства этих «таких родных» внешне и, в общем-то, таких одинаковых сыновей и дочерей от материнского чувства радости «посланной богом» встречи старухи Анны, с ее заботами, чтоб не ссорились «дети», с ее постоянным «а где же Танчора» — самая младшая, которая так и не приехала.

А ведь перед нами не злодеи, не выродки. Обычные, по-своему даже любящие мать, и в общем-то ничем «не хуже других» люди. В их заботах о себе, о своих делах, своих семьях, хозяйстве, своей жизни есть своя правота... «И нет среди них виноватых», — как сказал поэт.

Может, и не вина, а беда их скорее в том, что потеряли они что-то незаметное, но и незаменимое, без чего их «правота», сама их жизнь превратилась в нечто механическое — лишь бы не хуже, чем у других, лишь бы чего не подумали... Внешняя видимость благоприличия заменила собой душу даже в сыновнем чувстве к матери, а значит, и в истинно человечном отношении к людям, к жизни.

Попала в беду Мария («Деньги для Марии»). Все понимают, что не виновна она. Помочь бы ей внести деньги в срок, иначе быть ей в тюрьме. А у нее двое детишек. Да и деньги не такие уж большие — тысяча рублей. И вот собирают колхозники деньги для Марии. На каждого по четыре рубля сорок копеек пришлось...

Не правда ли, как просто все? Но Кузьма — муж Марии—просыпается. Оказывается, он увидел все это во сне.

Сон сном, а он не может бросить жену в беде. Вот и едет в город к брату. Может, и займет.

Сон сбывается в жизни, но в несколько ином варианте. Дала немного денег (сколько было) тетка Наталья, которой, как и старухе Анне, пришел «последний срок», отдала последние, те, что на свои поминки собрала. Принес пятнадцать рублей дед Кузьма — у сына выпросил, свои-то у него откуда? Другие не дали. Горе не свое — чужое, а у них свои заботы, свои нужды. Правда, учитель Евгений Константинович даже и в город съездил, со сберкнижки снял (сколько смог), но и он «чужой», только «по-интеллигентному». Он бы и от памятника при жизни не отказался за свою добродетельность...

Председатель предложил колхозным специалистам отдать Кузьме по месячному окладу. «Другие же колхозники живут без денег, и вы проживете месяц». Не отказали, не посмели — «интеллигенты» все-таки. Да только тут же и забрали половину. Нет, не то чтобы жалко — отдаст ведь, да у каждого свои беды: к одному друг приезжает, угостить нужно, другим мебель купить надо, третьим долг отдать... Вот и едет Кузьма в город, к брату... К кому еще? И «он заставляет себя думать, что приехал не к чужому человеку...».

Мы не знаем, дал ли брат денег. В конце концов, может, и в суде разобрались бы да и сказали: «Невиновна Мария». Да дело ведь, в сущности, не в этом, а в тех страшных словах: «Заставляет себя думать...»

Откуда же эта черствая отчужденность? Писатель не отвечает на вопрос. Он показал нам в живых, художественно правдивых картинах одну из сторон жизни. А вопрос сам как бы просвечивает сквозь них. Талантливый прозаик взглянул на современность под особым, острым углом зрения, который и позволил ему «копнуть» глубоко. Но этот «острый угол» в то же время оказывается и «узким» для того, чтобы в вопросе слышался и ответ. Это особенно ощутимо в последней повести В. Распутина «Вниз и вверх по течению».

Надо думать — не протоpенность пути заставила его обратиться к знакомому сюжету. Автор отправляет своего героя, много повидавшего писателя Виктора, после долгих лет отсутствия, «которые сильно и изменили, и усложнили его жизнь», в родную деревню. Только здесь, думается ему, в соприкосновении с дорогими людьми, с милым уголком родной земли вернет он душевное равновесие, сможет осмыслить прожитое, побыть самим собой.

Но вскоре он понял: «возвращения» не получилось. Что-то сместилось в его понятиях и представлениях о «родном», «единственном», где находил он всегда успокоение.

«Места себе не находишь», — даже не спрашивает, а понимает мать. «Не нахожу», — отвечает Виктор. И эта обыденная фраза в контексте повести звучит широко, символично. Виктору нет места даже здесь... А ведь это его единственное «убежище», его духовная родина.

Внутренний конфликт в душе и сознании героя постепенно разворачивается в уже не новую проблему «отчужденности» горожанина, потери им духовной связи с «родным корнем» — отсюда и ощуще-

ние его «затерянности». Виктор вдруг «поймал себя на том, что испытывает к... родным, самым близким ему людям странное чувство любви и отчуждения, сопротивления им...». Кто же виновник этого отчуждения?

Образ Виктора раздваивается в повести. Автор явно сочувствует ему, наделяя его и умом, и тонким душевным пониманием истинной красоты и ценности жизни, человека. Глубоко симпатичны размышления Виктора на пароходе. «Как же так? — упрекая и сокрушаясь, рассуждал он. — Почему мы, во вред себе, не хотим замечать то, что нам необходимо знать и видеть в первую очередь? Почему так много времени мы проводим в хлопотах лишь о хлебе насущном и так редко поднимаем глаза и останавливаемся в удивлении и тревоге: отчего я раньше не понимал, что это мое и что без этого нельзя жить? И почему забываем, что именно в такие минуты рождается и полнится красотой и добротой человеческая душа?» «Раньше не понимал» — значит, только сейчас открыл в себе это понимание? Но ведь именно сейчас его душе и не хватает «красоты и доброты». Как ему больно, когда вдруг случайно он оказывается свидетелем скандала между понравившимися ему попутчиками. Но вот в этой-то сцене особенно ярко проявился угол зрения героя, его отношение к жизни. «Дураки, — думает он. — Неужели... не могли потерпеть...», чтобы остаться «легендой о неумирающей любви...»

Виктор ищет не столько понимания жизни, сколько ее соответствия своим к ней притязаниям. Почти в любой сцене он прежде всего «обижен» не за других, а за самого себя. И вот этого-то автор нередко и не замечает в своем герое. Виктор идет по деревне, рядом «шли незнакомые люди, которые не имели с ним никакой связи...». Не он утратил связь с ними, а они с ним, не он — для мира, а мир — для него! Ведь даже отцу и матери не может он объяснить свою правоту или то, что кажется ему правотой. И в этом опять же он винит не себя. Автор и дает ему понимание, что нельзя жить «не поднимая глаз», и не «позволяет» самому «поднять глаза».

Можно было бы подумать, что именно в этом несоответствии, во внутреннем разладе героя — ключ к его «драме». Но В. Распутин вводит в повесть другую, по существу, самостоятельную тему, которая, видимо, по его замыслу должна усилить и подчеркнуть объективные, жизненные причины и мотивы «внутреннего разлада» героя. Дело в том, что деревня — «духовная родина» Виктора — перенесена на новое место.

Родные места детства, с которыми у Виктора были связаны самые сильные детские воспоминания (В. Распутин отводит им многие страницы небольшой повести), подчеркивают значение этой кровной связи с родным уголком. И вот по мере приближения парохода к этому месту, где когда-то плескалась родная река, а теперь волны искусственного моря, его охватывает чувство «пустоты», еще более усиливающееся, когда он бродит по родным и как бы и не родным местам: «Он был рядом и все-таки в стороне...» Родные места лишились «чего-то главного, основного, какого-то центра, собиравшего их воедино...». В чем же оно,

это неуловимое «самое главное»? Чем жив человек? И «много ли человеку нужно»? Современному человеку? Утратив этот неуловимый «центр», Виктор теряет и самое дорогое, что может согреть теплом всю его сложную «значительную» жизнь...

Так обыденное понятие «искусственное» (море) наполняется в повести особым смыслом: противопоставляется понятию «естественного». Именно в этом как будто и заключается причина утраты героем чего-то главного, основного, какого-то «центра».

Но строительство водохранилища, а значит, и смещение родного уголка связано с интересами миллионов людей, в том числе и этой деревни... В. Распутин смотрит на проблему сквозь разрез «смещения» в душе героя, через его личный интерес. Писатель не сумел или не захотел увидеть и понять личную драму Виктора через синтетическое единство личного и общего, в чем и состоит неотъемлемая черта нашей великой литературы от Пушкина до Шолохова.

В повести, по существу, две темы и две мотивировки «драмы» Виктора («отчужденность» горожанина и «смещенная» деревня) так и не слились в одно художественное целое. Оставайся деревня на своем месте — все равно быть здесь герою «рядом и все-таки в стороне». Произошел эффект наслоения разнородных кадров, которые не совмещаются, не усиливают, а размывают друг друга, что и привело к заметному отсутствию «художественной прозрачности» повести в целом.

Повесть заканчивается размышлениями о том, что надо бы снова вернуться; «повторить все сначала... но быть самому другим человеком...» — если бы автор поставил здесь точку... то, пожалуй, был бы прав. Но он объясняет, каким же герою быть другим: «более опытным и спокойным, хорошо и ясно представляющим, куда он едет и что там найдет». И здесь чувствуется раздвоенность авторской позиции, нечеткость представления о своем герое и его перспективах. Позволят ли ему опыт и «спокойствие» найти утраченную связь с самим собой? Или ясное представление о том, «куда он едет и что там найдет», просто поможет ему спокойнее отнестись к этой «утрате», смириться? Или все-таки в слова «быть самому другим» автор вложил и свое понимание необходимости нового, другого угла зрения на проблему?

Ведь «поднять глаза» — значит и по-иному осмыслить свое единение с людьми, жизнью...

Значит поднять их от своих личных забот, бед, претензий к общему делу, к единению не за бутылкой, не для того, «чтоб как у людей», не ради памятника... Чтобы не приходилось вспоминать о братьях лишь в тот момент, когда нужны деньги, чтоб не заставлять себя думать при этом, что, может быть, идешь не к чужому...

Во всяком случае, В. Распутин в разработке коренных проблем современности способен найти тот внутренний нравственный «центр», который собрал бы воедино разрозненные пласты в целостную картину народной жизни в ее сути, в ее настоящем и ее перспективе.

Ю. СЕЛЕЗНЕВ

«И НЕТ МЕНЯ, ОТДЕЛЬНОГО ОТ ВСЕХ...»

Стихи Валентина Сидорова недооценены в нашей поэтической критике, и виноват в этом он сам. Между его поэзией и читателем стоит, как преграда, распространенный «послепушкинский» стих, настолько хорошо отработанный за полтора века, что его движет, кажется, одна инерция, и настолько привычный, что временами он уже не выявляет характер, но как бы прикрывает его вуалью слов. Ни той словесной резкости и яркости, которая была в ходу у модных поэтов лет десять назад, ни даже нынешнего «музыкального шаманства» у Сидорова нет, хотя время от времени он грозится «осовременить свой банальный слог» и поразить читателя неслыханными ритмами, но видно, что это не всерьез. К «музыке стиха» Сидоров относится лучше и иногда позволяет себе изысканные звучания: «Мы вновь, как задумано, дома»... или вспомните знаменитый у пародистов сидоровский о б л а к, или вот это: «Меняют облик облака»... Но это все же не характерно. Сидоров намеренно и осознанно избегает красот, но нет у него и той чеканности, которую теперь обычно противопоставляют красотам, — у него именно «исчезающая форма», кое-где небрежная, кое-где и впрямь стертая, и вообще форма для него несущественна.

Я, разумеется, не рискну искать в стихе содержание «помимо» формы, что есть, как известно, грех формализма. Я знаю, что «стертая форма» ослабляет поэзию. Но не скрыта ли и в такой «неважной», «несущественной» форме та внутренняя суть, которая составляет силу поэзии Сидорова? Ведь характер сквозь «вуаль» ощущается глубокий и независимый, творческий опыт за этим сокрыт весьма своеобычный. Так не связана ли неяркость формы с существом поиска? Не является ли она пунктом программы? Ведь Сидоров декларирует не только «банальный стих», не менее уверенно утверждает он и право поэта на «банальные темы». Темы его лирики и впрямь традиционны: исторический эпизод, пейзаж, путевая зарисовка, любовное послание... И каждый раз, касаясь какого-нибудь исхоженного сюжета, Сидоров ухмыляется: ну, мол, и всыплют мне критики! И каждый раз, попадая в след к Есенину, или Блоку, или Тютчеву (Тютчева тут особенно много, вплоть до словесной переклички: «Настанет день прощанья и печали, но, как бы мы ни мучились опять...»), он это сам знает и опять-таки декларирует. Ткань стиха, поэтический мотив для него не самоцель и не предмет забот. Он устремлен к иному.

К чему?

Образно говоря, его интересует «равновесье неба и земли», в свете которого «равновесье» или «неравновесье» строк несущественно. Вот почему я не склонен разбирать у Сидорова «строчки», но хотел бы судить поэта по закону, им самим над собою признанному. Валентин Сидо-

---

В а л е н т и н С и д о р о в. Урочный час. М., изд-во «Советский писатель», 1972.

ров — один из немногих у нас поэтов с самостоятельным философским интересом. Поверьте, этот дар встречается сейчас реже, чем умение «строгать строчки»; что же до звуков, красок и словесной пластики, то в данном случае... впрочем, можно начать и с этих внешних примет поэтического мира.

Звуков мало. Акустическая приглушенность сидоровского стиха есть выражение мироконцепции, в основе которой лежит отрицание крика, звона, шума, болтовни — вообще легкого самовыражения. Многословие противостоит истинной мудрости. Тютчевский сюжет — говорящая природа — переосмыслен у Сидорова так: язык природы утрачен, мы разучились понимать ее безмолвные знаки, мы ее заглушили, загалдели, заболтали. «Помолчим!»

В чем суть этого утверждения немоты? Приглушается «слушание самого себя». Человек настраивается на ту «музыку», которая вне его, вокруг него, до и после него... Мы увидим, что именно это обращение вовне — ключевой пункт сидоровской поэзии. Но теперь посмотрим, каковы в ней краски.

Решающее колористическое пятно в поэме «Урочный час» — снежная белизна. Если цвет появляется, то не в конкретной пластике, а в символическом значении: зеленый — волшебство, желтый — равновесие, оранжевый — ясновиденье... «Оттенки гаснут. Суть всегда одна». Цвета — не одежда мира, а путь к его сути. «Голубые холмы Индостана» могли бы оказаться золотыми или зелеными (но Индостан никогда не мог бы замениться Италией или Арктикой; это для Сидорова не экзотика; его интерес к индийской культуре серьезен).

Так вот о красках; они случайны; Сидоров как бы стремится уйти на иной уровень восприятия мира. От «мира явлений» — к «миру сущностей». «Но, он доступен духу, а не глазу».

Не отсюда ли и недоверие к собственному слову? «Боюсь я слов». «Слова мертвы». «Слова лишь звук пустой». Сидоров будто заранее знает, что поэзия бессильна выразить невыразимое. Самая большая ложь для него — это слова блестящие, претенциозные, претендующие стать истиной. Лучше уж слова обычные, привычные, сознающие свою слабость. «Снег полыхает в лунном свете каким-то колдовским огнем. Ну что я расскажу о снеге? Ну как я расскажу о нем?» Эстетический критик может, конечно, сказать, что вторая строчка слаба; впрочем, он отметит притом виртуозные рифмы; с точки зрения поэтики это «типичный Сидоров»: блестки сквозь вуаль; но мне интересна не поэтика, а этика; мне важны не слова, а то, что за словами. Как сказал Сидоров, «зачем они, слова?»

Итак, звуки, краски, слова не самоцель. Ничто в этом мире не самоцель. Но все свидетельствует. Все «только символ и намек». За всем надо почувствовать сокрытое: истину, суть, связующую нить, «кольцо» бытия. Мы видим «лишь ничтожнейшую часть», остальное надо постигать. На философском языке (В. Сидоров по образованию — философ) это называется «феноменологической редукцией»: мир редуцируется до феномена, до явления, до знака, не более. Знак надо расшифровать. На поэтическом языке

это звучит так: «Поэт не прав. Не вышел он в пророки ни статью, ни фигурой, ни лицом (шесть лишних слов, но далее — необходимейшее. — Л. А.). Но говорят недаром на Востоке: «Коль надо, будет муравей гонцом». И еще: «Какую весть стремятся нам донесть безмолвье прорезающие звуки?..» И еще: «Откуда мы пришли, не знаем, но мы пришли не от себя...»

Если не от себя, то от кого? Какая весть таится в безмолвии? Что несет гонец? Иными словами: каков мир в понимании Сидорова? Каково место человека в мире? В чем суть?

Первая черта: в мире есть тайна. Таинственность. Порядок природы до конца не познан; он до конца познан быть и не может. Сопоставьте это ощущение хотя бы с известным лозунгом Р. Рождественского: «Все тайны вселенной откроем мы скоро!» — и вы почувствуете, что В. Сидоров участвует в одной из кардинальнейших дискуссий современной поэзии.

Вторая черта: мир един, собран, он строен и целостен. Сопоставьте это ощущение с тем парадоксальным потоком противоречивых впечатлений, каковой составляет поэтику А. Вознесенского, и вы почувствуете, что «космизм» В. Сидорова есть ответ на «хаос» атомного века, который осваивают его оппоненты.

Наконец, третье, и главное. Центр мира — вне отдельного индивида. Вне моей души. Вне моего Я. Человек у Сидорова находит свое место в объективном, вне его, до него, помимо него существующем мире, он живет лишь постольку, поскольку ощущает себя звеном в цепочке, в кольце, в законе. Этот перенос тяжести с субъекта на объект, конечно, самый важный пункт поворота, особенно если учесть, что поэзия последних пятнадцати лет в основном разрабатывала и прочувствовала психологическую концентрацию индивида на себе самом, на своей внутренней душевной структуре — вспомните того же Е. Евтушенко...

В. Сидоров считает: человек не центр этого мира, но лишь ниточка его пряжи. Этический лейтмотив: «Ты только путник». «Ты гость». «Ты пришелец». Не самоцель, не источник мироструктуры, но часть ее, продолжение ее, песчинка в ее вечном и мудром круговороте. И не индивиду открывается смысл этого круговорота, а обществу, миру, истории. «И нет меня, отдельного от всех»...

Все осязаемое, все мгновенное, конкретное проходит. Но вечное пребывает. Вечное — история, культура, мудрость народа. Лучшие стихи Сидорова продиктованы этим ощущением духовного смысла, хранящегося под ветхими и непрочными реалиями: это и потрясающие «Ветераны войны», это и стихи об ушедших отцах наших, которые теснятся перед внутренним взором поэта. И наконец, вот важнейшая для Сидорова тема — судьба России:

...И слава богу, судьбы вековые
Ей не мое наметило стило.
Дыханье снега пусть меня
остудит.
Какой ей быть, такой она
и будет.

После появления в «Огоньке» эти строки из поэмы «Урочный час» вызвали в свое время дискуссию: как? Что за равнодушие? Разве не надо бороться за лучшие пути для родной земли?.. Отвечаю: надо. Но не менее важно для меня чувство сыновней судь-

бы. Ни мать, ни Родину не выбирают. Не могу доказать этого тем, кто думает иначе. И еще: разумеется, хороший опыт лучше, чем плохой. Но когда опыт становится частью духовного пути, он дорог всякий. И трагический тоже. Может, он и дороже всего — трагический опыт. Тихи болезни ветеранов: «и в предсмертном бреду тишина раскололась, и рубила пустое пространство ладонь, и хрипел, задыхаясь, слабеющий голос: — Батарея, огонь! Батарея, огонь!» Это не бодренькая радость. Это не жалобная элегия. Это опыт. Нет силы, которая повернула бы камень, на котором написано: «То было».

Теперь скажу, чего я не приемлю в душевном опыте Сидорова-поэта. Повторяю: в опыте, а не в строчках! Бог с ними, со строчками, не в плохих строчках суть спора, как и не в хороших — суть нашего согласия. И не в отдельных идеях и мотивах, хотя это посущественнее «строчек». Мне, например, не нравятся разбросанные там и сям у Сидорова обиды и угрозы в адрес его литературных противников. При столь явном его стремлении уйти от «суеты» такие фехтовальные выпады кажутся именно суетой. Это хуже, чем оплошность, это непоследовательность. Но и это не самое существенное. А самое существенное несогласие мое с Сидоровым там, где он последователен.

Я думаю, что последовательное утверждение той философской версии, которая сообщила поэзии Сидорова цельность и глубину, при возведении ее в абсолют может оказаться не более чем еще одной абстрактной доктриной. Опасны не огрехи и не оплошности, опасны те недостатки, которые порождаются достоинствами. Ибо в потенции подстраивание индивида к вне его вершащемуся миру чревато надличностью, безличностью. В ощущении «множественности миров», возрождающихся заново, в ощущении «нереальности смерти» много поэзии (я говорил, что Сидоров серьезно увлечен индийской культурой), но эти ощущения могут подготовить позицию непрошибаемого покоя. Сидоров неспроста в одном из своих «Индийских сюжетов» попытался опровергнуть идею бесстрастной нирваны: он и сам знает, какая опасность грозит ему. Чуют это и критики: Г. Красухин в № 2 «Сибирских огней» обнаружил у Сидорова «бесчувствие». Люди, читавшие стихи Сидорова, вряд ли с этим согласятся, а люди, читавшие статью Красухина, наверное, убедились и в том, что диагноз свой критик ставил без всякого интереса к внутреннему миру поэта — так, к «теме» пришлось... Но если Сидоров потеряет живой контакт, живую связь с сегодняшней реальностью, его «космизм» может стать отрицанием человека, из гостя и путника человек превратится в равнодушную пылинку. Впрочем, для этого Сидоров должен перестать быть поэтом...

Сейчас, при всем моем несогласии с потенциальной доктриной я остро чувствую живую связь поэзии Валентина Сидорова с нами. Сейчас его поэзия говорит свое необходимейшее слово в дискуссии о человеке. Пусть спорное. Но необходимое.

Приемли мир и ничего
не требуй.

Нам дали больше, чем мы
взять могли.
Я ничего не вижу, кроме неба
Да облаков, дымящихся вдали...

Спорно? Спорно. Неровно? Неровно. Последние две строчки — орнамент. Первая чересчур категорична. Но вторая, вторая... вчитайтесь: здесь — живое. Помните, сколько было в нашей поэзии сиротливых мальчиков, которые жаловались, выпрашивали сочувствие своим бедам. Были и другие — напористые, жесткие: эти не просили и не жаловались, они готовились взять сами, завоевать. Что-то было у них общее: и те и другие казались сами себе ужасно обездоленными. Вот поэзия Сидорова и отвечает тем и этим: не выпрашивайте у жизни, не обвиняйте ее, умейте созидать ее, умейте почувствовать ее строй и смысл, жизнь не только поле приложения сил, жизнь — чудо, и вы — часть и продолжение этого чуда, умейте же понять в себе это, умейте вместить, а не можете — не жизнь вините, но себя...

«Нам дали больше, чем мы взять могли». Лучше не скажешь.

Л. АННИНСКИЙ

ЕЩЕ РАЗ О «СТРАННЫХ» ГЕРОЯХ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

Сегодня Василий Шукшин очень популярен. О нем говорят, спорят. Уже написано немало статей и рецензий. И удивительно, до чего же это разноречивый хор! Шукшина осуждали за то, что он, противопоставляя деревню городу, «предал» его «анафеме». Другие утверждали, что никакой он не «деревенский». Третьи видели сложность в том, что он-де оказался «между городом и деревней». В статье В. Канторовича «Новые типы, новый словарь, новые отношения» («Сибирские огни», 1971, № 9) уточнялось, что Шукшин описывает ту часть деревни, которая «больше затронута городской культурой и представляет собой питательную среду для миграции из деревни на стройку, в ближайшие райцентры, в малые города».

Итак, даже определено, что герои Шукшина покидают деревню ради райцентров и «малых городов». Однако прочитайте его последние рассказы в журналах «Север» (1972, № 3), «Наш современник» (1972, № 10), в еженедельнике «Литературная Россия» (март 1973 г.), новую книгу «Характеры» *, и вы заметите, что сфера интересов писателя выходит далеко за рамки сложностей «овладения культурой» жителями деревни. Вы увидите, как расширяется круг героев Шукшина, сегодня в него попадают и служащий учреждения, и слесарь, и продавец, и молодой кандидат наук («Мнение», «Генерал Малафейкин», «Владимир Семенович из мягкой секции» и другие рассказы).

---

* Василий Шукшин. Характеры. М., изд-во «Современник», 1973.

Да разве дело в географической или профессиональной принадлежности героев? Гораздо важнее позиция, мировосприятие писателя, его характер, особенности его личности, которая «притягивает» или, напротив, «отталкивает» те или иные темы, явления действительности. Так, критика уже не раз замечала — это, впрочем, заметить было не трудно, — что Шукшина привлекают «странные» люди, «чудики», позволяющие себе всевозможные «взбрыкивания» (даже один из фильмов Шукшина, поставленный по его рассказам, называется «Странные люди»).

Примечательна статья В. Чалмаева «Порыв ветра» (журнал «Север», 1972, № 10), в которой подчеркивается, что путь героев Шукшина «чаще всего парадоксален, зигзагообразен», что они все время «искушают судьбу», «жаждут хлебнуть из самых горячих ключей, больше всего боятся скуки, будничной размеренной жизни», что они ищут напряжения, «ищут, не боясь вихря, тревог, бури. И это, — делает вывод В. Чалмаев, — резко отличает его (Шукшина.— **А. А.**) от писателей с застылым воображением, от тех, кто боится включать в свою панораму народной жизни моменты утрат, разрушения покоя». Порыв ветра, свежего ветра — вот что видит Чалмаев в героях Шукшина.

Что ж, очень привлекательно романтизировать шукшинских «чудиков». Видимо, в наблюдениях Чалмаева имеется известная доля истины. Но только доля! Существенней все-таки отметить, что в силу особых, подчас глубоко скрытых причин Шукшина интересуют люди с неустроенными, «расшатанными» судьбами, испытывающие горечь разочарований, люди с непоправимыми внутренними изломами. Вспомним непутевого, кончающего самоубийством Спирьку Расторгуева («Сураз»), трагическую любовь Кольки («Нечаянный выстрел»), бродягу и пьяницу, неприкаянного Саню Неверова («Залетный»), нескладную, трудную судьбу Ольги («Там, вдали»), приглядимся к ним внимательнее: ведь их протест, выраженный часто лишь в правонарушениях, не содержит не то что «порыва», но и дуновения ветра. В них скорее с особой «шукшинской» иронией отражена трагедия индивидуализма, нерасчетливой траты сил. Да, Шукшин небезучастен к судьбе своих героев, но он и иронизирует над ними. Симпатичная чудаковатость и тут же горькая непоправимость утрат — вот что характерно для них.

К разряду именно этих героев в значительной мере относится и Егор Прокудин из киноповести «Калина красная» *. Жанр, определенный автором, нечто среднее между повестью и киносценарием, — дань двум главным музам Шукшина. С точки зрения прозы, например, ощущается недостаточная прорисованность психологических линий. Однако яркий, точный диалог, целый ряд колоритных «шукшинских» эпизодов («малина», баня, деревенская вечеринка) — это все звучно, зримо. «Экранность» привносит в прозу свои особенности: крупный план, свободу «домысла», соучастие в творческом акте.

Впрочем, оставив в стороне жанр, зададим иной вопрос:

* В. Шукшин. Калина красная. «Наш современник», 1973, № 4.

кто он, новый герой Шукшина Егор Прокудин? И новый ли он? Это тоже человек с «парадоксальной» судьбой из породы талантливых неудачников. Мы застаем Егора в тот момент, когда он, опьяненный радостью свободы, выходит из тюрьмы. Его волнует все: весна, люди, вновь начинающаяся жизнь. Кем он теперь станет? Для него, впрочем, это не вопрос — ведь он умеет только воровать... А работать, как все, ему скучно. Автор, однако, приготовил для своего героя серьезное испытание — любовь. Неожиданно для себя, под влиянием нахлынувших чувств, Егор вдруг страстно захотел иной, простой жизни, захотел работать... Когда все, кажется, складывалось счастливо, «дружки» Егора расправляются с ним... Вот и весь сюжет, в котором, кажется, нет ничего нового, если бы не необычная фигура главного героя...

Егор талантлив, он любит стихи, особенно Есенина. Он самолюбив, больше всего боится выглядеть жалким, смешным, стать «угодником»: «Пойдешь в глаза заглядывать... Тьфу!» Именно из чувства собственного достоинства он отказывается от работы на директорском «газике» и переходит на трактор. Егор любит природу, презирает скаредность, он смел, ловок, неглуп...

И вместе с тем на всех его «порывах» лежит печать обреченности, непоправимой надломленности. Душа его слишком устала, шрамы чересчур глубоки, покой навсегда утерян. Егор и сам толком не знает, чего же он хочет, к чему стремится. Он прячет глубокую душевную боль, но она прорывается через иронию, злость и цинизм. У Егора нет будущего, хотя любовь могла бы спасти его. Трагедия одиночества, разрывающего душу индивидуализма, — вот что несет в себе Егор, а не порыв свежего ветра! Ведь его стремление к новой жизни иллюзорно, скорее это короткая вспышка, игра настроения. С суровой трезвостью в самые оптимистические события (Егор на тракторе пашет землю) врываются его невеселые мысли: «И теперь, когда от пашни веяло таким покоем, когда голову грело солнышко и можно остановить свой постоянный бег по земле, Егор не понимал, как это будет — что он остановится, обретет покой. Разве это можно? Жило в душе предчувствие, что это будет, наверно, короткая пора».

«Разве это можно?» Заметьте, что Егор имел в виду не своих дружков, которые ждут его, а себя. Себя! И не случись дружков, которые убивают его, проросли бы в душе Егора зерна, брошенные любовью? Не иссохла ли почва, уж не бесплодна ли она? Обстоятельно показав изломы души Егора, автор не смог (или не захотел?) ясно обозначить точки их «выпрямления».

Приглядевшись к герою киноповести внимательнее, мы увидим и позерство, и самолюбование, и презрение к обыкновенным, «серым» людям, а в его подчеркнутой небрежности к деньгам, которые он тратит с безудержной щедростью, — глубоко скрытое преклонение перед их властью. Егор не забывает перед смертью сказать той, которую он любит, чтобы она взяла в пиджаке деньги и разделила их с его матерью (между прочим, ни та, ни другая в них не нуждаются).

Зато открыться матери, сказать, что он вернулся, у Егора не хватает мужества.

Автор не без иронии и насмешки рисует своего героя в ряде «забавных» эпизодов: например, в бане, когда Егор «взбрыкивается» от спокойствия и невозмутимости Петра, или, скажем, за импровизированным застольем, когда Егор решил устроить маленький шабаш. «Жизнерадостный» марш, извлекаемый из магнитофона и сопровождающий героя, тоже своеобразный юмористический лейтмотив его мелодраматического поведения. Невольно вспоминается: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». В киноповести «Калина красная» угадывается кризис доверия к подобным порывам, а смерть Егора «снимает» только поверхностный слой вопросов, приводит к облегченности («киношности») решения их. Пойди автор дальше, глубже, он был бы вынужден столкнуть Егора уже не с блатнягой Губошлепом, а с Любовью и ее родственниками, ибо Егор не вынес бы ровной, размеренной жизни. Двойственность авторского отношения к герою определила проницательность конечных оценок и уступку заранее вычерченной схеме.

При этом нельзя не увидеть, что Шукшин все более «отстраняется» от своих «странных» героев, давая понять, что в их благородстве много позы. И, если хотите, «показухи». Особенно это заметно в последних рассказах Все больше писатель склоняется к иронии, часто переходящей в открытую, почти фельетонную насмешку. Перо его становится все язвительнее, злее. Да и фигуры, хотя еще и со «странинкой», но уже значительно определенней: это карьерист, на ходу перелицовывающий свое мнение («Мнение»), мещанин, смешно бунтующий против мещанства («Владимир Семеныч из мягкой секции»), слесарь, нелепо стыдящийся своей «простой» профессии и выдающий себя за генерала («Генерал Малафейкин»), злобствующий обыватель, словоблуд («Беседы при ясной луне»). В этих рассказах обнаруживается новая грань таланта Шукшина — сатирическая, обличительная. Писатель зорко «высматривает» в душах своих героев такие изгибы, которые вызывают уже не горькую, а едкую насмешку.

Владимир Семеныч — герой одноименного рассказа, побывав на банкете в честь нового кандидата наук, возмущен обывателями, мещанами. Свою злость он вымещает на... собственном модном мебельном гарнитуре.

Тоже «чудачество», но уже совсем иного свойства — ради щекотания собственных нервишек. Именно насмешка, с самыми различными оттенками, от грустного юмора до сарказма, становится самой характерной чертой сегодняшней музы Шукшина.

«Характеры» — так назвал писатель свою новую книжку, но это название тоже иронично, ибо относится оно главным образом к типам неприглядным, уродливым. Чиновничье хамство («Ноль-ноль целых»), самоуправство и самодурство («Крепкий мужик»), позерство и пустота благих порывов юного «преобразователя» жизни («Шире шаг, маэстро!»), ханжество и жестокосердие («Бессовестные») — вот что оказывается «под спудом», когда Шукшин начинает «раздевать» своих

героев. Чеховские, ранее не свойственные Шукшину грустно-насмешливые интонации вдруг встречаем мы в рассказах «Дебил» и «Свояк Сергей Сергеевич».

Любопытно сравнить два рассказа: «Микроскоп», написанный несколько лет назад, и рассказ «Упорный», опубликованный в «Литературной России» 2 марта этого года. Если смешная, неуклюжая тяга Андрея Ерина к знаниям, науке вызывала добрую, снисходительную улыбку, то «упорный» Моня Квасов, изобретающий «вечный двигатель», скорее просто незадачлив и глуп, а его «порывы» уже ни у кого не вызывают восторгов. Скорее наоборот. Моне нужно учиться, а не заниматься бреднями — в таком ракурсе совсем иначе выглядит «странность» шукшинского героя.

Раньше «чудики», сталкиваясь с «ровной» действительностью, ставились хоть и чуточку, но выше ее, теперь писатель меньше всего склонен к тривиальному «среда заела», он судит людей по их деянию, по поступкам, а не словам. Как и прежде, герои Шукшина мечутся, недовольные итогами своей «не так» прожитой жизни, но вина уже не перекладывается на других, она ложится на их собственные плечи.

Показателен в этом отношении рассказ «Билетик на второй сеанс» из сборника «Характеры». Тимофея Худякова мучает мысль, что зря он жил. «...Вся жизнь, — вздыхает он, — как раздумаешься — тьфу! Вертелся всю жизнь, ловчил, дом крестовый рубил, всю жизнь всякими правдами и неправдами доставал то то, то это...» И вот Тимофей просит человека, которого он принял за попа, посоветоваться с Иисусом Христом и девой Марией, чтобы ему, Тимофею, «родиться бы ишо разок»... Чтобы-де праведно прожить. Старик, оказавшийся вовсе не попом, а некогда пропавшим без вести тестем Тимофея, показывает ему кукиш и орет: «Вот тебе, а не другую жизнь! Вот тебе билетик на второй сеанс!»

Фарсовый поворот в решении темы о странных неудачниках, по-видимому, возник потому, что писатель стал строже и зорче всматриваться в своих героев. Что это? Разочарование? Торжество трезвости? Результат критического анализа? Вероятно, и это, и многое другое. Ясно одно: перемена налицо. А главное — налицо ее несомненная плодотворность.

Аристарх АНДРИАНОВ

ДИПЛОМАТ, ПИСАТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ

Новая книга Н. Федоренко «Дипломатические записи» * как бы продолжает традицию, созданную его «Китайскими записями» и «Японскими записями». Хорошо, когда писатель может создавать соб-

* Н. Федоренко, Дипломатические записи. М., изд-во «Советский писатель», 1972.

ственные традиции и следовать им.

С первых же страниц книги автор предстает перед нами как солидный ученый и опытный журналист. Знаток китайской литературы, он не скупится на классические сентенции, и эта восточная мудрость в сочетании с европейским лоском рождает особую манеру письма.

Перечень политических знаменитостей, с которыми Федоренко довелось встречаться и вести переговоры, едва ли уложится в размеры этой рецензии, но автор книги и сам не ставил перед собой задачи предъявить моментальные снимки всех их — от Джона Кеннеди до панчен-ламы. Его скорее влекло к созданию широкого «импрессионистского» полотна, на котором события, люди и предметы выписаны не тщательно, а широкими мазками-намеками, сливающимися в контуры нашего сложного мира.

Живо и красочно передает Н. Федоренко атмосферу, царящую в стеклянном небоскребе ООН, «безликое и безличное клокотанье» фойе и делегатского ресторана, кипучее краснобайство фантомов-космополитов, местничество и чванство западных дипломатов, их претенциозное остроумие. Они похожи у автора на старшеклассников, которые «хочут свою образованность показать» и от застенчивой натуги говорят невероятно книжно и напыщенно.

Многие страницы книги посвящены обстоятельствам убийства Джона Кеннеди. Федоренко присутствовал на заседании Генеральной ассамблеи ООН 20 сентября 1963 года, когда президент последний раз выступил с трибуны мирового форума, выразив удовлетворение по поводу договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой. «В ней (в речи), — пишет автор, — нечто положительное соседствовало с чем-то очень отягощенным, усложненным внутриполитическими обстоятельствами в стране. Чувствовалась и какая-то хроническая усталость самого оратора».

После убийства Кеннеди новым президентом США стал техасец Джонсон. Один из охранников Кеннеди потом говорил, что, если бы прикрытие президента совершилось по инструкции, Кеннеди остался бы жив. «У нас, как вы знаете, много легче действовать, как предписано инструкциями. Нужна была могущественная сила, чтобы снять прикрытие и делать все иначе, чем обычно».

Федоренко перечисляет многих из тех, кто слишком много знал и поэтому погиб. Освальд, Руби, журналисты Билл Гунтер и Джим Китч, адвокат Говард, корреспондентка Килгаллен... Недавно мелькнуло сообщение, что вдова Кеннеди отказалась от раскрытия «преступления века», так как ей пригрозили смертью...

Прочитав половину книги и дойдя до раздела «Краски времени», переносишься из Америки в Японию. Рассказ начинается так: «В уединенном японском храме, укрывшемся в расщелине гор, высящихся неподалеку от древней столицы Киото, меня ожидает монашеская трапеза и встреча с искусством Тэссая».

Встречи с Японией, с ее искусством, обычаями и философией захватывающе интересны. И экзотика тут ни при чем: волнует национальный характер японцев, их психиче-

ский склад, тяготеющий к символике, в которой лаконично, но с крайней выразительностью раскрывается сущность бытия. И оказывается, что духовно эта восточная страна не так далека от нас, что все конкретно национальное нам ближе и понятней, нежели нечто абстрактно космополитическое...

Очерк «Краски времени» хочется читать и перечитывать. Очень зримо создан в нем портрет девяностолетнего Сакамото Кодзё, принимающего в своей обители советского посла в Японии Н. Федоренко.

Там, куда приехал Федоренко, собраны сотни работ яркого японского художника Тэссая Томиоки (1836—1924), выставка которого впоследствии заботами советского посла была открыта в Москве.

В творчестве Тэссая самобытно отражены поэтические страницы прошлого японского и китайского народов. «В своем развитии, — пишет Федоренко, — искусство Японии неотделимо от искусства Китая, и японцы не без основания считают себя вместе с китайцами наследниками величайших культурных ценностей, возникших на протяжении сотен и тысяч лет». Это важное утверждение весомо подкреплено маститым китаистом.

И в этом и в другом разделе («За японской ширмой») автор уделяет много внимания традициям японцев, разумному почитанию старших, умению японцев видеть скрытую для нас красоту вещей и «идти как бы от горизонта одного к горизонту всех людей, независимо от земли, их породившей». «Родниковый источник нашего душевного покоя, — говорит Сакамото Кодзё, — таится в извечном течении окружающих нас вещей, в естественном порядке живой природы...»

Неторопливая беседа, знакомство с архивом и библиотекой монастыря дают возможность автору показать читателю, в свете каких традиций осмысливают японские милитаристы историю минувшего, а также какими идеями питалась их агрессивность. Десятки и десятки поколений воспитывались на антологии поэзии «Мириад листьев», относящейся еще к VIII веку и считающейся выражением истинно японского духа и самобытного характера японцев.

«Мириад листьев», которую Сакамото снимает с полки, рассматривается японцами как источник моральных сил, как духовная сокровищница могучей и величественной Японии», — рассказывает автор и приводит стихи:

Когда подумаешь, что вот
Цветет у нас страна,
Что государев мы народ, —
Как смысла жизнь полна.

«...За веру, за отечество, за монарха, — говорит монах, — японцы платили выражением самой искренней благодарности и восхищения. Это восхваление «святой смерти» — побудительное начало для пренебрежительного отношения ниппонцев к своей плоти и своей жизни. Оно заставляет их спокойно бросаться в объятья смерти».

И дальше автор очень тонко, стремясь проникнуть в суть явления, рассуждает об отношении японцев к смерти. Федоренко знакомит читателя с эссе Энтая Томамацу «Воззрения японцев на смерть». Тот говорит о простоте отно-

шения японцев к смерти, противопоставляя их европейцам, которые боятся не только говорить, но даже и думать о смерти, и заходит так далеко, что объявляет европейскую культуру по этой причине однобокой, носящей формально-холодный, теоретический характер.

«Японец предпочитает отдать свою жизнь, чем жить, снося позор. Такая нравственная чистота у ниппонцев служит предметом любви и уважения». Японец верит, что смерть ради нравственного долга и есть настоящая жизнь.

Федоренко показывает, как философские истины буддизма и конфуцианства формировали обычаи и мировоззрение японцев. И вдруг внутренним взором он переносится в многострадальный Вьетнам. «Картины ритуального самоубийства буддийских монахов в Сайгоне... Застывшие в безмолвии, с опущенными веками, они явили собой бесстрашный вызов цивилизованным каннибалам, предав себя испепеляющему огню. И здесь не просто проявление религиозного фанатизма. В этом таятся более сложные импульсы нравственности, источники веры и морали».

Однако все эти импульсы-достоинства не обретаются вне политики. Стойкость и убежденность могут быть использованы и в злых целях. Федоренко приводит знаменитое классическое стихотворение:

Выйдешь к морю — трупы в
волнах,
Выйдешь в горы — трупы
на травах,
Но не бросит взгляд назад
Тот, кто ради Государя
Смерть готов принять.

Презрение к смерти и любовь к своему государству могут еще не раз быть использованы агрессивными кругами.

Но вернемся вместе с автором из Японии в ООН и дипломатический мир, которым посвящены еще несколько больших разделов книги. Читая эти разделы, невольно приходишь к выводу, что ООН не стала еще действенным инструментом мира, что это скорее трибуна для обнародования тех или иных взглядов. Возмущает господство в ней американских и западноевропейских представителей, глушение инициативы советских работников в Секретариате ООН. «Здесь налицо, — пишет автор, — конспиративная скрытность определенных лиц, занимающих командные посты в административных органах ООН и проводящих политику своекорыстных политических интересов. Отсюда их страх, постоянная боязнь разоблачения их тайного заговорщичества». Особенно наглядно проявляется беспомощность ООН в отношении ближневосточного кризиса. Заговорщическая, тайная деятельность сионистов приводит к подрыву «тех идей и принципов, которые были положены в основу ООН».

И тут не последнюю роль играют «риторические штампы» западных дипломатов, о которых весьма остро говорит Федоренко. У одних лицемерие или кровожадные эвфемизмы, у других, запутанных и запуганных, «туман в голове, конденсирующийся в словесную воду». И можно сказать, дополнив старый афоризм: одним язык дан, чтобы скрывать свои мысли, а другим — чтобы скрывать отсутствие оных.

Федоренко очень много рассуждает о «словесных гранях» дипломатического языка, приводит в связи с этим большое

число высказываний — от Конфуция и Лао Цзы до завсегдатаев современных дипломатических баров.

Книга «Дипломатические записи» читается с большим интересом. Она будит мысль, она несет в себе тот заряд, который дает встреча с умным собеседником, человеком большой культуры.

Д. ЖУКОВ

ПОЗНАТЬ СЕБЯ

По непреложному закону воспоминания пишутся на склоне лет, когда мемуарист, подытоживая пройденное, делится с читателем накопленной мудростью. Так происходит всюду — в политике, искусстве, литературе. Но только не в спорте. Здесь (понятно, за некоторыми исключениями, вроде шахмат или городков) годы активной деятельности знаменитого человека, побивающего мировые рекорды или возглавляющего международные турниры, много короче его активной жизни вообще. У всех в памяти имена Ю. Власова, В. Брумеля, сестер Пресс, оставивших спорт в возрасте, который никак не назовешь почтенным. Для выдающегося спортсмена время поделиться опытом, увы, наступает очень скоро. Пусть краски заката еще свежи и ярки, но это уже пора заката.

Даже не уйдя из большого спорта, наша замечательная спортсменка, неоднократная чемпионка СССР по теннису А. Дмитриева решила, что ей пора рассказать о своем пути, и в содружестве с журналистом Ю. Зерчаниновым написала книгу «Играй в свою игру» *. И это в то время, когда по официальной классификации по стране за прошлый год она занимает почетное пятое место! Впрочем, о чем мы поговорим дальше, самый этот факт характеризует не только великолепную форму, непреклонную волю и целеустремленность А. Дмитриевой (что бесспорно), но и определенные слабости нашего отечественного тенниса как такового.

«Играй в свою игру» А. Дмитриевой — это не только живо написанный очерк, пропагандирующий теннис, не только интересный рассказ о блестящем созвездии на мировом теннисном небосклоне почти за сто лет, но и раздумья о теннисе советском, сегодняшнем, тонкий анализ его достоинств и недостатков, причин относительно медленного прогресса отечественного тенниса на международной арене, — и все это на фоне собственной спортивной биографии, которая разворачивается как увлекательный роман.

В дореволюционной России теннис оставался уделом избранных, причем немалое значение имела относительная дороговизна специального инвентаря — ракеток, мячей, подготовка дренажированного и размеченного поля — корта. На дачах под Петербургом и

* А. Дмитриева. Играй в свою игру. М., изд-во «Молодая гвардия», 1972.

Москвой состоятельные люди (мужчины в длинных белых брюках, женщины — в белых «макси») перебрасывали, стоя у задней линии, мяч через сетку —

Возле загородных дач,
Где шатается шарманка,
Сам собой летает мяч,
Как волшебная приманка...

Ледяную воду пьет
Из ковша спортсмен веселый.
И опять игра идет,
И мелькает локоть голый.

В старой России теннис как полноценный вид спорта не успел развиться. Лишь отдельные самородки, вроде М. Н. Сумарокова-Эльстона, могли соперничать на равных с теннисистами мирового класса. В истории нашего спорта останется славная победа Сумарокова в финале одиночного разряда на первенство России за 1913 год над английским чемпионом Диксоном.

Книга А. Дмитриевой — это как бы маленькая теннисная энциклопедия. Теннис родился в Англии и получил название «лаун-теннис» — буквально: «теннис на лужайке», «травяной теннис». Именно на травяных кортах ежегодно проходят знаменитые Уимблдонские соревнования (неофициальные первенства мира). С Уимблдоном связаны основные и разительные перемены, происшедшие за сто лет в технике и тактике тенниса.

На смену «дачному теннису» с бесконечной мягкой перекидкой (качанием) мяча с задней линии пришел теннис агрессивный, атакующий. Англичанин Спенсер Гор впервые стал играть с лёта, став благодаря этой новинке и первым чемпионом Уимблдона. Противодействие нашел Хэдоу, который «открыл» свечи и с помощью их обводил Гора у сетки. Наконец изобрели смеш (удар над головой по высоко летящему мячу), и теннисисты научились «убивать» свечи. Калифорниец Мак-Луглин превратил подачу (которая прежде считалась лишь вводом мяча в игру) в выигрышный удар. Так перед первой мировой войной складывались основы современного тенниса.

Рассказ о знаменитых игроках давнего и недавнего прошлого, о развитии теннисной техники и тактики сопровождается яркими личными впечатлениями А. Дмитриевой, неоднократной участницы и финалистки Уимблдона. Дочь главного художника МХАТа, она с раннего детства ощутила неповторимую атмосферу тенниса, спорта номер один в прославленном театре: «Помню, как в предвечерний час величественно шествовал на корт Станицын, чтобы продолжить свой многолетний спор с Комиссаровым за право называться второй ракеткой МХАТа. Сильнейшим игроком МХАТа — а также и страны! — в ту пору был уже Николай Озеров, но Михаил Михайлович Яншин, Евгений Васильевич Калужский, Михаил Николаевич Кедров, Виктор Яковлевич Станицын, Александр Михайлович Комиссаров и другие мхатовские ветераны и здесь хранили традицию — высшим теннисным авторитетом для них оставался мой двоюродный дед Всеволод Алексеевич Вербицкий».

11 января 1953 года тринадцатилетняя Аня Дмитриева впервые переступила порог зимнего стадиона «Динамо», став ученицей знаменитой теннисной чемпионки двадцатых-тридцатых годов Нины

Сергеевны Тепляковой. Спустя полтора года она уже участвовала как чемпионка «Динамо» в командном первенстве Москвы и легко победила всех девочек из других клубов. Следя за успехами юной теннисистки, мы попутно знакомимся с выдающимися игроками той поры — Е. М. Чувыриной, Л. Преображенской, Н. Озеровым, С. Андреевым и с будущими чемпионами — Т. Лейусом, А. Потаниным, Г. Бакшеевой, наконец, А. Метревели. Именно с Потаниным А. Дмитриева участвовала в 1958 году в юношеском Уимблдоне, сперва выиграв Бекнемский турнир юниоров, а затем уступив лишь в финале юношеского Уимблдона сильной американке Салли Мур.

В небольшой книжке очень трудно сообщить «все о теннисе», хотя А. Дмитриева, кажется, стремится сделать это. Мировые теннисные знаменитости проходят ослепительной вереницей — Кристина Трумен, Эн Хейдон-Джонс, Рой Эмерсон, Мануэль Сантана, Панчо Гонзалес, Вирджиния Уйэд, Мария Буэно, Род Лейвер, Маргарет Смит-Корт, Ивонн Гулагонг и т. д. Иногда калейдоскоп имен захлестывает читателя, а для человека, далекого от тенниса, и вовсе может показаться «телефонной книгой». Однако такая опасность компенсируется плотностью информации о теннисе вообще и пространностью метких и злободневных размышлений о теннисе советском.

Каждая игра представляет собой приближенный, грубый слепок с жизни. Мы создаем и затем пытаемся разрешить определенные ситуации, боремся, побеждаем или терпим поражение. Так вот из игровых видов спорта теннис, пожалуй, наиболее богатая модель действительности. Три или пять сетов (партий) соревнования представляют собою воистину маленькую жизнь со взлетами и падениями, сложной гаммой переживаний — от восторга до отчаяния. И эта «жизнь на корте» предполагает непрестанное биение мысли. Один на один с противником, от которого его отделяет сетка, теннисист все время мысленно протягивает трассирующие линии ударов, которые позволят выбить соперника в неудобное место. Тогда-то мяч, подобно пешке, проходящей в ферзи, становится уже недоступным для вражеского «короля». От современного теннисиста, стало быть, требуется не только атлетизм, сила мышц, быстрота игровой реакции, отточенная техника, но и острота мысли, способность мгновенно оценить меняющуюся обстановку. В дело вступает и чисто психологический фактор, происходит непрестанная проверка воли к победе. Недаром один из крупнейших знатоков тенниса, австралиец П. Метцлер («Современный теннис», Москва, 1973), так много уделяет внимания в своей книжке именно психологической подготовке, разбирая причины волнения игрока, рекомендуя способы борьбы с нервозностью, раздражительностью, напряженностью или расслабленностью, путь к хорошему настроению и т. д.

Наибольший успех, пишет А. Дмитриева, приходит только тогда, когда спортсмен «играет в свою игру». Многократная чемпионка Союза ратует за раскрепощение только твоих возможностей, призывает найти себя, что одинаково

важно в теннисе и в литературе, в науке и в жизни как таковой. В теннисе многое зависит от тренера, способного раскрыть индивидуальность игрока, выявить его сильные стороны и сделать ставку на них. А. Дмитриева отдает должное нашим замечательным тренерам — С. Андрееву, С. Белиц-Гейману, Н. Тепляковой, А. Хангуляну, А. Вельцу и другим, создавшим советскую теннисную школу. Но она настойчиво обращает внимание на то, чтобы в попытке овладеть «самым современным» теннисом не забывалось главное — индивидуальность игрока.

А. Дмитриева напоминает о судьбе талантливого ленинградца А. Потанина («Пота»), не имевшего ни пушечной подачи, ни эффектной игры с лета, но зато блестяще владевшего комбинационной игрой с задней линии. «Пота, — замечает она, — так настойчиво убеждали, что он играет «проигрышным стилем», что в конечном итоге он стал терять уверенность в своей игре». «Играй в свою игру!» — повторяет она. Если одни спортсмены владеют теннисом атакующим, то другие уже по своим природным данным предпочитают оборонительную тактику. Между тем нацеленность только на атаку предполагает и умение выжидать, подготовить выход к сетке, играя на задней линии. Но отсутствие у нас игроков защитного типа приводит к тому, что подчас даже такие выдающиеся теннисисты, как О. Морозова, теряются, встречая на зарубежных турнирах опытных «защитниц». То же самое бывало и в практике самой А. Дмитриевой.

Что же делать? Очевидно, наряду с улучшением подготовки классных теннисистов необходимо дать возможность лучшим игрокам чаще встречаться с сильнейшими спортсменами мира, шире участвовать в представительных соревнованиях. Иначе собственных игроков экстракласса у нас не будет. Тут мы подходим к проблеме, которую можно назвать «проблемой Метревели». Этот воистину «игрок божьей милостью» первым из советских теннисистов добился выдающихся успехов на международной арене, вплоть до выхода в финал Уимблдона в 1973 году, правда, в отсутствие сильнейших профессионалов. «Да, — пишет А. Дмитриева, — он сейчас сильнейший игрок страны. Да, на его счету целый ряд побед и над признанными зарубежными игроками. Да, он выиграл немало различных турниров. Но ни один из главных мировых турниров ему пока что выиграть не удалось».

Почему?

В теннисе, как и в других видах спорта, существует статус любителей и профессионалов. В 1968 году любителям разрешили играть с профессионалами, что привело к резкому повышению призовых вознаграждений в Уимблдоне и других традиционных турнирах. «И тогда, — рассказывает А. Дмитриева, — почти все сильнейшие любители приняли статус «регистрированных», что позволяет им, оставаясь в ведении своих национальных федераций и защищая честь своих стран в Кубке Дэвиса, получать равные с профессионалами вознаграждения на турнирах». В мировую десятку сильнейших ворвались регистрированные любители — румын Нэстасе и чех Кодеш. Они регулярно меряются силами с са-

мыми могучими противниками, поддерживая таким образом наилучшую форму.

Пора нашей федерации подумать об этом, если мы хотим, чтобы советский теннис успешно зарекомендовал себя на мировой арене. Могу сказать, что наши теннисисты добились немалого — стали чемпионами Европы. А. Дмитриева отвечает: «Но зачем себя обманывать? Любительский чемпионат Европы не собирает сильнейших игроков континента». В нем участвуют, как правило, либо начинающие игроки, либо те, кто по каким-то причинам не захотел стать «регистрированным». И приходит время чемпионата Франции — неофициального первенства мира на земляных кортах (в 1970 и 1971 году его выиграл Кодеш) или Уимблдона — первенства мира на кортах травяных (Нэстасе был финалистом этого турнира, причем Кодеш выиграл его в 1973 году), а наши теннисисты оказываются к таким испытаниям подготовленными недостаточно.

Много проблем стоит перед советским теннисом сегодня. Необходимы зимние — крытые корты, улучшение спортивного инвентаря и, главное, новые молодые таланты, идущие на смену прославленным теннисистам сегодняшнего дня. Мы знаем и любим замечательную спортсменку Анну Дмитриеву, наслаждаемся ее мощной и красивой игрой. С выходом книги «Играй в свою игру» мы познакомились с другой Дмитриевой — умным и эрудированным собеседником, позволившим совершить увлекательное путешествие в страну тенниса.

Олег МИХАЙЛОВ

Ст. художественный редактор Ю. Киселев

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 2/VIII 1973 г. Подп. к печ. 17/IX 1973 г. А03087.
Формат 84×108[1]/[32]. Печ. л. 10 (усл. 16,8). Уч.-изд. л. 21,4.
Тираж 468 000 экз. Зак. 1568. Цена 60 коп.
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.





На верхнем снимке: па-де-де из балета «Лебединое озеро». Солисты Н. Бессмертнова и А. Годунов.

На нижнем снимке — Е. Максимова в роли Китри. Балет «Дон-Кихот».

Статью профессора Захарова о молодых артистах балета Государственного Большого театра Союза ССР лауреатах премии Ленинского комсомола читайте на странице 280.

Цена 60 коп.

Индекс 70544